

84/2Рз-Р.с)6
В.19

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ

Избранное

Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ИЗБРАННОЕ

в трех томах

Том первый

РОМАН

«Прошу тебя, государь»

Том второй

ПРОЗА

Роман. Очерки. Рассказы

Том третий

СТИХОТВОРЕНИЯ. ЭССЕ.

ВОСПОМИНАНИЯ



Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ИЗБРАННОЕ

Том второй

ПРОЗА

Роман. Рассказы. Очерки. Эссе



Тюмень 2007

ББК 84(2Рос = Рус)6-44

УДК 882-3(571.12)

В 19

В 19 Анатолий Васильев

Избранное. Том второй. ПРОЗА. Роман. Рассказы. Очерки.

Эссе. — Тюмень: ОАО «Тюменский издательский дом». 2007.

416 с.

ISBN 5-9288-0094-0

ISBN 5-9288-0093-3

© ОАО «Тюменский издательский дом», 2007



**С НАДЕЖДОЮ
БЫТЬ РОССИИ
ПОЛЕЗНЫМ**

роман



*Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся – но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ли с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?*
А. С. Пушкин.

I

– Сударыня Анна Александровна!

Вильгельм Карлович, горбясь, выпирая острые лопатки, опускается на колени. Длинные руки касаются пола, на лбу, на затылках проступают капельки пота.

Нескладная старая птица, подбирая тяжелые крылья, неловко переваливается с боку на бок.

Тощим коленям Вильгельма Карловича и через ковер чувствительны половицы.

В свои сорок пять Кюхельбекер немощен, дряхл.

Юное существо, стоящее перед ним, прижимает ручки к груди, перепуганное сердчишко толкается в них. Учитель, поэт, друг великого Пушкина решился на то, чего она ждет целых два года. Страницы ее альбома полны его любовью: «...ношу тяжкого страданья среди пустынь и тундр, и скал я влачил в краю изгнанья; вдруг ко мне спорхнула ты, будто с горней высоты ангел мира, ангел света... дол угрюмой темноты вокруг меня ты озарила блеском детской красоты...»

Сердчишко ее висело на ниточке...

II

Под зимним солнцем от горизонта до горизонта зелеными, красными, желтыми, голубыми огнями горели снега. Кони без понуканий в азартном лете стлались над дорогой.

– И-и, милаи, – поигрывал вожжами ямщик, бородатый и черный. Молодая удаль жила в нем, похвальба молодая. Сын ямщика, внук ямщика и правнук, он жил дорогой, в пространствах, преодоленных ею, жила его душа и эхом отзывалась на его гиканье. Проникшись доверием к дорожным людям: – «Кто ни будь, а разговоры в пути любезны!» – он, исполненный щедрости и значительности, оборачивался к Кюхельбекеру, не к конвойному офицеру: они чаще тоже потомственные, конвойные офицеры, значит, им все известно здесь, – и весело сверкал глазами: – От Петербурга до Иркутска нашего брата ямщика, почитай, боле двадцати тыщ будет, а лошадей и ста тыщами не счислишь!

Вот, мол, какова империя, каково хозяйство, каковы мы!

Вильгельм Карлович набирался душой и глазами великих просторов, раскрепощался. Вот она, воля вольная! В Сибирь он везет сундук своих произведений; в Сибири лира его наберет полный голос, простора здесь для него, голоса, – предостаточно! Отстав от друзей в известности, в значительности сделанного, он сократит десятилетний разрыв, догонит их, встанет вровень, а то и выше. Не достоянием сундуков – достоянием мира станут плоды его вдохновенья.

В прозрачном небе, полном слепящего солнца, над трактом, над лесами, полями, спящими под снегом, витали неуловимые, еще не лежащие на слух, но уже живущие в сердце слова – разрозненными витали. В какой-то день не этот, другой ямщик Пермской конвойной роты, Иван Иванович Макаров, соберет их над трактом Сибирским, и заживет в русском народе песня:

Одноручно гремит колокольчик...

Ему не хотелось оглядываться: там, за спиной, в сером полумраке сырели казематы его крепостей: Петропавловской, Кексгольмской, Шлиссельбургской на Ладого, Дина-

бургской на Даугаве, Вышгородской в Ревеле, Свеаборгской в Финляндии.

За государеву милость принималось во мнении света его заточение – все же не каторга. Но ему-то известно, отчего оди-ночные узники разбивают о стены головы, сходят с ума, сходят на нет душою и телом. Он-то знает. Не виденьями – живыми существами являлись перед ним матушка, сестры, племян-ницы, брат. Он за руку здоровался с ними, ходил по камере,

разговаривал. Их голоса на-яву звучали в его узилище – каждый по-своему... Когда сверху и снизу камень, ка-мень по сторонам, а заре-шеченное окно покрашено – звуки жизни не доходят до тебя, ты исключен из нее, твоё состояние – ни жив ни мертв. Искра Божия, буде за-ронена, как ни поддерживай существование ее усилия-ми каждого дня, угасает. А усилия – голый разум, голая веточка на зеленом Древе Жизни. Хоть он и бодрился: «Подобно беременным, не подверженным заражению и повальным болезням имен-но потому, что они носят в себе еще одну жизнь, кроме

собственной, и поэта предохраняет от зол этой жизни нерож-денное дитя его духа; оно поднимает его над ними, он не заме-чает их...». Но матушка мало верила сыну.

Не в каждой из его крепостей содержание было строгим, не в каждой запрещалось читать и писать. Но Свеаборг! Чтение – толь-



ко духовное, свидания – только с пастором. Последней ступенью отлучения от жизни казалась ему крепость в Финляндии.

Черный в черном, пастор садился напротив, возлагал мертвенную руку на томики приносимых с собой сочинений немецких проповедников, воздымал глаза. Воздымал их и Кюхельбекер. В толковании теологических постулатов проходили недели, месяцы, годы. Нерожденное дитя его духа уже во чреве себя посвящало Богу... Оставаясь один на один со стенами, он переписывал изложения откровений святых, перекладывал на стихи. Оправдательно думал: тем не дает отвыкнуть перу от бумаги, руке – от пера. Но происходило иное. Не много ли хлама везет он в своем сундуке?!

Прозрачное небо, стойкое солнце – значит, мороз.

На станции кулему Вильгельма Карловича упаковывали в тулуп, подталкивали полы под ноги, приговаривали:

– Одежным подорожным мороз кланяться велит, безодежных сам навестить не ленив.

Деревянным языческим идолом катит он с казенными сопутниками навстречу свободе, вольным занятиям словесностью, счастьем. Из-под воротника тулупа, из-под бараньей шапки выкатливые глаза горят нетерпением.

Неукротимые, как время, кони отмахивают версту за верстой – дорога накатана, летуча.

«Эка ретивы!» – думает он с удовлетворением.

Снежная пыль позади высвечивается радугой.

– Бабиновы мы и Бабиновским путем едем, – доверительно оборачивается ямщик. Сосульки на бороде и усах сосуткиваются: кажется, даже слышен их звон. – До Ермака Тимофеича в Сибирь совсем никаких путей не было. Из Вологды больше севером шли по воде и волокам, через Вычегду и Печору, – тычет он кнутовищем в сторону, откуда подует сиверко. – После башковитей стали: через Вологду, Великий Устюг на Соликамск и Чердынь пошли. Но тоже не ахти дорога: длинна и окольна.

Сидящий на облучке, он головою вровень с головой Кюхельбекера, в плечах – вдвое шире.

«Все русское в нем – ум и удаль. Раскрепости русский народ – Россия воистину станет Великой. Но умные головы она рубит, удаль, широкое дыхание казематами, как смирительною рубашкою, укрощает».

– Двести, а то и более тому предок наш Артемий Бабинов, нарочито отряженный государем, нашел подходящий путь: от Соли Камской на Тюмень, Тобольск и дале. На две тыщи верст короче, – он рассмеялся беззаботно, с заглядыванием в глаза, мол, то, о чем сейчас поведает, дело непредосудительное, известное и незапретное. – Артемий, прокладывая дорогу, наоставлял вдоль нее чуть не в каждом селенье детей. Может, не по нему, по детям его путь назван Бабиновским?! Из конца в конец тракта Бабиновы да Бабиновы, Артемовы да Артемьевы.

«Вот истинно именитый российский род, – думает Кюхельбекер. – Не по титулу, не по упоминанию в летописях – по значению службы его для России».

Посторонним голосом осведомился:

– Вы открыли государю дорогу, два с лишком века служите ей, ваш род отмечен его милостями?!

Ямщик заводил глазами, ноздри раздувал – будто конь, на полном скаку осаженный. Никогда не спрашивал его никто об этом, а самому и в голову не приходило: ума – два гумна да баня без верху. Но что-то верное, человечески правильное стояло за словами барина. Сурьезный, видать, с головою.

– Кое-кто в люди выбился, – не оборачиваясь, острожноничает он. Но плечи приспустились, поослабили вожжи. – Собственное дело завели. Только, думаю, в люди не выбиваться надо, быть в них, – и весь подобрался, гикнул: – И-и, милаи!.. У нас обнаковенно: табак да кабак, баня да баба – одна забава.

А солнце розовым холодом уже охватило запад.

День в день, четырнадцатого декабря тысяча восемьсот тридцать пятого – через десять лет ровно – освобожден он от крепостей, обращен на поселение. Император будто показывал, как прочен трон, несокрушим порядок, ведущийся от предков. Пунктуальностью, деловой неспешкой показывал: как кутенка – за ушко да на солнышко.

Восточная Сибирь определена ему местом ссыльного поселения, Баргузин – к брату.

Переписываться им было запрещено: «Бумага – разносчик заразы!» – объяснял самодержец, неизменный в отношении к «друзьям Двадцать пятого года». Но старшая сестра их, Юстина Карловна, завязывала в узелок нити, от них идущие к ней, – образовывалась прямая, почти фельдъегерская связь. Все Кюхельбекеры – чувствительные натуры, дорожащие семейными узами, любовью и дружбой. Сентиментальность – фамильная черта их. Вильгельм Карлович постоянно чувствовал Мишеля рядом, жил его мыслями: сестра, имея тайною соучастницей княгиню Трубецкую, Катерину Ивановну, – из тех же, Мишелевых, мест – пересылала в крепости даже письма его руки. Терпение, безропотное принятие постигшей участи причащали брата в глазах узника к лику великомучеников, человеколюбие на грани самоотречения – к лику святых. Христианской морали стихами отвечал он и прятал их в душе, подчинялся запрету. Жалкий самообман! Тем более, что Мишель безразличен к метрике – «Ямбы, хорей – они для салонов. Увлечшаяся сама собою, поэзия потеряла общественный смысл, – говаривал он Трубецким. – Нынешнему миру нужна прямая речь!» – И стал учителем.

В стенах оставшихся за спиной крепостей Вильгельм Карлович, ждущий освобождения, представлял себе, как, надвинув на глаза шляпу, войдет в его школу, представится странствующим аскетом. Мишель возмутится:

– Почему не снимаете головного убора в школе?!

Но пойдут вопросы о здоровье матушки учителя Юстины Яковлевны, урожденной фон Ломен, старшей сестры Юстины Карловны, в замужестве Глинка...

Брат узнает его – бросится на шею... «Ты неисправимый чудак, Кюхельбекер, – осуждает себя. – При твоём-то обличье укрыться за полой шляпы?!» – Тонкие губы кривятся в иронической усмешке. – «Аист на приточне!» – вспоминается детское прозвище. – С твоим обличьем укрыться за полой шляпы?! И жизни, в которую ты возвращен, пожалуй, не до маскарадов».

Необоримая сила на повороте выбрасывает его из кошевы.

Спеленатый языческий идол торчит валенками из сугроба в тщетных попытках выбраться. Тоскливо думает: «Не получилось бы все так – вверх тормашками!»

Отмахавшие добрую сотню сажень, посмеивающиеся спутники возвращаются, извлекают бедолагу из плена, потом – шапку. По отдельности водружают на место.

Он еле сдерживает гневливую дрожь, не находя смешного в случившемся...

Ямщику невдомек натянуть вожжи – тот же лет, стланье.

Конвоир передергивает плечами, удобней устраивается в тулупе. Сняв шубенку, протирает уголки глаз, намеком советует:

– Не тряси берегом! Строганов соль весит!

У Кюхельбекера перехватывает дыхание: меньше становится воздуха, сужающиеся пространства подступают лесами. Чуткое ухо улавливает во фразе смысл, недоступный стороннему пониманию. Великая родина! В памяти твоего народа – становление родовитых фамилий, пот и кровь. Предупреждение офицера, придерживающего ямщика, пахнет не только солью, взрастившей Строгановых. Куда как нет! Философия мира в

этой фразе, богатство и нищета. Молчаливые тысячи стоят на коленях в лохмотьях, а над ними громоздится один, во многих поколениях один и тот же – всемогущий, беспощадный, дотошный... Окраинные царьки вослед за царем Всея Руси держат в страхе каждый свою округу. Троны держатся на страхе!

Ты возвращен в прежний мир – никаких самообманов! Рядом с тобой не свобода – конвойный офицер. Как не осмыслил ты сразу его присутствия?!

Закрыв глаза, будто издали, со стороны, всматривается в лицо рядом сидящего человека. Воображение, упражняемое одиночным заточением, всегда безотказно воспроизводило перед мысленным взором лица людей, целые картины в лицах – воспроизвести лицо этого человека отказывалось... В звоне полозьев, в шелесте ветра оно встало внезапно... Не молод, не стар, но годы за тридцать. Рыжие брови, усы, конопушки: не святою водой окроплен при крещении – охрой. От мертвенного безразличия рыжими кажутся и глаза: сколько их было, сколько есть под присмотром его, сколько будет таких кюхельбекеров?! У него глаза рыси – в глубине нет-нет и вспыхивают сторожевые огни: будто жандарм принимает сигналы от одного и передает их другому жандарму. По всей империи – пронизывающие пространство сигналы... Безразличными глазами он будет смотреть на время, отсчитывающее десятилетия, свозить в Сибирь несогласную мысль и сдерживать ее, не ямщика, фразой:

– Не тряси берегом! Строганов соль весит!

Не этот в десятилетиях, другой, но жандарм.

– А ты кто, барин?! – оборачивается Бабинов. – Который час везу, а кого – не ведаю.

Не удальство на лице – раздумье. Может, не от души, за компанию подсмеивался над ним у того поворота? Человека сразу не разгадаешь...

Вопрос застигает врасплох.

Свеаборг.

В виду его камеры на камнях, неведомо откуда набираясь жизненных соков, шумел кроной клен. На первых прогулках под финским небом он принимал как должное его существование, потом остановился: ни почвы, ни солнца, а шумит!.. Это его судьба, Кюхельбекера. Который год в крепостях, под замком, но пусть не кроной – веточкой пробивается в мир. А крона – его детство, юность... Растворились каменные стены двора, свободный простор лег на противоположном берегу залива – Эстляндия, имение Авинорм, подаренное отцу императором Павлом. «Тогда... впервые жадно вдаль простер я взоры, мятежной мучимый тоской». Шумели дубравы, река Авинора, неясный зов судьбы слышался всюду: «...подними камень – и я там, рассеки дерево – и я там...» Зов был вездесущим как Бог. Отец – фаворит императора: продлись августейшая жизнь – быть бы на Руси еще одному временщику с немецкой фамилией. Царя убили, фаворит скончался от чахотки, имение пришлось продать – семейство нуждалось в средствах. Заботы легли на старшую сестру – супругу профессора Глинки, помощника воспитателя великих князей Николая и Михаила Павловичей. (Юной женщиною взяла на себя заботы Юстина, восьмидесятилетней старухой сложилась – по смерти.) Божьим промыслом став устроительницею судеб младших Кюхельбекеров, она не допускала мысли, что они могут занять положение ниже того, что могли бы занять при отце, будь он жив. В Царском Селе открывается первый российский лицей для приуготовления к государственной службе детей знатных фамилий. По протекции дальнего родственника Баркляя-де-Толли 19 октября 1811 года с первым набором Вильгельм Кюхельбекер входит в Лицей – как в храм души. В Царскосельских дубравах, на берегах прудов он мнит себя учеником Аристотеля, ходит с ним по садам храма Аполлона Ликейского в древних Афинах – так действует на него самого слово «лицей», название древнегреческой философской школы. В упорных трудах он постиг,

кажется, все, что знало человечество, что мог сотворить его дух. Не под камнем, не в дереве, в этом храме жил и открылся неясный зов детства, и имя ему было – свобода! Отечественная война, российская действительность, путешествие за границу, кавказские биваки... Голос свободы заполнял его сердце, звучал приказом. Потому и были 14 декабря 1825, Сенатская площадь...

Клен в Свеаборге!

Застучали носками валенок зануждавшиеся в движении ноги, руки, как в муфту, вошли одна в рукав другой. Кто он! До двадцати восьми лет – человек, уважаемый обществом, после двадцати восьми – отринутый им. Арестант. Лицо без лица. А ныне?!

Лицей встал перед глазами, привел друзей – Пушкина, Дельвига... В нежности утонуло сердце – он был счастлив в друзьях. Счастлив, хотя отроческая их беспощадность чаще всего направлялась против него. Пушкин: «Покойник Клит в раю не будет: творил он тяжкие грехи. Пусть Бог дела его забудет, как свет забыл его стихи!» Это из «Эпиграммы на смерть стихотворца». А Клит – он, Кюхля, то бишь Кюхельбекер. В те дни он взрывался гневом, ныне смеется над дружеским богохульством.

«А ты кто, барин?»

Казенный, в ремнях и бляхах, позванивающих под тулупом, сторожко подремывающий конвоир наострил ухо. Но Вильгельм Карлович молчал. В зевке с потягиванием конвоир ответил за него:

– Барабан дурак – на стену лезет.

– А-а, – понятиливо кивнул ящик, не удивленный батальным присловьем. Какие барабаны на какие стены только не звали людей, оказывающихся в его санках?! Господа дворяне, супротиву царя пошедшие; скопцы, молокане, субботники, духоборы – пошедшие супротиву церкви; поляки, много поляков – которые, однако, супротиву царя и

супротиву церкви сразу... Разные барабаны, да стена одна. Кто этот, сегодняшний?! Но хороший, знать, человек барин. Вслух сказал:

– Барчонок горя не вкусит, пока своя вошь не укусит... Однако смирны у нас государевы преступники!

«Не кто ты, за что ты? – подразумевает вопрос!» – догадывается Вильгельм Карлович.

Конвоир кисло опустил уголок рта, объяснил:

– И волка загоняешь, так овцой станет. – Потянулся, стреляя рысьим взглядом: – Не бессудь в загонях добра молодца.

Слух судорожно возвращается в день, начавший это спутничество. Невнятное «Никапалыч», произнесенное конвойным офицером, с приложением руки к папахе теперь раскрывается «Николай Павлович!» – имя Императора. Он и сюда за ним следует?!

Запад погас розовым холодом.

Поостыли кони.

Просторы империи звездно горели снегами днем, ночью звездами отражались над головою.

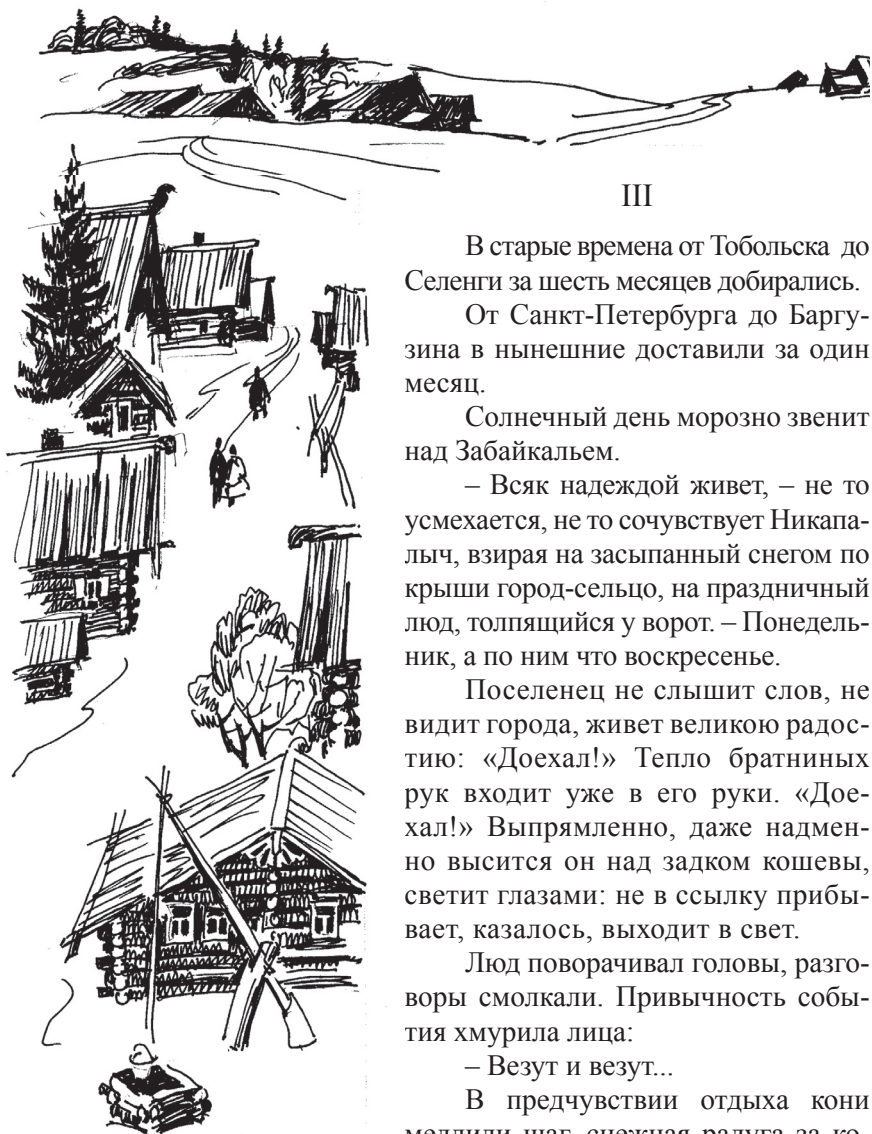
– Все, барин, – сказал ямщик с древней фамилией Бабинов на очередной станции. – Иду в возврат. Храни вас Бог! – Черная тьма стояла в глазах, черная ночь: не прочесть, что за ними...

Приближался Баргузин. Вильгельм Карлович вытягивал шею, вглядываясь в дорожную даль, первые слова подбирал.

– А вот и я! – говорит он Мишелю и сражает противопоставлением: – Чем метроман отличен от моремана? – Мишель конфузится, уходит в угол класса, затеривается. – Ты океанами странствовал, я – сухопутьем, – настигает он брата, – но не ты, я пришел к встрече!

Мишель опоминается, бросается обниматься, но он говорит:

– Перестаньте, майн либер, мы мужчины!



III

В старые времена от Тобольска до Селенги за шесть месяцев добирались.

От Санкт-Петербурга до Баргузина в нынешние доставили за один месяц.

Солнечный день морозно звенит над Забайкалем.

— Всяк надеждой живет, — не то усмехается, не то сочувствует Никапалыч, взирая на засыпанный снегом по крыши город-село, на праздничный люд, толпящийся у ворот. — Понедельник, а по ним что воскресенье.

Поселенец не слышит слов, не видит города, живет великою радостью: «Доехал!» Тепло братниных рук входит уже в его руки. «Доехал!» Выпрямленно, даже надменно высится он над задком кошевы, светит глазами: не в ссылку прибывает, казалось, выходит в свет.

Люд поворачивал головы, разговоры смолкали. Привычность события хмурила лица:

— Везут и везут...

В предчувствии отдыха кони медлили шаг, снежная радуга за кошевой опала.

Он, будто показывая себя, сидел не шелохнувшись.

- Экое чучело огородное привезли!
- А с фендебобером! Вытаращанной...
- Из тех, кому что аршин, что алтын.
- Этот алтын не того рубля...

Народ приметлив.

Двадцатое января тысяча восемьсот тридцать шестого. Никапалыч, бестрепетный, крапленный охрой, осведомленно поясняет:

– В Баргузине три года подряд были неурожаи. Вот и толчется народ: двадцатое с солнцем, значит, весна будет ранней, лето – добрым.

На подворье Михайлы Карлыча среди русских папах и шапок-ушанок всплескивают мехом бурятские малахаи.

– Братец твой дарма учитель и дарма доктор – потому и народ: поздравляют с днем счастливого предзнаменования, – продолжает жандарм. Снимает шубенку, пальцами-щупальцами подравнивает усы.

«Еще и доктором!» – перегорает на всхлипе Вильгельм Карлович.

Остановившись, кони трутся мордами о ворота, соскабливают сосульки с ноздрей и губ.

Разбежавшимися глазами он все не может отыскать лица брата. Высокий, в длинном тулупе стоит, собирая голосовые связки и рот, чтобы крикнуть: – Мишель! Я здесь!

Но только глаза полоумно перекатываются по орбитам, а голос не соберется для членораздельной речи.

Высоких статей женщина, белокурая, с голубыми глазами, немка немкой, но плавностью и широтой жеста русская, касается рукою плеча рядом стоящего человека – сухого, невзрачного:

– К нам, Мишенька!

Тот видит у ворот закуржавелую тройку, вскрикивает, бросает руки к небу, бежит с крыльца.

– Ви-и-льге-ельм!

Запутавшийся в полах тулупа странствующий аскет падает в его объятия.

Сдвигались стаканы, влажнели глаза. Не поместившийся за столом Баргузин стоял во дворе, слюнки облизывал.

Белокурая женщина недостижимо высоких статей поднималась и чокалась.

– За ваше и наше счастье!

«Счастливцев Мишель! – Просторы империи, просторы свободы качались в глазах, казематный холод покидал душу, тепло вселялось. – Счастливцев!»

Душно в горенке – многолюдье. Но выбеленные верной рукою стены, белые занавески на окнах, ванька-мокрый, герань, раскрасневшиеся лица, спутанные бороды, подмоченные усы, хмельные глаза – голубые и черные, прямые и раскосые – люди, воздающие хвалу Бахусу, наполняют его гудением позабытых начал – никакой возможности разобратся – определяются одним словом, счастливым: – Вернулся!

Куда и откуда?! С того света, казалось, в жизнь.

С того света в жизнь!

Свобода, в дороге было смутившая его призрачностью, жила в застолье, неслыханной смелости обороты употребляла:

– Чем нонче батюшка царь промышляет? Чай, все сечет да вешает?

Обращались к нему – все-таки из России доставлен, – но разговор вели свой:

– Сечет и морит голодом: мореных легче вешать.

– Дык мореный что повешанный: силов нету слово молвить, по то и молчит Расея...

Три засушливых года урона мужицкой стати не причинили. Бугрятся плечами, насмешничают:

– Того бы Миколку суды...

«Русского медведя только расшевели – будь здоров наломает леса, ноги о пеньки обобьешь. – Восторгом наполнялись глаза, душа обмирала, он впервые так близко с народом и народ понятен ему! – Проснется и наломает леса... – Ему так хотелось: не дров, а леса, чтоб крупнее виделось. И оборвал себя: чтобы что крупнее виделось: поваленный лес или то, что за ним откроется?! А что там откроется?»

Мишель почувствовал его состояние, легонько толкнул под столом коленом, дескать, слушай меня. В ожидании тайного хода брата он подобрался, пытаясь выказать бравой тщедушную грудь.

Тайного хода не было, Мишель говорил напрямик:

– Не развешивай уши. Сегодня в тон с ними разговаривать безопасно, завтра – нельзя: каждое слово передадут властям. И от своих откажутся... Они здешние, у них круговая порука, а мы – пришлые... Ни единому слову не верь. Это у них как пробный камень: принимать не принимать нас. Не на сегодня – они мужики далекие, думают, в будущем от нас им какая польза будет. Они ее увидят... А сейчас пробуют.

Гости не обижались. Отнюдь! Согласно кивали головами, спутанные бороды шелковисто блестели, елозили по рубахам.

– Истинно, батюшка Михайла Карлыч!

«Вот какой маскарад жизнь!»

– Народ тут не крюк, так багор: все мошенники, – Мишель наполнял стаканы, собирал вокруг глаз морщины – улыбался. Жёсткой, сводящей лицо улыбкой. – Но жить можно всюду, умей себя переделать: стелить научись и стелиться. Не сразу, но заживешь, даже на широкую ногу. Вот у меня, например, и дом имеется, и дворовые постройки. И все какое? Баргузин завидует.

Хвастовство не в характере Михаила Карловича – много выпил, брата встретил, переволновался.

– Не тяп-ляп двор – хозяин основательный. Не наш брат – аршин на кафтан, два на заплаты, – приbedняясь, запутывал в бороду слова гость.

– Есть в амбаре, будет и в кармане, – запутывал другой.

Статная женщина – Анна Степановна, супруга Мишеля.

Гол как сокол – ни кола ни двора – появился он в Баргузине, кругосветный моряк, отлученный от моря, каторжанин, обращенный на поселение. В Петровском Заводе, назначенный артелью огородником, приобрел он умение обращаться с землею, чувствовать и понимать ее – она благодарила его за это щедрыми урожаями. Но тогда было для кого стараться, теперь – не было. Ему самому ничего не надо. В отведенной боковушке мужицкой избы он лежал ночами и днями, безучастно принимая существующую за дверью жизнь. Хрюкали свиньи, мычали коровы, блеяли овцы. Сквозь кержацкий мат хозяина, измывающегося над приемышем Нюркой, притащившей в подоле ребенка, прорывался дочеловеческий крик:

– Ыы-ыыы...

– Скажи, кто!

– Ыы-ыыы...

Однажды он не вытерпел – вышел:

– Люди! – И увидел, как оба они удивились этому «люди», смолкли сразу, уставились на него. Он наступал: – Давайте поговорим добром.

Хозяин, со включенными волосами и бородой, с расстегнутым косым воротом рубахи, ударил недобрым взглядом по нему, хлопнул дверью.

А она бочком уходила в запечек, полувыставив руку, будто защищаясь от своего защитника, в глазах стояло столько знакомой обреченности, безутешного одиночества, что показалось: это он смотрит на себя ее глазами... Но и еще чьими-то...

Его выход отменил для Нюрки на сегодня побои, для самого отозвался воспоминаниями, счастливыми и трагическими одновременно.

Голубыми глазами приемыша из столичных лет, из дворцовых зал, гремющих музыкой, шелестящих белыми платьями женщин, на него посмотрела Темира. Она выбрала правильное время, чтобы напомнить о себе: в своей боковушке он стал забывать, кто он и откуда. Санкт-Петербург в ее имени, соленая даль океанов в фамилии – Васильева... Васильев – старший его товарищ, тоже из кругосветных.

Прошлое выделило ему для воспоминаний вечер расставания с нею. Кружился бал, провожая белые ночи. Она прятала глаза, отводила в сторону, белые локоны подрагивали у висков:

– Мишель, зачем так надолго и так далеко вы уходите? – упрекала она. – Мне не пережить разлуки.

Он – моряк, он храбрился, покоритель мировых странств, был снисходителен.

А она сдержала слово, умерла, не дождавшись. Закрылись глаза, полные безутешного одиночества...

Нюрка пряталась по углам, пугалась всякого человека, плакала. Никому не нужное, лишнее существо. От дранья и слез у нее пропало молоко, ребенка отдали на воспитание в крестьянскую семью.

– Отдавать ваше право, – вмешивался он в чужую жизнь, – но нельзя некрещеного.

– Кто к нему, суразаку, пойдет в крестные?! – чесал бороду хозяин, отводя хмурый взгляд.

– Я стану крестным.

Умытая, с прибранными волосами, Нюрка была хороша в церкви, набожно тихая, молчаливо благодарная.

В конце службы не удержалась:

– У нас все, как у людей!

«У нас?!» – она права. Два ненужных человека в городе: он и она. Грубой, но жизнью живет Баргузин, они – никакой. Если не объединятся – погибнут...

Но, крестный отец, он приходится кумом жене. Церковь же брака между кумом и кумою не разрешает. Баргузинский священник не силен в законах: обвенчал бездольных, да дело дошло до Синода...

Мишель за столом держит брата по левую руку, по правую – Анну Степановну.

Полтора года назад Вильгельм Карлович, узнав о его намерении жениться, прыгал от радости, бил ладошами в стены, настороженно отзывающиеся: «Что случилось?!» – Срывающимся голосом кричал в открытую фортку:

– Брат женится! – И не знал, куда девать себя, что с собой делать. Пульсировала – появлялась и исчезала мысль: в снежных пустынях Сибири брат будет не одинок. Сестра писала: он не испытывает любви к избраннице, не признает больших достоинств за нею. Но тут ясно: Мишель не хочет обманываться в будущем супружестве. Кем могли быть их жены?! Увы, в декабре они лишились многого и навсегда. Для тонкого в чувствованиях Мишеля разочарование было бы равнозначно краху... У их жен могла быть лишь одна добродетель: неиспорченность воспитанием. Представляя картины брачного блаженства брата, торопливо писал Юстине: «От моего желания когда-нибудь дожить свой век у Михаила я должен теперь – я это понимаю – отказаться. Правда, я, ей-богу, думал, что в экономическом отношении я-то уж ему в тягость бы не был; напротив того, может быть, господь благословил бы мои труды, и они и ему и мне доставили бы значительный доход. Впрочем, если последнее случится, я даже издалека могу с ним делиться...»

И вот он здесь!

– Ты океанами странствовал, я – сухопутьем. Но не ты – я пришел к тебе, – за широким сибирским столом успел-таки высказать он. – Какие пути надежней?!

Мишель на три вершка ниже его ростом, шупл, носат и лыс. Они будто кулик с журавлем, братья.

– Не определял. Но десять лет плавая по сухопутью, знал, что пути наши пересекутся.

Известие об освобождении брата получено Мишелем давно. Он ждал. Но первое чувство, горячим током пошедшее по жилам, ударило в темные закоулки – вернулось немой волною. «Что будет есть, что будет пить, где жить будет?! Не нам же с Аннушкой брать на себя его содержание?!» Но колокольчик тройки конвойной роты смолк у ворот, и он забыл о своих заботах.

Раскрасневшийся, возбужденный, перескакивал с пятое на десятое, но помнил себя, не забывал о брате.

– Не мы свою прежнюю жизнь делали, заботами папеньки с маменькой осуществлялась она, – скашивал карий глаз, ждал вознаграждений. – Теперь делаем сами. – Мишель на земле устраивался основательно. – Вот этими руками, – Мишелевы руки неубедительны: узкие, с тонкими пальцами, – сверх отведенных казною, я расчистил, распахал одиннадцать десятин, и теперь хоть лыком шит, да барин. Тринадцать голов скота, – поднял указательный палец, внушительностью названного количества гордясь и похваляясь. – Вот лошади нет, а бесконный, известно, и в Царьграде пеш, но мы с Аннушкой не теряем надежд, будет день, будет пища!

Обнимал супругу, целовал в белую шею.

Застольный Баргузин расправлял усы, кивал головами, мол, истинно, мил-человек; поживешь – узнаешь братнину силу. А у самих мысль на мысль лезла, подгоняла одна другую – о бабах:

«Надавала хоть корма-то лошадям?!»

«Стерьво, поди, точит лясы у Художитковой, а коровы не доены?!»

Вильгельм Карлович, задев бутылки, стаканы, простер над столом руки. «Мил-человек», новенький, не понял, что говорится о главном, вроде с попреками пошел против братца:

– Бог мой, я с тобой об одном плавании, ты о другом...

Мишель отставил стакан. Смурой жесткостью стянуло лицо, желваки забугрились:

– Мы ходили в разные плаванья: ты – в далекое изящной словесности, я в далекое морское. И что же? Опубликованное тобою – перлы отечественной литературы?! Или что-то дало тебе?! – насупил брови. – Кто не обо мне, о моем кругосветном знает?!

Вильгельму Карловичу становилось не по себе, не по компании: Мишель, ожесточась, правил разговор не к тому берегу. Скрытой ехидцей успокаивая себя, пошутил:

– Все справедливо, Михаил Карлович. Вы ведь ходили Аполлоном показать себя новым землям. Может быть, память о вас сохранилась в сердцах туземок?!

Мишель будто споткнулся, а застолье ничего не поняло.

– Язвитель же ты, пиита, – загрозил пальцем, рассмеялся, полез целоваться. Преображенный, нетутошный, пояснил непосвященным: – В девятнадцатом году я ходил в Ледовитый океан к берегам Новой Земли, а потом на шлюпе «Аполлон» на целых три года из Кронштадта через Бразилию ушел на Камчатку, на острова Русской Америки...

Горница обмерла. Пахнуло такими просторами, такой грандиозностью мира! Только тикали ходики да свиристел за печью сверчок. Изумленные рты разверзли невозмутимость бород и усов. Анна Степановна даже отодвинулась – в лице ни кровинки: «Да сизый ты мой голубок! Доброй славе-то до порога, худой – за порог», – наговаривает на себя под хмельком-то. Похвальбу по всему Баргузину разнесут нонче же.

– Бразилия! – опоминались жители Баргузина. – Где это, что это? Рай христов или ад антихристов?!

Мишель подобрался, острожал, чудилось: не в красной рубахе сидел – в платье флотского офицера.

– От Бразилии южными широтами Атлантического и Индийского океанов прошли в австралийский порт Сидней. Оттуда Тихим океаном к Берингову проливу. – Поднял стакан, с

удивленной виноватостию признался: — Так что я к Ледовитому с двух сторон подходил...

«Вот кто вывел матросов на Сенатскую площадь! — во все глаза смотрел на младшего брата старший. — Мужественный, неповторимый, значительный человек! Будь к нему милостивее судьба, качались бы сейчас на его плечах адмиральские эполеты, играли светом».

Ах, как бил в барабан Мишель на Сенатской! Как бил!

Гости чесали груди под бородами, с насупленную сосредоточенностью упирали взгляды в столы.

«Оборотень оборотнем!»

«Вот она жизнь: за морем славенка, дома хаянка».

«Им окияны, нам Баргузин».

Лишь конвоир, не пьянея, опрокидывал стакан за стаканом да похрустывал огурцом.

— ...вела мысль отыскания северного морского пути из Тихого океана в Атлантический через Берингов пролив. Но суда оказались бессильными против полярных льдов... — Мишель увлечен, вспоминает подробности плавания, а перед глазами, похоже, стоит Темира, потому капитан-лейтенант Васильев не сходит с языка. Их суда встречались в далеких океанах, имя девушки звучало над пенными валами их. Северный путь открыт не был, но новые земли, новые виды растений — да ... Отзыва Морского штаба о своей экспедиции я не слышал, о васильевской же сказано: совершена с успехом, принадлежит к числу знаменитейших в сем роде как по трудностям, встречаемым мореплавателями, так и по учиненным им наблюдениям и тем открытиям, которые шляпами, ему вверенными, сделаны к чести императорского российского флага...

— Тост за брата моего моряка! — у Вильгельма Карловича по тощей шее судорожно ходит вверх-вниз кадык, кривится рот. Но слова получаются: — Он достойно служил славе Отечества!

– Ура, ура!

– Оно, конечно...

Михайла Карлыч расстегнул ворот рубахи с вышитыми по нему полосками: или душно стало, или на что решился. Никого взглядом не удостоил:

– В прошлом году Васильев стал вице-адмиралом. Но труды его и нашей экспедиций похоронены в шкафах Адмиралтейства, забыты, будто мы никуда не ходили, ничего не сделали...

«Может, наш Декабрь виною тому? – подумал Вильгельм Карлович. – До дел экспедиции ли, когда революция?!»

– ... Тем закончились мои морские пути. Известен итог и земных: разгром, каторга, ссылка... В разные плаванья отправлялись мы, братец, оказались в одном.

Анна Степановна вдруг разрыдалась:

– Да за что вы такие оба несчастные?!

Прятала лицо в фартук, вздрагивала спиной и плечами, поминала горькую участь, бедных родителей, Бога. В голове же одно стояло: что будет есть, что будет пить, где жить будет?! Квельый да дерганый – не работник. Ой, бедушка на нас с Мишенькой. Сами-то еще на ногах не стоим.

Гости нахмуренно молчали.

Один Никапалыч подал рассудительный голос:

– Счастье с несчастьем на одних санях ездят, двор обо двор живут.

– Так-то оно так, – согласился хозяин. – Да все могло быть иначе. Но делова пора ум дает, на безделье дурь в голову лезет.

Слова не понравились Вильгельму Карловичу, в них слышалось осуждение того, что они некогда совершили, а это дурно. Могут забыться экспедиции, 14 декабря 1825 – забыться не может.

Застолье шумело. Отвыкшего от вина, уставшего с дороги, его скоро сморило – подремывал, вызывая насмешки:

– Хорош богатырь, пьян с вина на алтын!

– Его алтын не того рубля...

Вернувшийся из воспоминаний, Мишель раздирал гуся, жир брызгал на скатерть, тек по рукам под манжеты рубахи, лоснился на губах:

– Я видел жизнь дикарей: проста, извечна, без прихотей. В диком Забайкалье мы – что они. Край посуровей, но человек приживется всюду: была бы опора. – Вытирал руки и губы заботливо положенным на колени полотенцем, обнимал женушку, норовил целовать. Она выставляла локотки, смущалась. Но было видно, ей приятна невоздержанность мужа при посторонних – пусть знают! Ему на ум приходили церковники, он клялся: – Если меня разлучат с женою, пойду в солдаты, попрошусь послать под первую пулю, ибо жизнь мне будет не в жизнь...

Потерять супругу – большей беды для него не существовало.

Утро морозно дымилось над Баргузином.

Тройка конвойной роты ускакала в Россию.

IV

– Что, братец, – сказал Мишель. – Думай, как обзаводиться хозяйством. Жизнь-то долгая, – и отвел под жилье брату баню.

Ему было все равно где – он на свободе! Как дикарь с Мишелевых островов, ничьему счастью не мешающий, сам для него нуждающийся в самом малом, и оно у него есть – свобода.

Перед ним, жмурающимся на крыльце, чернели на сопках леса, голубая даль неба уходила за них, туда, к границе Китая. Каких просторов хватил, соединил глазами: от Швеции до Поднебесной! Пресветлый Баргузин, деревянный, заштатный, ты лежишь у ног, чтобы стать очевидцем рожденья всемирной славы...

– Это ради уединения. Что еще нужно пииту?! Стол у окна, постель – на полке. Гардеробом будет предбанник.

Не перетаскивать же вещи туда-сюда по субботам?!

Прекрасно, Мишель, прекрасно! Хоть на хвойке, да на своей вольке.

Окошко темно и низко, в две дощечки скрипучий столик, но сестре, племянницам, Пушкину письма его – о свободе. Много писем, в каждом – о ней.

Почтовые тройки, без понуканий стелясь над дорогой, уносят конверты в Россию – в родовые поместья, в столицы. Восторги и клятвы недавнего узника внушают надежды: Вильгельм не погиб в казематах, воспрянет духом и воспарит. Еще покажет себя миру этот несчастный Кюхля!

Пахнувшие дорогим табаком, изысканными духами ответы кружат несчастливую голову, на лице расправляют морщины.

Тонкий ценитель прекрасного на ответных листах не улавливает запахов Третьего отделения...

Нескладная птица, обретая себя, чистит поблекшие перья, укладывает крылья потуже, готовясь к взлету, к парению над землею, под небесами.

Он ходит по Баргузину, не узнавая знакомых, не запоминая домов – к чему?! Всемирная слава не даст ему долго здесь задержаться.

Запоминает непривычные для уха речения, записывает слова – кроха к крохе, а в тетради прибавляется.

Но искра Божия не вспыхивает, не опаляет страниц.

– Гули-гули-гуленьки!

Его чистота сродни детской. Она делала его смешным в лицее, пансионе, в свете, Париже. Даже на Петровской. Железо запоров, штыки часовых, пастор – сколько всего по ней протоптало!

На воле вольной отдает он накопленную и сохраненную душою нежность малютке – племяннице Аннушке.

По талому снегу двора ходит с ней на руках, знакомит с миром.

– Кукареку! – показывает на петуха в курятнике.

– Му-у, – на коров в коровнике.

– Бе-ее, – на овец в овчарне.

Учит первым словам:

– Ма-а-ма. Не-е-бо. Со-о-лнышко.

Беззубый рот улыбается, пускает восторженные пузыри.

В мать белокура и голубоглаза, еще не умеющая ходить-говорить, она уже изящна, проказлива, великосветски шаловлива, замечает он. И обещает быть умницей... Шлепает стенку, ударившись о нее, но переживая за наказанную – целует и гладит. Великодушна, не скупа: раздает свои лакомства собаке и кошке, и радостно видеть ей, как благодарно принимаются ими ее благодеяния.

Он влюблен в Аннушку. Но и она в него влюблена.

– Наша малютка без ума от вас, души не чает, все тянет ручонки в окне к вашей баньке.

Он окружен любовью всех, он уважаем!

Анна Степановна, кажется ему, с благодарностью приняла позволения ухаживать за ним: сменяет скатерку на столике перед ужином, по субботам выносит в предбанник постельное белье. Кормит, поит.

Проста и добра.

Он ее слов не слышит:

«Нет, Мишенька, мы с тобой каторжане, а тут баре – с готовенького на готовенькое, черного хлебца не хотят, подай беленького. Твой братец – и слово твое последнее...»

Она величаво, но уважительно кланяется, в пояс не сгибается, лишь голову наклоняет – глаз не показывает, но и не прячет...

Он ложился в сырую постель, дышал сырым воздухом – баня парная. Натруждал при свечке глаза – лежбище, не жилище.

Помилуй Бог, такая мелочь. Он на свободе!

Искра Божия не вспыхивает, не опалает страниц, но он много читает, настраивает слух: слон, наступивший на ухо, лишил человека не только судьбы музыканта, но и поэта... На его ухо, на его судьбу наступил слон по имени единоправие... Поэзия – искусство искусств. Ее отыскивают в музыке, в живописи – но им никогда не сравняться с нею!

...Мишель к нему не заглядывает: на пашне, в лесу, на покосе.

А у него Муза не мимоходом, уже с гостеваньем бывает.

После Лицея свое чиновничество Кюхельбекер воспринимал как временное состояние: оперится, расправит крылья и... За «и» – покоренный мир изящной словесности, вообще, покоренный мир, всесветная слава... При первом случае уходит в отставку, едет за границу.

Над нивою пиитических грез, над жизнью нависают тучи с молниями и громами.

Нет ни литературного хлеба, ни чиновничьего. И служить в Баргузине негде. А крестьянский труд не под силу. На подворье у брата он как бесспросный вольноопределяющийся. Его вступления – невпопад. Придет мысль помочь Мишелю – забудет на сенокосе лошадь. Анна Степановна и глазом не моргнет; расстелет скатерку, ужин поставит, взобьет постель на полке. Она, наверное, не моргнет глазом, если он забудет голову, с одним картузом вернется. Понимает – человек Божиим промыслом обречен на великое... А Мишель – хваткий, двужильный, ко всякому делу руки приучены. Едкой насмешкою над собою вспоминается ему давнее письмо к царю: «Если брат мой, лейтенант гвардейского экипажа Михаил Кюхельбекер, содержится здесь же в крепости, да дозволено нам будет находиться в одной и той же комнате. Он здоровья слабого: утешений, которых я и здесь нахожу, по незаслуженной милости Божьей, в поэзии не имеет, а сверх того нраву печального и задумчивого...» Свысока добродушно улыбается себе: славы-то тетереву, что ноги мохнаты.

В чужое счастье не въедешь.

Он тайно влюблен в невестку. Полноте удовлетворения от общения с нею мешает ее неграмотность. Но то, чего они с братом лишились после Сенатской, утрачено навсегда, двери к иному счастью закрыты, входят в те, что не заперты. Грамота

Анне Степановне не дается. Мишель загадочно попоглядывал на него как-то денька два – и решился:

– Вильгельм, у тебя опыт. Займись ею. Учю бурятских детей – на лету ловят, а перед нею – хоть волоком волокни.

В голосе безразличие, но надежда смягчает его резкость, независимо проступает в глазах: к прежней жизни возвращения нет, но хоть что-то из нее в нынешней повседневности иметь надо бы. «Однако ко всякому случаю готовит себя, – и то правда: к чему ей здесь грамота? Блюла бы детей, верила в Бога да управлялась с хозяйством. А это у нее получается – разговор по всему Баргузину. – Вильгельм Карлович построил снисходительную мину: еще сомневаешься – у меня за плечами Лицей! И не заметишь, как станет могущей грамоте!»

– Берусь!

– Вот и ладно. Все при деле будешь.

Намека в его словах он не уловил.

Затрепетало сердце, гулками токами бросилось по артериям: он теперь сможет бывать рядом с любимой женщиной. Она неприкасаема, но кто ему запретит любить ее?!

У Анны Степановны черны загорелые руки и шея, белозуба улыбка, огромны голубые глаза. Что природой дано, то не отнимешь. Счастливцев Мишель!

Она оказалась способной усвоить только аз, буки, веде... Оставлять же при чтении лишь начальные буквы в этих словах не решалась. Напрягалась лицом, не отрывая от страницы пальца, читала тяжело, сложно, например, слово «баба»:

– Буки аз буки аз...

От напряжения лицо становилось еще красивее.

«Будто камнем ошабуривает. Ихнева мне ничего не надо... Грамоте, видать, не мерекать», – думала. Но не о Мишеньке, он каторжанин.

В душевном неуют, прекрасная и спокойная, однажды смела со стола все его буквы вместе с букварями:

– Не могу ладом в толк взять!

И так на него посмотрела, что он засомневался: не глупостью ли занимается. Да и все человечество?!

Однако ученицу оправдывал: «Может, потому, что беременна?!»

Но и изящные французы приходили на ум: если начнешь учиться пению в сорок лет, слушать тебя будут лишь ангелы.

Свобода!

Он все не может привыкнуть, надышаться ею. Письма его в Россию легки, не без иронии: «Благодарю вас, милые мои, за щегольской халат: я теперь в нем пишу... Одно только: он слишком для меня хорош. За одеяло я также целую ваши ручки. А затем опять просьба: месяца четыре тому назад матушка прислала мне чулки; к несчастью, прачка изволила их утопить почти все в реке, так что теперь я и брат почти босы. Снабдите же нас, друзья мои, опять носками...». Ему хорошо за столиком, хорошо душе, широко. Он не погибнет: что ни человек – опора.

Мир – опора!

Внимание привлекает громкий разговор во дворе:

– Мы долго будем держать лишний рот в доме? – Анна Степановна: ее голос. Но о ком она, Боже правый?! Только Мишель может быть во дворе, только об одном человеке могут они разговаривать... Брат возмутится и встанет на его защиту...

Стук навешиваемых под крышу сарая грабель, стук укладываемых на поветь вил. Непродолжительное беззвучие – и размеренное шарканье метлы по земляному полу двора.

– Дай ему прийти в себя. Образумится – за дело возьмется.

– Все времени не хватало? С утра до ночи головой в сундуке. Книги да письма.

Шарканье метлы прекратилось.

– Каких дураков нет, и после бани чешутся.

Они, наверное, подмигнули друг другу. Знали: он все слышит.

Лелея высокие надежды, он забыл, что живет в подневольной России, где, чтобы выжить, цепляются за жизнь всем, чем

можно, во имя выживания, как прищемленное пресмыкающееся, лишаются частей тела и – что страшнее – души... А он: дайте, пришлите, снабдите... Доколе! Или ему так и не подняться, не распрямиться?!

V

Аннушка замахала на него ручонками, строгие глазки сделала. Он понял: умела бы говорить, сказала: «Уйди, нехороший дядя!» – Родители давно толкуют о нем, и толкуют дурно.

Он еще не лишался друзей таким образом.

В его окошке вечерней свечи не горело.

На жестком полке, вытянув ноги на каменку, лицом к темному потолку лежал он и думал.

От Поднебесной до Швеции непостижимо прекрасная раскинулась Родина. Не со словом, не со словами рифмуется ее имя – с судьбами человечества... Р-о-с-с-и-я... Росы и синь – душа захлебывается. С чувством одного человека для нее нет рифмы, только с чувствами человечества... Но в светлых пространствах от Поднебесной до Швеции живут не миллионы граждан – миллионы людей самих по себе, одиночек. Кто их теперь попытается собрать воедино?! Непомерный разобщенный труд во имя продления никчемного существования в этом мире – удел каждого. И каждому ясно: он один может постоять за себя... Только верха объединены, но тем же началом – выжить. Не красотой Россия им родина, но богатством. Чем выше сан, тем больше ухватывают. И не Россия она для них – Романовия, Бенкендорфия... Просто переименовать не решаются.

Темный потолок слился с теменью ночи, в непроглядном мраке потонули пространства, но гуще, плотнее темень окутала сердце. Непригодный к труду, он не меж тех, кто хватается – меж тех, кто хватает. Нахлебник!.. Пусть бы лишь сам он сознавал себя им, – помня о высшем предназначении, со временем, может быть, приглушил бы в себе оскорбительное чувство. Но Анна Степановна, брат во всеуслышание гонят его со дво-

ра, указывают пальцем – лишний рот. Анна Степановна Анной Степановной, но Мишель!

«Все вверх тормашками. – Оправдывалось давнее опасение. – «Вольноопределяющийся!» Нашел, чем похвалиться!»

Лопата липла к ладоням, жглась.

Длинная, до колен, холстяная рубаха, побуревшая от пота, обвисая, делала его похожим на журавля. Журавлиными были движения – изломанно-медленными. Бессонною ночью, изнурившего уничижительными сомнениями, подвиг он душу поступиться тщеславными надеждами, смириться с долей, стать как все, и умилился: непорочен, чист перед Богом. Суть христианской морали – его суть, своею благочестивостью он обязан ей.

Лопата ширила по межгрядью гороха и табака, горчицы и свеклы, разрубала переплетения стеблей, сгребала в кучу, подхватывала и отбрасывала к пряслу. Три-четыре дня работы – огород превратится в райские кущи.

Баргузин только-только захлопал дверьми, калитками, только-только взялся за грабли, лопаты, тяпки, а он уже приустал, сел на огуречную грядку, сооруженную из навоза с лунками чернозема – скелет-скелетом, помешанные глаза выкатил. Ныло плечо, простреленное кавказской пулей... «Вот таков я. Не физический труд пугает – неспособность им заниматься».

Мишель прочастил легким шажком по межгрядям, жестко стянул на лице кожу:

– Пришла баба поахать, а пришлось охнуть. Чтобы ноги твоей больше здесь не было! – Но все-таки брат, все-таки кровь родная, воспитанная: резкость попытался загладить. – Твои качества никогда не были безобидными.

– Ахал бы дядя, на себя глядя! – забыв об обете смиренности, вспылил Вильгельм Карлович, вскочил, швырнул лопату на ворох сочной им ненужной поросли. – Ты черств, как корабельный сухарь, в тебе ничего твоего не осталось. – Так

разговаривать не пристало. Задергались губы, глаза захлопали. Но спокойного тона не получилось.

– Ты чему-нибудь научил меня за все эти месяцы? Берег мое уединение?! – вовремя остановился, чтобы не сказать: «А сам кого называл лишним ртом?!»

Мишель надвинул на глаза картуз: «Напасть, да и только. Забот полон рот, а тут еще эта забота». Удивился себе: вроде брат не брат. Сказал:

– Что же, давай постигать науку, жизнь-то долгая, – вместил в довольный взгляд огородное хозяйство, глаза оттаяли. – Смотри и слушай.

Климат и почва, навоз и известь, взрыхление и подсыпка, окучивание и поливка... Мишель не рассказывал, читал лекцию.

Он понятливо кивал, понятливо разминал в ладонях землю, понятливо вырывал сорняк... Отныне он будет в огороде с утра до вечера, но с умом в огороде! Не нахлебник – помощник.

Гошка Бурый, сосед, кедровым чурбаком сбитый крепыш, налег квадратною грудью на изгородь:

– Поди-ка сюда, Божий угодник! Я кое-что по своему сомышлению держу.

Глаза у Гошки молоды, вороваты, сальны. Для пущего резону – ямочки на щеках. Нет гибельней мужика для баргузинской бабы. «Бурый потому, – говорили, – чтоб не приметен ночью, крепыш – так спервоначатья кажыден таскает». Не то осуждали, не то одобряли – Баргузин для Вильгельма Карловича не раскрывался, оставался замкнут. Когда серьезен, когда насмешлив – не понять. Дела его темны.

«Тут каждый не крюк, так багор».

Подобрав подол рубахи, чтоб от ботвы не намокла, подошел к соседу, поставил локти на жерди:

– Какое дело?!

Он представляет себе заправским крестьянином, рачительным, знающим, что, где и как в хозяйстве лежит, чего в хо-

зяйстве недостает, какие исправленья требуются. На лице самостоятельность и ответственность.

Гошка наполняется уверенностью: удача сама идет в руки. Заиграл ямочками, заблестел вороватыми глазами, всем видом показывая, какой он доброжелатель, как готов всегда оказать услугу. «Спал с гордости баринок, узнаёт вкус черного хлеба, почем фунт лиха».

– Какое дело?! – переспросил. – Большая сумность лежит на сердце. Гляжу, работник упорчивый, а живет не по-людски, в бане. Какого рожна?!

– Что делать, любезный, присоветуй.

– И присоветую. Купи у меня дом.

– Куплю. А сам-то где жить будешь? – втягивался в разговор Вильгельм Карлович. – Или жениться надумал да идти в примаки?!

– Примаки – это для вас, пришлых, – он что-то хотел еще сказать о примаках и пришлых, но, решив, что этим напортит делу, смолчал. К своему подбивал-скланивал: – Продаю новый дом. Ужель не видел?! Сам бы жил, да жениться раздумал... Айда покажу.

Не знал и не видел. Баргузин не его город. Пусть поселение, царская воля, но отсюда надо выбираться к живым людям, не уткнувшим в землю глазами, но познающим мир. Уткнутые в землю не знают неба. Это он постиг на межгрядях братниного огорода.

Ходить далеко не потребовалось: за два переулка стоял сруб-пятистенка о десяти венцах, положенных на мох.

– Вот этот и продаю...

Горелая тайга подходит вплотную, горелый кочарник. Да два необитаемых переулка. Уединение! Если и огорода не будет, никто не попрекнет, участок за десять лет не раскорчуешь... Смущает недостроенность дома. Он мнется:

– Да, но...

Гошка вскакивает на стену сруба, размахивает руками, показывая:

– Туточки кухня, туточки горенка, туточки спальенка... И самому место есть, и есть куда привести жену.

– Да, но кто достраивать будет, чем?!

– Бревна заготовлены, привезти да сложить – живи в удовольствие.

Ямочки заиграли, задержался правый глаз, вернее, правое веко; оно и раньше дергалось, но за этим смысла не виделось. Сейчас же что-то вроде подвоха мерещилось:

– Надо подумать...

Для него подумать – значит, посоветоваться с Мишелем. Хотя и без советов ясно: надо уходить из нахлебников, уходить из бани – перед людьми совестно.

Михайла Карлыч с женою не приезжали двое суток с поко-са и на третьи остались.

Гошка с румянцем на щеках, с блеском в глазах, под турахом, заполнил собою баню с предбанником – телом и голосом. Вытащил водку – четверть – и огурцы на закуску. Вильгельм Карлович вина-то пил мало, о водке и помнить забыл: гостенек управлялся.

– Братца Михайла Карлыча ждать – только время терять. А вдруг неделю пробудут. А ты к тому времени можешь сруб подвести под крышу.

Торговались недолго.

– Много не прошу, но и не беру мало, потому как барин, не нам чета. Четыреста пятьдесят – и по рукам.

Торговаться-рядиться непривычно и неудобно: как ни порядочен сосед, а скажи что не так – по всему Баргузину разнесется, насмешек не обобраться.

– Согласен...

– Вот это по-нашему. У мужика должна быть твердость внутри, – веселился Бурый, управляясь со снедью и четвертью. – А то ведь каких ни насмотришься, – стучал себя кулаком по лбу: – Чердак пустой, а дверью хлопают.

Вильгельм Карлович любовался его силой и красотой, воодушевляясь, сам водки отведал и огурчиком закусил, вытер ру-

кавом губы – повторял гостя, будто тем сил от него набирался. Смотрел влюбленно: «О таких, видать, говорят: пьян да умен, два угодя в нем...»

Бурый ушел, а утром обнаружилась пропажа фуражки: все висела в предбаннике – и на тебе!

На Мишеле не было лица: желваки на щеках играли. Сжимались кулаки.

– Им, – показывал головою на город, – ничего не стоит обвести тебя вокруг пальца. Хоть это запомни. Сруб стоит вдвое дешевле... Где денег возьмешь?!

– Он задатку пятьдесят рублей просит, – мальчишкой, поставленным в угол, чувствовал себя Вильгельм Карлович, но вида не подавал: – Задаток одолжу у тебя, остальное даст Юстина.

– Вымогатель.

Вильгельм Карлович обеими руками грохнул о стол. До каких пор его будут учить, помыкать им?! Но слова не образовывались: гримасы, одна безобразней другой, ломали лицо...

Он действительно поспешил. Плотники сложить дом обещали наискорейше, да на чем вывезти бревна из лесу: у Мишеля лошади нет, другие хозяева денег требуют, а у него ни гроша.

Искупая вину перед родственниками, перед собою, до темна не выходит из огорода – Анна Степановна им довольна. Но ему еще надо бревна таскать из делянки – четыре версты! Привязывать за комель веревку, впрягаться – по два-три дня вольч... Не выдержав, зовет:

– Егорка! Я много переплатил тебе... Помоги вывезти!

– Знамо, барин, работа в тягость, да я тебе не слуга, – Бурый сплюнул семечковую шелуху, облизал губы. – Никто за язык не дергал!

Натаскавшись из лесу бревен, накопавшись в огороде лопатой, он падал замертво на полок в жалком своем жилище. Ни о чем не думалось, ничего не хотелось. Над ним не было тюремного свода, за дверью не перешептывались часо-

вые, не мерцали в коридорном свете штыки, но жизнь казалась каторжной. «Пегас в ярме». Времени для литературы не оставалось. Он начинал жалеть о тюремной камере, где был свободен его дух, где он был ближе к идеалу, поэзии, к вере... Верстовыми столбами выстраивались стихотворения, дорогами ложились поэмы. «Ныне про татарское счастье только в сказках слышать...» Открывал сундук, перебирал рукописи – их не прибывало... Ему не из чего делать свою всесветную славу! Воля вольная сошлась клином.

Да нет же! Все не совсем так! Сколько можно брюзжать?!

Начатая в каземате, оконченная здесь, в журнал Александра Сергеевича уходит ученейшая статья – «Поэзия и проза».

Уходит, чтобы осесть в сейфах Третьего отделения.

VI

Солнце всходило и заходило, но солнечных дней не было.

Аннушка не стояла в окне, на баню его не смотрела – навсегда отучили.

В камере рядом было близкое живое существо, белоснежный Василь Васильич Коцеус, здесь – никого.

Он закрывает глаза, творит святую молитву. Им в детские годы был даден зарок не строить планов на будущее: они воздушные замки, карточные домики, малейшее дуновение – развалятся. Непроизвольно, но ему всегда удавалось нарушать его. Как жить, не представив завтрашнего дня?!.. Ни одного ожидания не сбылось, ни одной мечты не осуществилось. Наоборот, задуманное оборачивалось против. Воздушные замки, карточные домики – от малой малости до судьбы.

Смятение и воспоминанья тянули туда, куда всего-то ничего времени назад не хотелось оглядываться... Грешен человек, нарушающий данный себе обет, грешен и жалок... Ему бы сплевывать трижды, загадывая на завтрашний день, паче – на послезавтрашний. Своему Коцеусу на новый, тысяча восемьсот тридцать четвертый год заказал он ошейник красного бархата,

что при белизне его шеи служило бы к украшению и возбуждению в нем благородного честолюбия. Не утерпев – шутка ли целый месяц хранить тайну от единственного товарища?! – поведал о готовящемся для него приятном событии. Товарищ и ухом не повел – сидел в яме, выбитой в скальном грунте для выхода казематного окна, немигающие янтарные глаза вперял в хозяина.

– Васька, ты ведешь себя дурно! Меня не слушаешь – куда ни шло, но теперь уже восьмой час как прозябаешь, а погода – упаси боже! – он привык разговаривать с собою: ответа получить не от кого, Васька молчун. Хоть Кисаньки-Васеньки, хоть Васеньки-Кисаньки – молчит. – Ты пошто, злодей, и ухом не ведешь?! – Будто удостоившись объяснения, примирился: – Что правда, то правда: шуба на тебе изрядная.

Он заглянул на месяц вперед, задумав новогодний подарок, – и Васьки не стало.

Ни Баргузина, ни далее от Поднебесной до Швеции – только Свеаборг, только тот день.

Васька не хотел уходить с колен, жался, пригревшись.

Он ему выговаривал:

– Балбес-балбесом ты у меня, есть перестал, гулять не выгонишь, а через две недели праздник. Тебе надо выглядеть свежим и молодым, соответствующим подарку, ты же, как старый дед, бурчишь под нос да жмуришься.

Кот не внимал доводам, жался.

Он скинул упряма на пол:

– Есть тебя не заставишь, но погулять-то ты у меня погуляешь. – Открыл форточку, потянулся схватить за шиворот – немигающие янтари остановили руку. – Как хочешь!

Раздосадованный, оскорбленный, задул лампаду, на матрац, подбив под голову подушку, улегся: «Несносная тварь! Ни прянком тебя, ни кнутом – все сам по себе. Сколько ни колотил, ни выбрасывал! Из тебя никогда не получится послушного существа.» И заснул в гневном разочаровании.

А Васька утром мертв...

Стыдно сказать, о чем он тогда горевал: есть принесут – поделиться не с кем, слово придет – сказать некому. Со священником разве слова?!

Они начинали издалека, говорили намеками.

Вечернее небо, подсвеченное закатом, начинало показывать звезды: яркие – на небосклоне, тусклые – выше.

Он сидел на бревне в дареном халате с бархатным воротником, отдыхал, вытянув ноги, лопатками упираясь в стену сарая.

Мишель охапками – это тебе не сено, чтобы поддевать вилами! – (в нем оставалось еще что-то живое, в Мишеле) носил свежескошенную траву с телеги в ясли, коровы поднимали головы, захватывали ее языком, невозмутимо жевали.

– Тюрьма не только физической силы лишает, – задевал мимоходом братца, – но, видать, и мужской.

Анна Степановна, звеня молочными струями о дно подойника, подхватывала:

– Не скажи! Который месяц, а ни к Любке Художитковой, ни к Варьке Ожгибесовой... Ваши в округе все пережились...

Он перекатывал грустные глаза, не отзывался. Какая даль разделяет их, какое непонимание! Брату известен его взгляд на отношения между мужчиной и женщиной, но молчит, а его имя связывают с именами женщин, доступных «всему Баргузину». Не совестятся или намеренно оскорбляют?!

Разуверившись в понятливости пииты, Мишель присел рядышком:

– Прости, но мы думаем, тебе надо жениться. У наших товарищей действительно у всех есть жены.

В голове затокало, разбежались слова. Значит, все-таки лишний рот. Десять тысяч верст отмахано, чтобы услышать это. Ни старанье его, ни попытки разделить общий труд не учтены дорогими родственниками... Додумывать дальше не стоило: мысли неизбежно затронули бы святость родственных уз...

Понурый, медленный, побрел в свою баньку; в небо, к Богу, не поднимал глаз — там было черное солнце. «Что же ты делаешь с людьми, Россия! Твое единоправие разобщило их, нет ни во что веры. Ничего не осталось святого! Каждый готов добить каждого, забросать камнями».

Мысль противоречила недавней уверенности в доброжелательности к нему всего сущего, и становилась главенствующей.

Оконце мало давало света, низкий потолок пригибал.

Женитьба — как избавление от лишнего рта. Им нет дела до его чувств, до его мыслей и пониманий. Гонят как нищенку-попрошайку со двора и ждут, как побыстрее захлопнуть калитку. Хоть к художитковым, хоть к ожигбесовым... старое междусловие не вспоминают: жениться не напасть, кабы, женившись, не пропасть.

А может быть, они правы.

Дикарь шел на дым родного очага — к отцу, к матери, к братьям-сестрам. Что же он очага не разложит?! Не будет женщины, хлопочущей у огня, детей, всползающих на колени, не будет?!

Но только не механическое соединение!

В иной жизни он не был обделен вниманием прекрасного пола. Влюблялись в него, и он был влюблен; не в кого-нибудь — в Авдотью Тимофеевну, родственницу Пушкина, Александра Великого!

Он легко переносится в прошлое. Баргузин, деревянный, заштатный с заштатными душами, заштатными взглядами — канул в небытие, растворился. Исчезли расстояния, годы... Москва. Голубая комнатка да они, влюбленные: он в кресле, она — на софе. За дверью невнятная музыка, невнятный говор, за окнами — Огородники. Большой мир его от края до края. Он известен, молод, галантен. Известность дуэльная, взбалмошная — скандальная; галантность — врожденная; а молодость — двадцать пять лет.

Личико Авдотьи Тимофеевны – молодой месяц. Волосы уложены высоко и строго. Зеленые глаза в длинных ресницах детски доверчивы, откровенны. На мизервом носике туго натянута кожа. Крошечные ноздри. Свежие губы полны, своенравны. На тоненькой шейке от биения артерий подрагивает светом тоненькая золотая цепочка.

– В брюнетках есть пламя, сжигающее душу прирожденных северян, – переламяваясь пополам в сидячем поклоне, перекачивает он языком слова. – Но гореть она будет дотопле, покуда рядом будет душа, воспламенившая ее.

Право на смелость в обращение заслужено им давним знакомством, многими часами, проведенными вместе.

Она закрывается веером в счастливом смущении.

– Прошу вас, Вильгельм Карлович! Долгие уединения могут навлечь подозрение на чистоту наших взаимоотношений.

И встает, подав руку в перчатке. Шевелит веером над вырезом платья, там, где стекает в ложбинку золотая цепочка, говорит:

– Ваши слова принимаю как предложение руки и сердца. Так знайте, я ничьей, кроме вас, женою не стану...

Петропавловская... Кексгольмская... Шлиссельбургская... Динабургская... Вышгородская в Ревеле, Свеаборгская в Финляндии...

Лежа на грязных сырых матрацах, подбивая под голову соломенную подушку, он верил и сомневался: было или приснилось?! Он – в черном фраке, и она – ослепительная. С цепочкой, стекающей в ложбинку.

Он загадал наперед свое счастье, нарушил данный в детские годы зарок.

«Да», произнесенное Авдотьей Тимофеевной, склонило его колени перед ее матушкою.

За окнами Огородники, желтая листва, красная гроздь рябины.

Те же зеленые виноградины глаз, только в бурых прожилках. И не мечтательный взгляд – занавешенно-темный, за ним – беспощадная правда опыта прожитой жизни.

Матушка зябко повела плечами под накинутой шалью:
– Вы оба нищи!

И ограничилась этим.

Тысяча восемьсот двадцать второй год.

Тысяча восемьсот двадцать третий... тысяча восемьсот двадцать четвертый... двадцать пятый... двадцать шестой... двадцать седьмой...

В тридцать втором письмом из Свеаборга он освободил невесту от данного ею слова.

– Я ничьей, кроме вас, женою не стану! – не приняла она возврата.

Ныне тридцать шестой.

Окно затемнело, он зажег свечу.

Авдотья Тимофеевна – без надежд, пусть с трепетом, но без веры в чудо – его нареченная, а он – свободен. Он не позовет, нет, лишь напомнит о себе.

Перо отказывалось писать, брызгало кляксами, скрипело, но, цепляющийся за соломинку, он брал новый и новый листок...

Среди многих писем, тайными путями достигших Москвы в тот день, было и его письмо.

Ей уже не пятнадцать, ей двадцать девять.

Листы из сибирского конверта разложены в голубой комнате по подоконникам, креслам, лежат на софе. Быть верной слову нетрудно – прекрасно. Господь все видит, все слышит, все знает: верность будет отблагодарена.

Ей словно снова пятнадцать.

Вильгельм Карлович! Никто, кроме нее, не поймет, не защитит его в этой жизни!

Она стучится в двери царских палат – и они отворяются.

Николай, из пол-оборота становясь в гранитный профиль, свинцовым взглядом успел-таки скользнуть туда, где терялась в ложбинке тоненькая струйка золота.

– Сударыня! В Сибирь не позволяю: она вас сломит. Детей можно рожать и здесь. А там легкомыслие вам подобных обрекает их на страданье. Вы об агнцах Божиих не думаете, я – обязан!

Она опустила вуальку, прямая, зазвенела каблучками по мраморному полу.

Его величество усмехнулись: «Якобинка!?!»

Двери закрылись, он зашевелился, прошел к креслу, сел, вытянув ноги, как Кюхельбекер на баргузинском дворе, с хрустом потянулся. «Так она, должно быть, приятна для рук!» – подумал.

Статья осталась безответной. Безответным – письмо.

VII

«Царапает, царапает с утра до ночи, глядишь, и выцарапает чего-нибудь. Бабы рассказывают – этим, с царапалкой, деньги больше базарных платят, абы складно выходило».

Анна Степановна, голорукая, матовая, управлялась с квашней. Тесто прилипало к пальцам, тянулось. Она отрывала его резкими взмахами, поправляла плечом прядь, выбивавшуюся из-под платка, размышляла.

Аннушка, поднимаясь с четверенек, томительно-сладко прикасалась щекою к ноге, спотыкливymi ручонками загребала мамин подол:

– Отстань, кумова дочка!

Руки в тесте, не отцепишь, а мешает, потому словом попугивает.

Аннушка послушно опускается на пол, шлеп-шлеп ручонками по половицам – убирается восвояси.

«Наполучает тыщ, нос задирать почнет. Баринoм посередь двора усядется, знай себе заплевывает орешками, а то и вовсе в Расею утянется; старики говорят: коли деньги при бедре, ниотколь не быть беде. Ни во что нас, земляных да навозных, выставит».

Мысли и ночью не давали покоя.

– Миш, а Миш, послухай сюда, – выждав, когда он откинется на подушках, подложит под голову ей руку и глубоко задышит, сказала: – Ты до меня тоже просиживал ночи над бумагами. Может, денег дадут за них. Обоим с

братцем бы соединиться, а то ведь он гуся своего вперед жарить толкает.

– Хозяюшка ты моя, хозяйюшка, тьма беспросветная! В нынешней жизни талантом за так деньгу не выбьешь – подходец нужен, – понял он ее переживания.

Неостывшими размягченными губами чмокнула в висок:

– Подумай, Мишенька, подумай.

Ее глаза наливались небесною синевою, уважительно теплели в подрагивающих ресницах: Мишенька, до петухов встав, сидел в исподнем над давно заброшенными листьями, довольный, пощелкивал пальцами.

«Мы ему покажем!» – радовалась.

Авдотья Тимофеевна звездочкой светила издали, недоступная, звала, но он понимал: ее никогда в его жизни не будет.

Бабочкой-однодневкой опалил крылышками об ее пламя – и умер.

А звезде гореть да гореть. Император гранитной спиною разделил их, вынудил порознь существовать ей, живой, и ему, мертвому.

Низки окошко, столик, скамья, удобен полоч – на него можно откинуться.

Откуда столько жизни в Мишеле?! Жена, хозяйство, ребенок?! А у него ничего этого нет и не будет. Но есть поэзия. Не бабочки мы все же на огонь! «Пусть сумрачна моя обитель, пусть дней моих уныла нить, но ты со мною, мой хранитель! И вновь судьбу благословить готов я...»

День ни дождлив, ни солнечен – пасмурен.

В красной рубахе, перепоясанной черным шнурочком, в сапогах, протертых бархотной тряпочкой, постоянно носимую при себе, Мишель вошел, не пригнув головы, жилистый, будто вырезанный из сухого корня. Присел на скамеечку.

– Что новенького?

Чрезвычайное происшествие, не иначе. Ни делами его, ни сегодняшним днем, ни завтрашним брат не интересуется. Собирайся уйти в монастырь, покусись в мыслях на самоубийство – не почувствует, не предупредит, не узнает. Ему одно – выгода.

– Да вот царапаем.

Мишель, уставив руки в колени, заговорил о неведомом себе, о непредполагаемом.

– Знаешь, я задумался: чем мы с тобою здесь богаты? – заглянул в глаза. Лицо заиграло желчью и желваками. Невыносимым сделался взгляд – прямым как шпага: – Знаниями. Но более образованием. Знания получены бесплатно, мы ими бесплатно делимся. Образование же должно приносить доход.

Это о нем, о его поэзии. Знаниями брат считает почерпнутое из книг, образованием – развившееся от воздействия знаний. Он прав в рассуждении дохода – кто о нем не печется, но как выйти в печать? Сколько бесплодных попыток предпринято! Он погоняет его, чтобы лишний рот был менее лишним?!

– У меня есть две статьи о Забайкалье: народы, их быт, нравы, обычаи. Тема нетронутая... – признался Мишель.

«Каких дураков нет – и после бани чешутся...»

Обидных слов он будто не помнит. Порождены минутною слабостью, несхождением концов с концами: в сусеках каждое зернышко на счету, в кармане – каждая денежка. А тут еще он... Но каков братец – молчал о своем сочинительстве!

– В прежние времена я бы ограничился просто тем, что показал их тебе, спросил мнение, совета, довольствовался бы простым напечатанием, ну, может, хвастал бы перед знакомыми, ныне же нет. Труд затрачен – он должен быть оплачен... Я к тому – не соединиться ли нам да не послать бы в какой журнал?

Как дурно он думал о брате! Мишель заботится о нем, о его благополучии, себя для побуждения присоединяет. Нужно попробовать еще раз – пусть безымянно, но только

быть напечатанным! Единоправная печать не пускает на свои страницы фамилию Кюхельбекер, но как может она не пускать ум, талант?!

Спросил без мук с голосовыми связками:

– Статьи готовы?

– Давно.

Поднялся, больно ударившись головой в потолок, вышагнул в предбанник. Вернулся с кипю рукописей, довольный: у Мишеля две статьи, у него – на целый журнал хватит, не на один номер!

– Пошлем моему первому редактору! – в валенках из-за зябнувших в сырости ног, нечесанный, возбужденный надеждой, начал приводить доводы, которые могут содействовать успеху: – Я знаком с ним, с его супругой, с тестем, детьми и зятьями.

Мишелю слышалось: «Я старый литератор, ты во мне сомневаешься, но мы посмотрим...» Предупреждение Анны Степановны ворохнулось в груди: «Обойдет!»

– Отбери, что нужно, я схожу за своими.

На подготовку пакета в столицу ушло два дня.

Сначала переписывали страницы с пометками, после решили переписать все: пусть у себя останется по экземпляру.

Вышел внушительных размеров конверт.

В письме каждый определил условия.

Младший:

– Гонорару прислать, сколько Вам угодно будет. Особенно нынешний год мне деньги необходимы: строю дом, а сохою здесь немного добудешь.

Старший, на нервическом взводе пред чрезвычайным шагом, в самонадеянной любезности выказывал хороший вкус:

– Вы восприимчив младенческой моей музыки: первый лепет ее начался в Вашем журнале. Теперь она возмужала, и самолюбие шепчет мне – будто бы стала говорить несколько толковее. Позвольте же, милостивый государь, предложить Вам: во

1-х, без платы кое-какие рассказы, а во 2-х, за плату участие, и постоянное, статьями в прозе в журнале; за них прошу Вас назначить мне 100 рублей в месяц деньгами и на 300 рублей в год книг, курительного табаку (Жукова 2-х рубленого), кофе et cetera...

Свобода стоит жизни. Если не больше...

Письмо осталось в архивах Третьего отделения.

«Нет?! – недоумевал Вильгельм Карлович. – А мы-то перед ним?!»

«Как пришло, так и ушло», – смирялся Мишель.

Анна Степановна гоняла по двору кур:

– Кыш по насестам, пока дворянам в ошип не попали!

Лето взбудоражило Баргузин: не вернулся с охоты Аленький Цветочек почтмейстерской дочки Брыскин – двадцатипятилетний черноглазый красавец охотник.

Дочка потерялась в разуме. Руки на себя наложить пыталась, топилась в речке.

– Ой-йошеньки-йошеньки! – запертая, надрывалась в чулане.

Приведенная мачехою на подворье Кюхельбекеров – пусть Михаила Карлыч посмотрит, – дикая и заплаканная, уронившая волосы на лицо, она вся терялась в них, терялась в объятиях Анны Степановны, на крылечке сидючи успокаивающей ее.

– Не ты первая, не ты последняя. Сколь мужиков-то терялось, да бывало, что находились.

Девчушка девчушкой: ее девятнадцати нельзя дать.

Но по-взрослому знает приметы, верит в них.

– Земля – ворожба, лес – ворожба, небо. Они говорят – нет Аленького Цветочка!

Анна Степановна гладила ее по волосам, по спине, убаюкивала, девочка притихла.

– Лето пройдет, пройдут осень, зима, гляди-ка, весной новые цветы выйдут...

Он впервые увидел такое лицо: русское-нерусское. «Ди-карка».

Туда и сюда важно прошелся мимо, до крыш высокий. Взад-вперед шагу следовала голова.

Дикарка рассмеялась сквозь высохшие слезы, из-под волос стрельнули глаза – черный огонь. Полушепотом задрезнулась:

– Курлы-курлы, журавель!

Он давно глух на правое ухо. Оглохшим почувствовал себя лишь сейчас.

Зачастившая на подворье, она стреляла черными пулями. Босоногая, в ветхом платишке, бралась за балясину Мишелева крыльца, смотрела на баню:

– Курлы-курлы!

У него обмирало сердце, путались мысли. Он и Брыскин! Но почему бы и нет?!

А ей одно интересно – журавель. Старый и одинокий.

– Вот тебе и невеста, – Анна Степановна, плавная, не двойною, беременная, двумя жизнями живущая, выждав минуту, советовала и горевала: – Всяких вас в наших краях набралось. Да все хилые, жидкие, хоть башковитые. А нету баб, ровни вашей, отдаем несмышленишей. – Концы платка подносила к глазам: – Да кулемы несчастные, сами-то будто недоросли. Каково матерям-то вашим?!

...И пришел вечер, темный, холодный, таинственный. Открылась дверь – и задуло свечку. Он только увидел – она.

Дрожащее махонькое тельце прижалось к нему, согреваясь и плача:

– Мамка отодрала и выгнала!

Растерянными руками запалил свечу, тени в дьявольском наваждении заматались по стенам, по потолку.

Она уперлась руками в его плечи, встряхнула волосы и посмотрела в глаза.

Горячим песком пустынь, тягучим запахом хвои, березовым отдохновеньем повеяло...

Любовь приводила ее и темной ночью, и светлым днем. Анна Степановна, довольная, в амбаре прижимала животом муженька к стене, целовала:

– Дело к свадьбе идет, Мишенька...

...Он радовался решительности ее руки: перо в ней было не продолжением пальцев – продолжением мысли. А мысли у молодости – не угнаться: сегодня – запад, завтра – восток, и юг и север, мало – поднебесье и подземелье... Как рано стареет тело, как долго молода душа! Непререкаемая латынь приходила на ум. «*Cogitatio moriens ultimum* – Сердце умирает последним».

Он бегал по сжатым полям, ловил паутинки и Дронюшку, хохоча падал с ней на стерню, что извечно колюча... Смотрелся в утреннее окно, видел отраженное лицо, в усталости и морщинах, с легкомысленно тарачившимися глазами – и закрывал его ладонью.

– А на тот свет написать можно?

В полудетской улыбке – сомнение: не глупость ли ляпнула?!
«Жив Брыскин в ней, жив! На что надеюсь?!»

– Только душою.

– Но душа писать не умеет.

Как ей ответить?

– Не умея писать, ты не обращалась к Богу, не умея читать, не разговаривала с ним?

– Я не о том...

Опущены ее руки, опущена голова – вся смирение и покорность: дикий ветер Бурятии, черный столбик смерча, остановленный перед ним на желтом жнивье. «Ей обо мне не терпится поведать Всевышнему!»

Она его свет.

Только счастливые воспоминанья посещают его, счастливые миги. «Шумит поток времен. Их темный вал вновь выплеснул на берег жизни нашей священный день, который полной чашей в кругу друзей и я торжествовал...» Это о 19 декабря,

о Лицее и Пушкине. Четверть века назад они познакомились. «Как сон тяжелый, горе протекло; мое светило из-за туч чело вновь подняло... терпел я много, обливаясь кровью: что, если в осень дней столкнусь с любовью?..»

Читал ей – она засыпала. Не принимала стихов, не понимала...

«Ульрика фон Леветцов и Дросида Артенева! В истории литературы этим именам стоять рядом. – Признав женитьбу решенной, он обращался памятью к кумиру юношеских лет, к Гете. – Деятнадцатилетняя аристократка, готовая стать супругой великого старца семидесяти четырех лет, и девятнадцатилетняя дикарка, постигающая азы чтения и письма, – жена государственного преступника старше ее двадцатью годами! Есть где разгуляться фантазии авторов, прикоснувшихся к жизни двух поэтов!»

В своей европейской значимости он не сомневался. Мало известен?! Тому есть причины. С женитьбой начнется новая жизнь, люди, препятствующие публикации его, проникнутся христианским милосердием – семье надо же на что-то существовать! – уберут шлагбаум цензуры, и тогда... В Санкт-Петербург уходит письмо, к Бенкендорфу: «Я подал просьбу мне жениться на любимой мною девушке. Я должен буду содержать жену, но следует вопрос: каким образом? Рана пулею в левое плечо и недостаток телесных сил будут мне всегдашним препятствием к снисканию пропитания хлебопашеством или каким-либо рукоделием. Осмеливаюсь прибегнуть к вашему сиятельству с просьбой исходатайствовать мне у государя императора дозволения питаться литературными трудами, не выставляя на них моего имени...»

«Рана пулею в плечо... – подумал. – «А где она, собственно, получена?» – спросят. – «В бурных днях Кавказа» – «Уж не в войне ли с горцами?» – «На дуэли в защиту их чести!» «Прямой резон к ним и обращаться. Не взыщите!» Но услышать такой разговор ему не хотелось. И все же отправил письмо неисправленным.

Он верит в свою звезду, в свое счастье. На склоне лет оно вошло в его жизнь Дронюшкой. Его колокола звонят на всю Россию: «Гранд нувель! Я собираюсь жениться: вот и я буду Бенедик, женатый человек, а моя Беатриса почти такая же маленькая строптивница, как и в «Много шуму...» старика Вилли...», – пишет Пушкину.

Она ерошила его седые волосы, ворошила пожелтевшие от старости бумаги – не в пример Анне Степановне – мимоходом выучилась читать и писать, почерк его понимала: такой красивый да ловкий!

Он смотрел на нее и думал: «Свежая, дикая кровь смешается с кровью старого рода Кюхельбекеров, даст его ветви новую, сильную жизнь!» А сердце пело.

Умывшись, утрами он становился на колени перед оконцем баньки, как перед зеркалом, – причесывался, уподобляясь издали молящемуся.

– Истинно набожный человек.

– За добро добром платит...

Умиляющемуся Баргузину казалось: Вильгельм Карлович приносит перед Богом благодарность людям, приютившим его, благословляет жилище.

А он благодарил Бога за ниспослание любви.

Всемиловитейшею рукою Императора на его прошении начертано «Нельзя»!

«Нет!»

Не далекое будущее, завтрашний день вставал перед ним катастрофой. Не на что жить, не на что справить свадьбу. Осенней листвой с последнего дерева опадали надежды.

Мишель, подпоясанный, хмурый, сентябрьским вечером подошел к нему во дворе. Понимающий, сухо сверкнул глазами:

– Кто желает цели, желает средств?! Давай-ка прикинем – каких. Жмись не жмись, свадьба менее ста рублей не обойдется, дом сторгован за четыреста пятьдесят, достройка дешевле трех-

сот не обойдется, да пятьдесят рублей долгу... Так-то. Из бунтарей судьба улыбается лишь бунтарям Наполеонам. Народ обожествляет их, не нас. Ибо они изверги. Чем больше жизней загубят, тем почитаемей. Людской страх возводит их на трон, бунтарей бонапартов. А судьбы таких, как мы, дураков с расшарашенными глазами, сотнями тысяч ложатся в подножие их тронов.

Он оглушен несовпадением мыслей брата с собственными, оглушен подсчетом. Тысяча рублей! Заложил душу – таких денег не будет... Выхода нет. С очередной просьбой письмо, из последних сил держащееся беспечного тона, отправляет Юстине: «Вам всем хочется побыстрее женить меня – вот вам подарочек: пятнадцатого января свадьба. Дикарка моя маленькая и молоденькая, зубки белые, личико детское. Из приданого за нею – ничего. Оно и к лучшему: бесприданница – безобманница, что есть, то есть. Но посему нужна тысяча рублей. О возврате долга не беспокойся: у меня запас произведений на десять тысяч. И если ты добьешься позволения жить мне своим ремеслом... Кстати, пожалуйста, пришли фуражку...»

Изредка встречающийся во дворе Мишель не успокаивал, намекал:

– Идучи на войну молись, идучи на море – молись вдвое, идучи жениться – молись втрое...

VIII

Свадьба состоялась в намеченный день.

Священник в серебряной ризе, сам серебряный, часто моргая пропитыми глазками, поднимался на цыпочки, трясушимися руками возносил корону над его головою, опускаясь – возносил над головою невесты. Из-под фаты беспощадно молодое, беспощадно счастливое личико взволнованно вздрагивало черными ресницами, жило венчаньем. Ни одной тревожной тени из будущего не легло на него, не омрачило. Не будет счастливой жизни – пусть будут счастливые мгновения. «Она прекрасна, светла... – Вильгельм Карлович, холодный, ледащий, чувствовал себя посторонним. Это не с ним

происходит, не над ним звучат благословение и молитвы, не его руку соединяют с рукою юной красавицы. – Царевной-Лягушкой из сказки, наверное, видится она Баргузину».

Он пасмурен: она – белая в белом, он – черный в черном.

Белое счастье Дронюшки, становящейся госпожой Кюхельбекер, почти дворянкой.

Черное – его предательство. Какое чудо ни совершись, он не сможет теперь вернуться к Авдотье Тимофеевне: предал ее любовь, ее самоотвержение, долгое ожидание. И, может быть, себя. Черное – его грусть: жизнь упрямо не давала ему того, чего он желал – предлагала свое. В его земном существовании главное – литература. Не обремененный семьей, он ничего не дал ей, что даст обремененный?

Он глух для себя, старался не слышать.

«Прости, Господи Боже, не пред твоим алтарем приходиться таким мыслям. Пресветлый! Немоощен раб твой в сем мире, одна опора душе – ты...»

Переламывается пополам, целует нареченную в сахарные уста.

«Сахарные уста! Кто, в каких веках определил его точным сравнением?! Пресветлый Боже!»

...Они выходили из церкви через коридор глазующих. Под ноги летели кедровые лапки, ярко-зеленые на белом снегу.

– Любовь да совет!

– Падок мотылек на лакомый цветок...

– Лиса и журавель...

– Любовь – дело природное...

– Дросида Ивановна благородные стали...

Она высоко держала руку на локте мужа. «Вот вам наука, мамка и батька, что отчим! Коли на роду счастье написано – оно будет, а вы хлебайте щи лаптем!»

Анна Степановна, в шубейке, под шалью тяжелой шерсти, вздрагивает в плаче с сухими глазами: то ли себя вспоминает, суразаковую, то ли еще что.

- Как росла сиротинкой, так и умрешь сиротинкой...
- Михайла Карлыч играет желваками:
- Ты меня упрекаешь в чем-то?
- Обоих нас с тобою жалко...

Белая и черный, сидят они во главе стола. Перед ними стоят нетронутыми наполненные стаканы – житейский опыт: пусть дите зачнется здоровым, от пьяного зачатья добра не жди.

Горница набита битком, на кухне отплясывают под балалаику, табачный дым коромыслом, хоть святых выноси.

Где его свадебный мраморный зал, о котором столько мечталось?!

– Дети мои! – Дронюшкин батя, всего-то двумя годами постарше зятя, но глухоманью, пагубным пристрастьем составленный донельзя, тянется к ним, плеща водкой: – Жизнь ведь что? День ко дню лепится, год к году...

Баргузин знал, кого слушает:

- Натенькался, старый пес!
- Из-под забора высунулся...
- Дык отродясь лыку не вяжет...

Переждав шум, он стучает стаканом о стаканы новобрачных:

– ... лепится лебедушка к лебедю. Пусть ваше счастье будет полным, как мой стакан.

– И так же плещет?!

– И так же плещет!

Дронюшка воссияла глазами, лицом, потянулась чокнуться с батенькой: хорошие слова говорит на хорошую жизнь.

С ним давно не случалось такого – этих приступов глухоты, но вот в церкви и сейчас... Он видит людей, но не слышит их. Дронюшка потянулась стаканом к батеньке – и он потянулся.

– Горько!

Бородатое купечество и мещанство воззревает на них, целующихся.

– Теперь можно и плеснуть на каменку! – Баргузинское общество тем отлично от петербургского, что много похваляется, может меньше. Но русская баня – со своими законами по всей империи. Зажиточные на печку-каменку плещут бражку, посостоятельнее – вино, на корешках да на травах настоящее, а богатые – водочку... И на жар души плещут:

– Плеснем на каменку!

Мачеха, свернутая стручком черного перца, желчная, тощая от пропитавшей ее желчи, вяжет свою скудельку:

– Веретено-то закрутилось, откуль взять пряжу, чтоб нити шли?!

Или на нищенство новой семьи намекает, или на что иное, но торжествующего злорадства скрыть не может.

Анна Степановна, голубая среди черных и белых, трезвая среди пьяных, царственно поднимает плавную руку со своим неизменным:

– За ваше и наше счастье!

Розовая мочка Дронюшкина ушка набрякала рядом с его губами – он целовал ее... Свадьба тянется далеко за полночь, он сутулится от усталости. Под тяжестью лет... Только ли? Но они сейчас мало разнятся во всем: муж и жена – одна сатана.

Разгульное веселье опьяняет невесту – она выходит из-за стола, пускается в пляс, маленький ангел среди сатанинского шабаша. Он сидит одиноко – аистом на приточне. Но сердце трепетно поколачивается, проходит глухота, он согласен с восхищением гостей:

– Красавица писаная!

И вдруг он холодеет: на подоле свадебного платья, присланного из Петербурга, – отпечатки грязных подошв сапог и валенок. Дурное предзнаменование видится ему в этом.

А застолье за свое:

– Го-о-рько!

Дронюшка потянулась к нему лицом – белая фата сползла с черных волос, упала в жаровню с гусем, пошла пятнами.

Его охватил суеверный ужас.

Под сыплющимся снежком Баргузин ходил ходуном, пьяный каждым двором, каждой улицей.

Варька Ожгибесова, в валенках, в тулупе на голое тело, обхватывала в пляске голую же, в тулупе, Любку Художиткову.

Вращалась земля. Шла жизнь – всякая: приукрашать не приукрасишь, прибеднять не прибеднишь. Земля – и жизнь на ней...

Утром она выметала из комнаты солому, под веником-голиком звякали медяки и серебряные монеты, набросанные щедрыми гостями. Карман фартучка скоро набрался полным, в другой стала складывать. Он смотрел на легкое ее тельце, сгибающееся и разгибающееся, на шейку, открытую собранными в тяжелый узел волосами, на полудетские плечики, и нежность напивала его, разглаживала морщины, сладкой слабостью млела в руках и ногах: «Моя Дронюшка!»

Но подол подвенечного платья со следами подошв, фата, идущая жирными пятнами, вставали перед глазами... Уж лучше бы было так, как было. Что он наделал!

Двадцать девятого января не стало Пушкина.

Тридцатого января в двадцать девятом убит Грибоедов.

Двумя годами позже в январе умер Дельвиг.

Неужели январь для него несчастливый месяц?!

– Карлуша... – шептала Дронюшка.

Найдите и дайте объяснение чуду – женщина! Ей поклонялись, под ее началом ходили, жизнь на земле спасали ею... Покровительство сильного пола сделало ее игрушкой, а потом – рабой... А ну как опять она встанет во главе человечества?!

Он забывал о фате и подоле, не столько он, сколько что-то в нем забывало.

Родное горячее тельце прижималось к нему, родные мягкие губы его целовали. Он путался в дикой разметанности волос, робел, непостижимым смыслом вышептываемого она пугала его:

– До свадьбы я вольная, после свадьбы – жена...

Он открывал: раньше губы ее были трава-травой, теперь становились живыми, жадными. Его девочка превращалась в женщину.

Она вставала раним-рано, с первыми петухами. На кухне гремели заслонки, сковородники, ухваты.

– Не отлежишь ли бока? – будила его. Он ловил ее руку, привлекал к себе. – Карлуша... – стонала она. В усталости тело ее становилось требовательнее, будто сил от него набиралось... Иной мир, противоположный.

Он редко поднимается раньше ее. Но тогда – счастливей счастливого! Осторожно выходит из дому, с коромыслом и ведрами – что журавель в упряжке, горделиво вышагивает к реке: хозяин, мужчина... Затемно вставшие баргузинки, взвалив на плетни руки и груди, глазают, замысловато иносказуют:

– А вроде и мужика нет...

– Дык они в крепостях что огурец в засоле...

– Снахратит Дроньку, снахратит.

Углублялись в себя глазами – мужей будить шли.

А та, которая постарее, с лицом богоматери, вещала, про-
рочицею вытягивая лицо:

– Не пара они: ни ему Дроня, ни Дроне он.

Поселившийся в доме жены, он исправно пашет благодатную пашню, ему приятно видеть, как из-под лемеха сохи отваливает жирным пластом чернозем, лоснящимся, ждущим посева. А руки болят, ноги не ходят, спина переламывается.

Работа их крутит обоих. Навертевшись у печки, на скотном дворе, в поле, Дронюшка расстилает на полу комнатки стеганое одеяло, лоскутное, залосненное, тянется, расслабляя тело.

Он видел, как в работе грубело оно, широкими становились плечи, таз, тяжелели ноги. И грубел голос.

Однажды, лежа на полу, попросила:

– Наступи промеж крылец, зудит, спасу нет!

Просьба повергла его в печаль: жена, женщина превращалась в бабу. Прощай, сновидения о светлом ангеле... Но тут же

подумал обо всех женщинах сразу: зачем им, прекрасным созданием, нужно замужество, добровольная кабала, убивающая красоту, сужающая мир до двора, огорода, печного шестка?! В свободной баньке Дронюшка выучилась читать и писать, читала и писала в бане, в семейной комнате у нее для этого времени не остается... Кабала, без которой они чувствуют себя несчастными... Это предопределено свыше – они следуют велению небес.

А просьба как просьба: грубой жизни в диком краю нужна грубая сила – иначе не выжить.

Он скинул сапоги, снял носки, еще сомневаясь в нешуточности просьбы, занес ногу.

– Ну же!

Нерешительная стопа спустилась между лопаток. Дронюшка започкачивалась из стороны в сторону, требуя наступить покрепче.

– Хорошо-то как!

Она стонала и думала: «Чего ему не хватает? Жена есть, земля, крыша над головою, а он дурью мается: стихи да стихи. Надьсь такое заплел – не понять ничегошеньки. Оказалось – немецкий язык... Лучше бы домом занялся, так и стоит недостроенный...»

Опускались сумерки, приходила ночь. Дронюшка, родная, грудью, набрякающе упругой тяжестью, прикасалась к нему; его пронизывали токи такого единения с нею, казалось, они одно существо...

Поэзии она не поняла, не услышала. Может быть, красоту древних речений услышит?

– В летописной записи речи Владимира Мономаха на съезде князей на Долобском озере в 1103 году сказано: – «...рече Володимер, дивно ми дружино. оже лошади жалуете. ею же ореть. а сего чему не промыслете оже то начнет орати смерд. И приехав половчин оударить и стрелою. а лошадь его поиметь... то лошадь жаль, а самого не жаль ли...»

Как, наверное, она радуется его памяти, образованности, как восторгается им!

Отодвигается горячее бедро, нагрубшая грудь уходит.

«Заговаривается!»

Он чувствует ее недоумение.

– Непонятно? А мне подумалось: слово «лошадь» требует серьезного исследования. Многие полагают, это тюркизм, но, видимо, слово древнеболгарское. Хотя, может быть, и ошибаюсь, ибо в русском языке, – вел он ученую интригу, – «конь» – для всадника, «лошадь» для тягла. – Сообщением тонкостей заинтересовывал, волновал: – А в абазинском без суффикса «дь» слово «лоша» означает «святой»...

– А матом ты умеешь?!

Она соскакивает с кровати, шлепает босыми ногами по полу, выбегает во двор. Смотрит на себя в ведерную воду на крышке колодца, крестится:

– Господи! Господи!

Жуковскому он писал осторожнее: «Я женился, потому что я христианин, потому что в жилах моих кровь горячая, потому что не понадеялся на себя; а споткнуться после 10 лет заворничества было бы уже из рук вон».

И усмехался, кривя лицо: «Бенедик, женатый человек».

Первенец их родился мертвым. Дронюшка убивалась, простоволосая, черная, с безумьем в глазах шаталась по Баргузину:

– Дитятко мое Феденька, чем я прогневила бога?!

Жалостливые соседки обступали ее, могучие, как земля, наперебой утешали:

– Молод муж, а жена стара – дожидайся плетей; молода жена, старый муж – дожидайся детей.

– Под мужика угодишь, не захочешь – родишь...

Но, безутешная, она выла, стучала кулаками себе по коленкам, мотала головой, пороча Карлушу: в нем все старое, мертвое. И вспоминала Брыскина.

– Ты еще столько нарожаешь – только пятки будут сверкать по улкам...

Слова сбывались – она понесла. Второй ребенок родился здоровым, с молодецким криком, но красоты в нем не было никакой – черен и мизерен. В честь дяди его нарекли Михаилом. Дронюшка исходила нежностью:

– И черненький-то ты мой, и черномазенький-то, и страшненький!

Одетая, казалось, во все, что выброшено на зады Баргузина, она стояла посреди улицы, вытягивала руки из подвернутых рукавов ватной лопоти, голосила:

– А быка-то не видел никто, нету. Аль медведи задрали, аль люди!

Он взял для острастки палку, отправился на поиски. Травы выше колен, деревья – его выше. Сосна в лунном свете стоит казаком в папахе: вершина густа, мохната, потом – голая шея и чекмень на плечах. Вывороченные корни полны ужаса – кажутся затаившимися медведями. Распадок, освещенный луною, темен и светит оттуда глазами изготавившегося тигра... И вдруг – гладь реки. Лунный свет накопился в ней – она лежит через ночь светлыми извивами. Он сел на песчаный берег, свесив ноги к воде. «Мишка, Мишка!» – прокричал в последний раз, но доверчивого «Му-у...» в ответ не услышал. Лунная река через ночь – это он. Остальное не его жизнь.

Не его жизнь.

Он исчезает из этого мира, потому что поэт. Поэзия живет жизнью, а если ее нет у поэта?!

Ему захотелось раствориться в безмолвной лунности, в этой реке. Прощай, российский поэт Вильгельм Карлович Кюхельбекер! Но почему Кюхельбекер?! Прощай, российский поэт имярек!»

Он давно лишился своего имени. И Дронюшка сказала ему об этом, назвав Карлушей! А он и не понял.

Бык засопел за спиною – он вздрогнул.

Хозяйство на ноги становилось трудно: засушливое лето сменялось засушливым, лютая зима – лютой: людям ущерб и

скотине. Но Бог был милостив к ним с братом: у Мишеля пала всего одна корова, у него лишь кобыла выкинула. Все прочее оставалось сохранным.

Семья увеличивалась, хозяйство росло мало-помалу, но дом стоял недостроенным. Увы, увь! «Я волен: что же?– бледные заботы и грязный труд, и вопль глухой нужды, и визг детей, и стук тупой работы перекричали песнь златой мечты...»

IX

Дронюшкин батя, сизый от пьянства, отекий и шаткий, приходил в их комнату, угугукал над внуком, корявым пальцем касался носика. Говорил не ему – зятю, измывался на свой манер:

– Что, Михайла, плох базар, коли хлеба купить не на что?!

Сморкался в драный платок, обидчиво поводил глазами. Зять – нечего взять. Родственников пол-империи, все дворяне да генералы, а тестюшке на стакан вина не сыщется: в одном кармане вошь на аркане, в другом – блоха на цепи.

– А мы на крестины тебе ни много ни мало коровушку подарили. – Качал колыбельку, позыривал: – А к коровушке жеребенка. Твой дядюшка говорит, что бесконный-то и в Царьграде пеш. Так что подарки царские. Чем только батька отблагодарит, не знаю?! Бумаги пачкать мастак; что ни клякса – то печать генерала по-европейскому значит. А по крестьянскому делу, сказать, рано ложиться да поздно встает: люди с базара – Назар на базар.

Дерганая, костлявая, без передних зубов, Дронюшкина мачеха не упускала случая:

– Все перышком щелкаешь, зятюшка, лопатой не копаешь, граблями не гребешь, ручки беленькими держишь. Да ведь калачик – сестрица, упорхнет, и в глаза не увидишь, аржаной хлебушко – родной братец, всяк случай с тобой будет.

С человеческим словом не к кому обратиться, человеческого слова услышать не от кого! «...всяк случай с тобой будет!..»

В тридцать седьмом церковники добрались до семьи брата, признали брак недействительным. Постановлением Синода

Мишелю запретили жить в Баргузине, Анну Степановну приговорили к церковному покаянию, дочь повелели отдать на воспитание. Только заступничество петербургской родни спасло семью, только заступничеством она и держится. Но Мишель опрощался, дичал на глазах, преследования ожесточили его совершенно.

– В нашем положении химерами не прожить. – «Химеры» на языке Мишеля то, чему никогда не изменит Вильгельм Карлович – его поэзия. – Мы выживем только трудами рук своих. Головы утратили значение в этом мире – как горшки можно на колья вешать, а души – они были нематерьяльны, нематерьяльными и останутся, – Мишель говорил убежденно, бесповоротно, не заботясь о производимом впечатлении.

В глазах Вильгельма Карловича давно угас ужас.

В его жизни не оставалось людей. Безобразное месиво лиц, из глухой невежественности в никуда таращащее зенки цвета болотной жижи. Тупые носы, широкие ноздри, чавкающие челюсти. С чавканья начинается день, чавканьем заканчивается.

Родственники видят его лишним ртом, а он не лежебока: в этом году им высеяно шесть пудов пшеницы, три – яровой ржи да два – ячменя. В огороде – достаточно гряд разного овоща, даст Бог – досыта будет. Обошлось не без найма работника, но и его труда в огород вложено немало.

Не посеяно, потому не взошло на гряде литературы. Тут работника не наймешь.

А российская нива ее плодоносит. Какого-то Гоголя какой-то «Ревизор» взошел на ней чертополохом. Как всякому сорняку среди золотой нивы пресыщенный свет рукоплещет: – «Брависсимо!» – В пьесе же довольно веселости, оригинальности – никакой. Коцебятина! Не в светлый день будь помянут зарезанный, но неизничтожимый в человеческой подлости Август Коцебу!

Десятое июня. День его рождения.

«Где ты, Пушкин?! Дай горькой твоей свободы, твоей участи. Я погребен заживо. Дружище, Александр Сер-ге-е-вич!»

В бане, в своем всегдашнем рабочем кабинете, на лавочке, спиною в полук, сидит он и высчитывает дни, прожитые Пушкиным: от 26 мая 1799 до 29 января 1837. В лицейские годы кто застань его над таким занятием: подсчитыванием дней чьей-то бы ни было жизни – быть насмешкам, оправданиям, дуэлям со стрельбой мороженой клюквой, примирениям со всхлипывающими объятьями и мерным сном под крахмальными простынями. Сейчас – нет: дни нашей жизни – это дни нашей жизни!

«Александр Сергеевич! Их у тебя тринадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре, у меня – ни одного».

По щекам текут слезы... Живая душа ищет соприкосновения с живою душою, но во всем пространстве от Китая до Швеции ее у него нет.

– Какой у нас нынче день, Михаил Карлович?

На солнечном дворе он щурит глаза после банной суеты. Надежда неуверенно встрепенет крылышками и сложит их. Но не может быть, чтобы брат не помнил! Он живет пашнями, коврами, лошадьми, называет предрассудками, пустяками все, что не приносит дохода, но все-таки, все-таки...

В неизменной выцветшей красной рубаше Мишель делает руку козырьком: невозмутимый вахтенный начальник всматривается в горизонт, и сердце его спокойно:

– День погожий, Вильгельм Карлович!

Спроси его, какой год на земле, какой век – не ответит: в нем убита вера в праздник, все дни одинаковы... А ему-то сегодня, как ребенку, хотя бы леденец.

Дронюшка стирала. Неопрятная, с намокшим на животе платьем, рукою в мыльной пене убрала от глаз прядь, выжидающе выпрямилась: чего, дескать, надо?!

Он попытался заинтриговать:

– Сегодня обо мне вспоминают в Петербурге...

Черные глаза, не вникая, сверкнули гневом: нашел время для баек!

– А на небесах тебя не вспоминают?!
Он родился не на той планете.

Кельи Лицея стен не имели, звездное небо и звездные росы – утренние – лежали на травах, произрастающих на неземной почве.

Планета Земля обернулась ему казематами крепостей, а теперь – казематом, называемым Россия.

Его настораживает подозрение – не становится ли он брюзгой, просто старым: открывает открытое. Он выходил на Сенатскую потому, что уже из Лицея видел империю казематом. Кроме крепостей, надо было пройти еще через ссылку, чтобы снова прийти к этому?!

Значит, человек из крепости уходит в крепость и в нее возвращается? Выхода нет?!

*Они моих страданий не поймут,
Для них смешон унылый голос боли,
Которая, как червь, таится тут,
В груди моей. Есть силы, нет мне воли!*

Каждый вечер стоял он на коленях перед святым ликом, просил об отпущении грехов, о ниспослании благ от щедрот его. Небесные выси вняли гласу раба божия, возложили близ сердца истинность веры, отблагодарили. Безнадёжно тоненькая, дыхни – исчезнет, ниточка спасения, протянутая через случайные разговоры, осторожные письма, оказалась прочной: он, Вильгельм Карлович Кюхельбекер, принят домашним учителем к начальнику пограничной стражи в крепости Акша с предоставлением стола и крова!

Он настолько приучен слышать «Нет!», что не верит этому «Да!»

– Дронюшка!

Вскинув конверт, потерянно стоит он посреди сентябрьского двора, взад-вперед ходит голова на длинной шее, а вокруг лежат выкопанные огороды, убранные поля. «Собраны и заложены в закрома плоды моей жизни до этого дня – горестные,

тяжкие, но необходимые. – Непроизвольные слезы скатываются со щек, падая, теряются то в отворотах сермяка, то в дворовой пыли. – Я не был ни лишним ртом, ни нахлебником: берите все, люди, пользуйтесь!»

Приглашением пограничного начальника, думается ему, подводится черта под сорока впустую убитыми годами. За нею начнется иная жизнь, он наполнит ее высоким смыслом, всеохватным содержанием.

В который раз – иная?!

– Дронюшка, у нас радость!

– А чтоб тебе пригodiлось да на свой же двор воротилось! – Она давно смирилась с наказаньем господним – замужеством, с неудачами Карлуши, на лучшую жизнь не надеялась. Раздавалась телом, скудела сердцем: доброго слова никто от нее не слышал – ни свой, ни чужой. Гошка Бурый, вслушиваясь в ее перебранку с соседями, смеялся глазами Карлуше, играл ямочками: «Молода годами жена, да стара норовом!» Она крыла его мужицким матом, Карлуша кидался с вилами. Гошка прыгал через плетень и оттуда насмехался-глумился: «Дронька, дважды жена мила бывает: как в избу введут да как вон понесут». А ей муторно: не над ней насмехаются – над семьею. Горше горшего, когда над семьею.

Всяким она навиделась мужа – таким не видела: возьми да приди что верное. Заскорузлое, одинокое ее сердце ворохнулось воробышком и зашлось: бездольному нигде нет места. Господи, помоги ему, дай нам продыху!

Забывтое, покрытое остывшими угольками обид, непониманий, чувство пробилось наружу. Подошла не женою – матерью, не зная причины необычного состояния мужа, притянула его голову, поцеловала в лоб:

– Помоги нам Бог!

Оранжев, желт и багрян мир. Солнце вполнеба. Стекланные паутинки летят, касаясь виска.

Их ночь бессонна.

– Акша не Баргузин! – поднимается и падает голос. Непосвященный поймет: Акша – хорошо. Баргузин – плохо. Вильгельм Карлович уточняет: – Баргузин – кочка у черта на куличках, Акша – станция на столбовой дороге. Граница! Вчера в Петербурге сказалось, завтра в Акше аукнется.

Ей без разницы:

– Что тут, что там – однова. Тут даже лучше: все свои и все свое.

– Дурочка ты моя! – и жарко дышит.

– Карлуша! Ребенок не спит... – оголенной рукою задерживает она занавеску над ложем. – Кому сказано! – И отдергивает: духота.

– Там климат здоровей баргузинского...

– Здоровому всюду здоровье, хворому – хворь...

– Стол и кров – никаких забот...

– У хозяйки забот не отнимешь: свой ломоть на всякий день имей и угол... Угомонись!

Он счастливо вздыхает, под подбородок натягивает одеяло.

– И всего-то семьсот верст! – задумывается: не один собирается в дорогу – семьей. – Мы выедем по мореставу, в январе. В седле с ребенком двести кружных верст не одолеть.

– Спи, родненький, – в ней беспокойство не за себя, за мужа: пусть получится по-задуманному, оседает у него на уме, будто жизнь не для него: – Да не на авось ли все? Авось обманет, в степь уйдет. Не поторопиться ли?!

Он был готовым учителем. Серебряный медалист Лицея, по выходе из него определенный на службу в Главный архив иностранной коллегии, он взял на себя чтение лекций по русской литературе в благородном пансионе при Главном педагогическом институте.

– Никак в министры метишь, – смеялся Пушкин. И Невский оборачивался на его смех. – Сразу в двух главных ведомствах служишь.

– «Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в профессора!»
– отвечал Вильгельм Карлович стихами Александра Сергеевича.

– До профессора-то, может быть, доползешь – ползут-ползут и допалзывают! А в капитаны не выбиться – слабогрудый...

Лицейское небо в звездах показывал воспитанникам пансиона новый учитель российской словесности, высокое небо с далекими горизонтами. Молодость дышит свежестью. Свежий ветер литературы, науки, политики раскрывал двери и окна аудиторий.

Влияние нового учителя сказалось скоро: в шалостях отроков появились опасные для государства направления. Непременной, повторяемой из месяца в месяц стала неслыханная по дерзости выходка. Среди ночи по всем этажам, в дортуарах всех классов одновременно, пугая дежурных дядек, вдруг раздавалось, тотчас смолкая:

– Тираны мира! Трепещите!

Со вставшими дыбом от ужаса волосами дядьки вбегали в спальни... В спальни, погруженные в безмятежный отроческий сон. Только ночное эхо шелестело тьмой в каптерках, чуланах, на чердаке. Волосы укладывались на место, настораживалась душа: – «Наваждение!». – И стоило пройти на носочках коридорную тишину, присесть, смахнув со лба пот, как классы взрывались:

– А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Дядьки сломя голову возвращались... чтобы услышать, как укладывается на покой эхо в тесноте каптерок, чуланов и чердака.

Наваждение наваждением, кому скажи – засмеют. Но ведь ежели кажинный месяц!.. Кладя кресты, доверились один другому, обмозговали артельную облаву. Не помогло! Сатанинское действо творилось с неперемностью, лишь час да число менялись.

Призванная на помощь полиция установила постоянный негласный надзор...

В пансионе в учениках Вильгельма Карловича ходят два неразлучных товарища, соединенных веселой насмешливостью, острословием, за которым стоит у них не что иное, как

острый ум: кучерявый в старшего братца, но белокурый, будто молоком облитый Левик Пушкин, и собственный племянник, подвижный увалень Мишенька Глинка. Центром умирающего со смеху клубка человеческих тел в коридорах на перемене неделями безошибочно определялись они: Лев Сергеевич Пушкин и Михаил Иванович Глинка... В мечтах и воспоминаниях он не мог уснуть...

Во время экскурсии в Михайловский замок Левик поднял невинные глаза на своего учителя:

– А где тут убили Павла?!

Он бросился отвечать, но, увидев панику в глазах дворцового офицера, попридержал язык, что было вообще-то не в его правилах. А рассказать он мог бы в подробностях: папаша его по известной способности Кюхельбекеров попадать в нелепые ситуации, в тот самый момент, когда все происходило, оказался между алебардами двух пар стражников, не дававших ему ни выйти из зала, ни броситься на помощь своему благодетелю, выписавшему некогда его из Германии и осыпавшему милостями.

– Ты должен был умереть там! – ответила матушка на рассказ отца. Таково было ее понимание чести и долга.

За песни, распеваемые его воспитанниками, за вызывающее их поведение, за всегдашнюю его самую готовность ввязаться в сомнительный разговор, а более всего за стихи, читанные в честь высланного из столицы Пушкина, серебряного медалиста Лицея вскорости, наверное, изгнали бы отовсюду и упрятали в крепость, не оказись вовремя романтической вакансии, позволившей под благовидным предлогом оставить службу: камергер двора Александр Львович Нарышкин уезжал в Париж, ему требовался секретарь, способный вести переписку на трех языках. Место предназначалось для Дельвига, но барон из-за своей всесветно известной лени, поверхностного знания языков отказался и, верный дружбе, указал на Кюхельбекера.

Выйдя в отставку в сентябре того, тысяча восемьсот двадцатого года, Вильгельм Карлович отправился во Францию; по

пути посетил в Веймаре Гёте, с которым когда-то в одном университете учился его отец. А потом – Париж. Июнь. И лекции его о русском языке в противомонархическом «Атенее».

«Мы грамоте умели вельми!» – тешит его душу самолюбивая память... Он полузабыл себя: за ним Лицей, талант, книги. В Изборнике Святослава речено: «Красота воину – оружие, кораблю – ветрила, тако и праведнику – почитание книжное».

Это 1076 год...

Он – праведник. Почему – «умели»? Себя противопоставил толпе и потерялся?! «Но я увяз в ничтожных мелких муках, но я в заботах грязных утонул... но погибать от кумушек, от сватей, от лепета соседей и друзей!..» Он будто не понимал, не определил для себя: все беды, разлад с жизнью идут оттого, что у них не получилось. Не на Сенатской – на Русской площади не получилось, в России. «Служенье муз не терпит суеты!»

Почему – «умели»? Он во всегдашней готовности, во всегдашней способности следовать заповедям души – заповедям Лицея и Общества. Возвращением на стезю просвещения он продолжит служение идеалам юности, оправдает собственное существование в мире как гражданина и поэта... Не в быту, не в семье его несчастья – в том, что ничего не изменилось на Русской площади: они ничего не изменили.

Пронзительно – мурашками по коже, ознобом – издалека пришло, заговорило вслух пушкинское, заговорило и оглушило его:

Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды...

...А как они шли к 14 декабря! Наполеон, Отечественная война, Бородино, Ватерлоо... Россия, их великая родина, – во славе и могуществе! Они, верные ее сыны, как Икары, простирают крылья навстречу солнцу. В полете и он, Вильгельм Карлович, ломано всплескивает над кафедрою «Атеней» длинными крыльями:

«Милостивые государи!»

Для нас наступило время, когда для всех народов существенно взаимное знакомство, знание того, до какой степени развились среди нас идеи, порожденные веком просвещения, идеи, совершающие в настоящую минуту великий переворот в духовной и гражданской жизни человеческого рода и пророчащие еще более значительную и всеобщую перемену. Не мне говорить, господа, что насилие, принуждение никогда не искоренят из человеческих душ того, что развито в них ходом времени...»

Собственно, лекция о русском языке. Но без подобного вступления она бы не слушалась, не стоила бы его трудов; друзья, чуть сомневающиеся в его пиитическом даре, признавали за ним и сильные стороны, одною из них считалась его политическая подготовленность. Париж имел ее тоже.

«Русский московский язык, не считая кое-каких изменений, является языком новгородских республиканцев... И никогда этот язык не терял и не потеряет память о свободе, о верховной власти народа, говорящего на нем. Доныне слово вольность действует с особой силой на каждое подлинно русское сердце...»

Акша – его окно в Европу.

Российских Икаров погубило не солнце – тьма погубила.

Они выводили родину на перекресток, на котором, последуй она за ними, быть бы ей первейшею страной в мире. Россия не приняла их – казнила: петлевой смертью, расстрельной смертью, каторжной, ссыльной...

Воюют не народы, воюют правительства. Император Франции девять лет назад вторгся в пределы России, в том же году разгромлен там же. Российский поэт через девять лет читает лекции в столице поверженного императора – страна деспота рукоплещет ему.

Отъезд они отложили до января, до морестава. Море Сибирское – что судьба Сибири. Отними у человека дыхание, у нее Байкал – то же лишение жизни.

Зачастили Мишель с Анной Степановной: давали советы на переезд, завидовали, потом начали отговаривать, но чувствовалось: что-то тайное про себя держат.

– Будь моя воля, никуда не отпустил бы вас. Где лучше, где хуже – все одно Забайкалье. Менять шило на мыло, – Михаил Карлыч из всех выражений человеческого лица сохранил на своем только сосредоточенную серьезность. На все случаи жизни. – К тому же, братец, ты тяжело сходишься с людьми, как с цепи срываешься.

«Что правда, то правда. Но какие тут люди? С которыми ты за бостоном сживаешь до утра? Бражничаешь да темные дела крутишь?!» Прощаясь, Вильгельм Карлович был беспощаден, обрубал концы топором.

Но сам больше молчал: в свете будущего исчезнут все тени.

– Не держи ты их, Мишенька, не отговаривай, – вступала Анна Степановна и выдавала тайну: – Только свое хозяйство пусть не продают, оставят нам для догляду.

Даже Дронюшка растерялась – куда как хватки родственнички!

– Нас дюже дурнее себя не считайте. Отдай вам – пиши пропало.

...Он видел не видя каждодневные лица – они были в прошлом, и не в его прошлом, но человечества. И радовался: в Акше больше бурят, чем русских. Цивилизованное невежество страшней первородного.

Брат – тяжкая его вина, его боль; отломленный ломоть – не уберег, не наставил.

Хозяйство свое – дом и скот – не продавали, оставили Дронюшкиным родителям. «Если я умру, она может вернуться к прежней жизни. Хоть к чему-то у нее будет вернуться сюда», – думал он.

Вроде нищенствуя живешь, а стань собираться – на одну телегу не уместись, в одни сани не уложишься. Дронюшка запарилась:

– Конца краю нету мученьям людским.

Запарилась Дунька – нянька Мишеньки, сына.

Ненужное расталкивали по углам да поветям. Но тесть извлекал из утайных мест оставляемый хлам, сбрасывал на середину двора, тыкал пьяным пальцем:

– Увесь увезть!

Х

В крепости Акша играют на фортепиано, читают книги, дают балы.

Население тянется к просвещению: две семьи готовы отдать детей в обучение: две дочери у пограничного начальника, два сына у казачьего атамана. Число учеников в Акше равно четырем. Учитель смущен: всего-то? В крепости у границы их могло быть и больше. Ну что же – четыре так четыре. В Баргузине их не было вовсе. То, что делал брат: аз, буки, веи – насмешка над просвещением.

Выйдя из крепостей, Вильгельм Карлович в реальный мир не вернулся: оставался в их казематах, видел день таким, каким хотел видеть, ценностями его были лишь те, которые он считал ценностями. Потому упрощал дело Мишеля, соответствующим назначению учителя признавал себя. Одного.

Семейство майора пограничной стражи носило страшную в Забайкалье фамилию – Разгильдеевы. Обладатели ее охраняли границу, командовали воинскими подразделениями, возглавляли разбойничьи шайки, сидели в присутственных местах и все состояли в родстве близком или далеком.

Первым ответом каждому, кто бы ни обратился к кому с вопросом, было:

– Спроси у Разгильдеевых!

С ними не заводили споров, тяжб не начинали – знали: им надо платить. За все: за переход границы, за доставку товара из-за нее, за то, чтоб ограбили, за то, чтоб не грабили, за то, чтобы миновать тюрьмы, сесть в нее или выйти...

Александр Иванович Разгильдеев стоял особняком – разговоры имени его не трогали, но он всегда подразумевался. Забай-

калье не могло определить границ его власти, но было уверено: все в этой жизни происходит с ведома Александра Ивановича.

Каменный дом в два этажа, с парадным подъездом, деревянный флигель, амбары, конюшни – казенное владение пограничного начальника и тайная зависть акшинских обывателей, откладывавших шальные – воровские и контрабандные – денежки не про черный день: на обзаведение двором похожим.

Александр Иванович в майорском чине, по табели о рангах возводящим его в дворянское достоинство, наружностью внушительен и волосом, скобою уложенным, темен; со строгою бородою, прямым станом. Пугачев Пугачевым, являющийся пред народом Петром Третьим, – красной ленты через плечо недостает да орденов на груди.

– Я не надеюсь на счастливый случай, – говорит он, щурясь от снежного солнца. Китайский шелк штор безжизнен, легким штрихом нанесенные очертания фанз воскрылыми кровлями свидетельствуют о древности и близости Поднебесной империи, мировой цивилизации. «Наконец я вернулся к ней!» – празднует Кюхельбекер. А майор пограничной стражи продолжает: – Как всякий отец, вижу своих чад существами разумными. Но не очень убивайтесь, учитель, если убедитесь в противном. Начальных навыков чтения и письма для чьих-то будущих жен будет достаточно. Одно ваше слово – и прекратим образование девиц: неразумного учить – что в бездонную кадку воду лить.

В кабинете покой, предрасположенность к деловой беседе. Отеческой легкости к миссии его, серебряного медалиста Лицея, Вильгельм Карлович не замечает: пустячных разговоров в такой обстановке не может быть.

– Я говорю на авось, не познакомившись с детьми, с авоськи же, как говорится, ни письма, ни записи. Но юность талантлива сама по себе, – ему приятен этот свободный разговор, речь образуется без усилий: губы, язык, голосовые связки – в редко случающейся согласованности. – Мой учительский долг дать развиваться таланту.

Семейство майора состоит из него самого, супруги и двух дочерей, двумя годами разницею в возрасте: старшая Анна, младшая – Васса, Васенька. Слабая половина семейства белокура, голубоглаза и черноброва. Девочки – былиночки тростниковые, супруга березковой стройности.

Для жительства домашнему учителю определен купленный за хорошие деньги дом о трех комнатах с кухней и столовой, для проживания прислуги – крестьянская изба во дворе. Амбар. Сарай. И готовый стол! Все, чего ему недоставало. Четыре его баргузинских года – пропади они пропадом! Дни, исковерканные встречами с грубыми, невежественными, развратными людьми! Он будто стряхнул все это с плеч. Руки его развязаны, душа наполнена яростной решимостью – творить и творить.

– Для чего нам такой домина?! – ходила по полупустым комнатам Дронюшка, довольная с недовольным лицом: – Кто хоть полы мыть будет?!

– Прислуга!

– Ох, Карлуша, так, видать, ты у меня и не поумнеешь!

Он шагает по кабинету, по собственному! В дорогом халате, купленном по случаю перехода в новое состояние, подходит к столу, льет в стакан из хрустального графина сладкую воду: его рот сохнет не только когда он говорит, но и когда думает. Грудь распирает гордость: есть все, что надо для жизни, что захочу – будет. И чувствует себя шекспировским Бенедиком, который может потакать капризам любимой женщины, зная, что сердце ее на надежной привязи... Исфраил, Бог его вдохновенья, шелестит крыльями под потолком.

– У вас что ко мне, госпожа Кюхельбекер?!

Она горестно взглядывает на него, уходит.

Ему нет дела до ее настроений, сейчас главное – его настроение!

Он обдумывает не урок – курс обучения: какие знания дать, на какие цели направить юные души. Наука о преподавании и воспитании гранится из века в век, из года в год, он в чем-

нибудь, может, отстал, устарел, но в основе ее лежали, лежат и будут лежать идеи, образующие систему, вершиной которой служит безусловная ценность – добро. Он будет учить ему.

Одно смущает: в понимании жизни, в отношении к ней девушки в одном возрасте с юношами на пять-семь лет их взрослее. У древних греков обучение дочерей поручалось матерям и нянькам... У него тоже будет раздельное обучение. В который раз – хвала Лицею: он дал знания на все случаи жизни. Те же древние греки... Соединив мистические учения индусов и египтян с идеалами добра и красоты, Пифагор, направляя юные души, вел со своими учениками общую жизнь, и он будет вести общую, сидеть за одним столом. У него есть время осуществить пифагоровские требования до начала занятий: изучить голову и лицо, по манере держать себя определить характер, духовные задатки и способности к образованию.

Два брата и две сестры.

Россия таит в глуши, охраняет от вредных поветрий нынешних времен таланты истинные, глубинные. В медвежьих углах произрастают дарования, способные украсить в будущем отечество своими трудами на поприще науки, культуры, на государственном поприще. Из мальчиков многое обещает Проша, из девочек – Анна. Но у женщины какое будущее?

Преображенный душою, признающий достойным новое окружение, он светски одет, светски галантен: ученицы – сударыни, ученики – господа. И только «вы».

Сильным полом Акши ему безоговорочно уступлено место первого, слабый пол стыдливо опускает глаза: право выбора у него... Он не вертопрах – подождет, не жизнь ему велит – он ей...

Изучает с учениками окрестности Акши, всходит на Елозину гору, спускается в Смольную падь... Названия звучат для него, как Елагин, Смольный – прямое воплощение философии Пифагора: творец мира создает из бесформенной массы и идей мировую душу, ее чувственные проявления – видимый мир... «Добро», «доброта» – слова, не сходящие с языка сегодняшнего дня. О добре и доброте судачат даже грабители, даже убийцы,

даже монархи. В убогом их мозгу перевернаны человеческие понятия, перевернуты. Абсолютное добро есть Бог. Своих учеников он будет приближать к Богу.

Заходит с ними в церковь – лобызается со священником. Старцу неведомы побудительные мотивы учителя – он недоуменно вскидывает бровь, но предостерегающее движение руки успокаивает его.

Воспитывая уважение и терпимость к каждому вероисповеданию, заходит к бурятскому ламе... Лама обещает ему долгие лета – и он верит обещанию.

Его представления о границе: вчера в Петербурге случилось, завтра в Акше аукнулось – правильны. Столько людей, столько судеб проходит перед глазами – давний его Кавказ в уменьшенном, но не ложном виде... Курьеры, инспекторы, искатели приключений, разжалованные и помилованные – им несть числа. Он с ними играет в карты, проигрывая, танцует на случайных балах кадрили, мазурки, вальсы...

– Как вы путаете фигуры...

– Как нельзя лучше!

Он горд собою...

Злейший враг его, Дунька-нянька, привезенная из Баргузина, – видом вторая Дронюшкина мачеха, сутью родная мать, не говорит, шипит подколенно:

– Куды, голубок, котишься: за душой ни копейки...

И уставляет на Дронюшкин живот. Та подхватывает:

– Во всём бестолков, а нищету плодит горазд.

– Хлеба нету, так дети есть! – возносит он голову.

Ему приснились Каховский и Рылеев.

С в я т ы м и .

Рылеев святым снится ему с двадцать седьмого года: в нембе, с глазами великомученика, на облаке с небес он всплывает в его каземат, поднимает бестелесную руку, а слов нет.

Мучимый безгласием друга, он пишет «Тень Рылеева», дает ему слова:

*Несу товарищу привет
Из той страны, где нет тиранов,
Где вечен мир, где вечный свет,
Где нет ни бурь и ни туманов.
Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!..*

Самой дотошной из учениц оказалась Аннушка.

– Вы кем были в России?!

Навидавшаяся здешней жизни, она знала: каторжники не всегда были каторжниками, ссыльные – ссыльными. Иногда занимали посты выше даже папенькина поста.

Она стоит, выставив вперед ножку, согнутую в колене, голубое платьице на груди легко приподнято маленькими бугорками. Светлые волосы лежат на обнаженных плечиках. В ожидании невероятного ответа в глазах затаились голубые искры:

– Воровали в Сенате?!

И за что она так высоко его приняла?!

Они просто всегда взрослые, девочки двенадцати-пятнадцати лет – дай Бог сколько у него племянниц! Их тайны знает только он – никто более... «Наши тайны вечны!» – их уговор.

Она ждет. Ответа и тайны.

– Дружил с Александром Сергеевичем Пушкиным.

Затаенные голубые искры вспыхивают, лесным колокольчиком качнув в повороте платье, она исчезает за дверью. Счастливый перестук каблучков звонок в пустом коридоре. Надежда на что-то непосредственно прекрасное заставляет колотиться и обмирать сердце.

Голубой день в окне светит глазами Аннушки.

В его Сибири – все Анны да Анны. Чего бы предопределенного свыше не оказалось в этом!

Руки на подлокотниках, ноги вытянуты – отдыхают.

Совпадение – как повторение судеб: двадцать с лишним лет назад Кондратий Рылеев, брат по перу и духу, взялся за обучение двоих дочерей офицера екатерининских, не теперешних времен, но все же двоих дочерей офицера!

Он улыбается тайной улыбкой тайной надежде, невероятно улыбается: одна из учениц Рылеева стала женой своего учителя... Нет, он об ином думает: иногда ученики попадают в хорошие руки! При всем желании добра воспитатель, равнодушный к миру молодых душ, слепым следованием канонам убивает в них лучшие задатки, живым росткам дает неправильное направление. Лишь самые сильные, выносливые смогут противостоять его недоброй воле. Не самые способные – самые сильные!

А если под началом таких педагогов окажутся не одна-две девочки, а один-два института, не один-два мальчика, а десяток университетов?!

XI

Голубоглазый прекрасный пол Акши играет на струнах наследственной сентиментальности. «Не от «голубой» идет прилагательное «голубоглазый», – допускает он, – от «голубка».

О Исфраил! Душа поэта – детская душа.

Родина, отказывающая во всем, одаривает его любовью.

И в каждом письме, как некогда о свободе, пишет он теперь о душе. Потому что ее, казалось, уже окаменевшую, отогрела женская красота, освежила. Освобождающийся от оков нужды, он обретал иные оковы – сладкие. Будоражащие флюиды распрямили спину, высоко подняли голову. Исполненный сил, ходит он через свои дни, не зная, к кому лежит сердце; и Васса-Васенька хороша, и Аннушка. О Наталии Алексевне, матери учениц, сказать не сразу отыщешь слово. Бормоча строки поэм, рождающиеся в груди, он бродит по окрестным распадкам и сопкам и на вершине одной из них, преклонив колена, молится на восходящее солнце.

«Я воспрянул, я поэт, – божественный объемлет душу пламень...» Он жаждал чистоты – она его окружает. Окружает любовью, и любовь рождается в нем. К кому – он не может понять...

Дронюшка извелась. Намекает:

– Муж от жены на пядень, жена от мужа – на сажень.

– За детьми следи, дорогая, не за мужем, не удаляйся так далеко.

Любви, не имеющий предмета, он больше не может носить в себе. Томимый страстью, улучив минуту, припадает в спальне к стопам Наталии Алексевны.

– Бог мой, как вы несносны! – укоряет она, за плечи притягивая его к себе. В глазах, вспыхнувших всемогуществом, отразились разбойничьи шайки, присутственные места, переходы границы: – Как вы томите. Вам ли не знать: новый человек в доме всегда волнует меня...

Дронюшка родила сына. Он дожил до своей первой улыбки и умер, Ванечка.

Далеко в России умерла мать Вильгельма Карловича. «Все меня покидают!» – отозвалось в нем.

Умерла Дунька, злейший враг, наняли Маланью в няньки, девочку.

Крыши над головою хватало, обещанного стола – не очень. Дронюшка копалась в земле, обихаживала огороды, не щадила себя, будущего ребенка – опять была с животом.

Ему заниматься детьми, хлебопашеством некогда – две трети дня вне дома.

Дронюшка совестит:

– Непутево живешь, Карлуша. Пошто не оглянешься?! Не по-людски ты сходишься с людьми, не по-людски расстаешься. Нешто забыл? Добром-то не обернется.

Во снах она возвращается в Баргузин, где все свое: лица, избы, земля... А это значит – не сбудется... Она возненавидела жизнь, не их с Карлушей, вообще жизнь, в которой ей не находилось места.

Его ветром не овевает – он любит.

«Анна Александровна, милое, превосходное создание по уму и сердцу: ей 14 или 15 лет, но она понимает меня, как будто ей 20; истинный мне товарищ...» – осторожно определяет он.

Его расположенность к ученице велика – она читает его письма в Россию, приписки делает:

«Доставил мне приятный случай ваш дядинька В.К. познакомиться с вами заочно. Прошу принять мое душевное почтение, а вместе с тем и мою усердную просьбу. Нам очень нужно французскую грамматику, как для меня и для меньшей сестры, то сделайте милость, пришлите ее. Любящая вас А. Разгильдеева».

Он смотрел на ручонку, для которой даже перо казалось велико, и нежное чувство, бережное, овладевало им – он возвращался к своим идеалам.

Когда он говорил, что в Акше музицируют, читают книги, дают балы, то имел в виду Разгильдеевых. Новые люди, появляющиеся в крепости – свитские офицеры, купцы, доктора, искатели приключений – здесь иногда читают стихи, играют на фортепиано, скрипке. Он видит: искренне внимает всему и понимает одна Аннушка, остальные ждут не дождутся, когда позовут к столу. Наталия Алексеевна жаждет танцев. Будто взволнована импровизациями, начинает глубоко дышать, – при этом красиво поднимается и округляется грудь в рискованном декольте. Она слишком не его женщина.

Майор часто отсутствует то по служебным, то по личным делам; появляясь в доме, иногда снисходит до разговора с ним. Он не занимает мыслей Вильгельма Карловича, не воспринимается всерьез; для глаза все не хватает на нем красной ленты через плечо, орденов на груди. И небольшая открывшаяся деталь: майор не Александр – Анемподист! Вроде бы что тут такого, а что-то есть!

И это случилось. Старшая ученица на светлом французском остановила его сердце:

– Учитель! Наши души много веков витали разрозненными: случай соединил их... Но если провидением Божиим души соединены...

Он влюблен и оправданий не ищет. Ему далеко за сорок, она – девочка. Но души их, живущие вечно, витали в мировом эфире, чтобы соединиться в столь разновозрастной плоти.

Бренно тело, но вечна любовь – соединение душ, минутное, касательное, но вечных душ!

Анна Александровна живет в горнем мире, не отрешенье в глазах ее – строгость:

– Птицы летают в небе, но гнезда вьют на земле. Я не могу больше быть голубоглазой от слова «голубка», хочу быть любимой от слова «любовь», хочу быть вашей!

Недели прошли, месяцы.

Он стоит на коленях пред юным существом, признание в любви, наполняя чувством слова, готово быть вымолвленным. Только юное существо – ни комнаты в три окна, ни солнца, ни зеленеющих вершин заснеженных сопок. Только юное существо в легком платьице, светловолосое. Да он, Вильгельм Карлович.

Чистое детство под безоблачным небом; детские огорчения юности; пулями и картечью встреченная пора возмужания; казематами крепостей, каторгой ссылки обернувшаяся зрелость... Но над жизненным полем в господних высях мечтой и надеждой витает светлый ангел любви. Шелест его крыльев он слышал над собою всегда, сегодня слышит рядом.

Родившаяся 12 декабря 1825 года – за два дня до восстания на Сенатской, то бишь Петровской площади, когда двадцативосьмилетний коллежский ассессор в лиловой шинели с бобровым воротником, обреченно статский в военном каре, с огромным пистолетом метался по площади под артиллерийским огнем, пытаясь собрать и повести в атаку матросов гвардейского экипажа, – она, замирая, ждет. Домашний учитель, Божиим провидением, волею ли батюш-

ки царя ниспосланный в ее край, предложит руку и сердце, станет ее супругом. Она не виновата, что родилась много позже, – ей на роду написано быть его ангелом-хранителем, его душою, его чувством и разумом. Детское личико горит румянцем ожидания.

Для нее не существует мира.

– Сударыня Анна Александровна!

Но отворяется дверь, на пороге появляется маменька, перед которой однажды видела она Вильгельма Карловича в той же позе, только не в этой, в другой, комнате... Из-за плеча маменьки выступает лицо грозного майора пограничной стражи – папеньки. А дальше мысленно видится ей заросшее черными волосами лицо двадцатипятилетней беременной женщины, Дросиды Ивановны, и сына ее Мишеньки, держащегося за подол.

Она руками закрывает глаза. Дает волю слезам.

Не папенька – маменька держит границу, весь род держит. Все, что ей нравится, – забирает себе. Заберет и Вильгельма Карловича.

Господи, в каком он положении?!

Меркнет день, гаснет нимб над головой ангела.

«Коцебятиной обзывал «Ревизора», а сам оказался в роли гоголевского героя! – кипит он презрением к себе, к наследственной неудачливости, неуклюжести. – Все пошло, никчемно! – Поднимается с колен, больно надавленных половицами, судорожно ищет спасительные слова... Всегда, когда счастье казалось рядом, – над ним разверзались хляби небесные... Или он не там искал свое счастье?

Он будто не слышал двери, не догадывался, кто там, подходит к Аннушке, отнимает от ее глаз руки, попеременно целует:

– Успокойтесь! Вы достойно прошли курс обучения. На первый случай вам знаний хватит. Жизнь для вас только начинается.

«Папенька удовлетворен, – думает. – Для него в доме все обычно. Маменьку не обманешь, – глухота обрушивается на него. – Вот так, профессор!»

(Место профессора словесности при Черноморском флоте для чтения лекций морским офицерам было ему почти обеспечено. Около двадцати лет назад он имел способности и протекции.)

Почему они стоят не шелохнувшись?!

Почему возникла пауза, тянущаяся так долго, так напряженно?! Он стоит в каменной своей глухоте, думает: «Говорю жизни: – Я полон тобою! – А она смеется надо мной, отвергает и насмехается». Когда-то он писал другу в альбом: «Кюхельбекер – странная задача для самого себя – глуп и умен, легковверен и подозрителен; во многих отношениях слишком молод, в других – слишком стар... Главный порок его – самолюбие...»

Он изучал не только мир, но и себя.

Паузы не было – был взрыв, выведший его из глухоты.

Это взялось ниоткуда, не тлело, не шаяло – взялось ниоткуда. Анна Александровна, испугавшись самое себя, наградила его пощечиной:

– Вы дерзкий, недобрый человек!

И, рыдая, обвисла на шее у матери.

После содеянного жизнь лишалась смысла, она уже не думала о ней и одно твердила, глотая слезы, твердила мстительно, молча: «Ни мне, ни тебе! Ни мне, ни тебе!..»

Майор презрительным взглядом измерил его с головы до ног, больно ударил оскорбительными словами:

– Пусты свинью за стол – она и ноги на стол.

Они стояли напротив него, враждебные. Он поклонился всем.

«Бог с тобою, Анна Александровна! Ты была моей последней любовью, и как это все кончилось глупо и гадко! А я тебя любил со всем безумием последней страсти: в твоём лице я любил ещё людей...»

XII

Его забайкальские годы кончались.

Разгильдеевы уехали из Акши в Кяхту, к самой границе. Жизнь изменилась во многом – стала невыносимой.

До нового воинского начальника дошли слухи: ссыльный поселенец Кюхельбекер ведет недозволенную переписку с Россией, в присутственных местах высказывает недовольство властями, произносит сумнительные речи.

– Ужо, ужо, – веселился начальник, – есть кого на истинный путь наставить. Этим, из лицеев да университетов, невмочь наши слова слушать, но мы их заставим, хе-хе-хе, заставим внимать нам.

Новенький, он считал, что единолично правит краем, вершит судьбы людские – Наталия Алексеевна ему еще не грозила пальчиком.

Он начал разговор в обычае провинциальных самодержцев:

– Это вы и есть Кюхельбекер?! – Ражий, упивающийся здоровьем и властью, сидя за могучим столом, разглядывал он вызванного по предупредительному делу нескладного человека. Не будь указаний военного генерал-губернатора о вежливом отношении к подобным типам, он бы тут поминдальничал, повыкал! – давний знакомый, давний. – По всем караульным заставам в тот год развешивались объявления с вашими приметами. Что сух и продолговат – и теперь вижу, что брылами кривишь и зенки навывкате, простите на грубом слове, вижу, а где волос коричневый, где тридцать лет?! Свобода, она, брат, дорого стоит.

Начальник проникся уважением к себе: пост делает человека значительным, способным проникать во все уголки человеческого существа, слова – глубокомысленными. Никогда прежде он так хорошо не говаривал.

Ворот рубахи душил, не хватало воздуха. Вильгельм Карлович рванул пуговицы; стало легче дышать, но в негодовании не образовывалась речь, будто не нужна была для общения с этим, что за столом.

Воинский начальник наклонил голову, запереставлял на столе чернильницы – забавлялся состоянием поднадзорного.

– По всем инстанциям летели депеши: «Арестовать и под сильным конвоем отправить государственного преступника в Пе-

тербург». Теперь-то не то что глазом, умом, поди, до него не дотянуться?! А уважением к власти проницаться не можете, все в обход ее жить норовите. Отныне ни одной бумаги мимо моих рук не должно иттить, ни одного слова, помимо разрешенных, не должно быть сказано...

Ни одной живой души рядом.

Вся Россия под замком – большая холодная камера.

В ночь на 7 марта 1843 года господь дал ему дочь.

После обедни омыли и нарекли Юстиной.

Юстина Вильгельмовна вырастет в доме Юстины Карловны, в России, и, повзрослев, явит миру отца рассказом о его жизни в русском литературном журнале.

Акшу по-прежнему навещают свитские офицеры, посланцы Синода, купцы, искатели приключений, искатели счастья, удачи, но она для него пуста: ни Натальи Алексевны, ни Анны Александровны. Он пишет прошение о разрешении переезда в Кяхту – к ним.

«Нет!»

– Уедем куда-нибудь! Что нам тут делать: ни у тебя никого, ни у меня, – ластилась Дронюшка. В окне догорал который закат, которое солнце всходило: – Просись ближе к родине: у меня не здесь, во всей Сибири никого не стало, у тебя в России всяких-яких полно. Умрешь, – рассудительствовала она, сострадав, – поднять детей на ноги мне хоть какая надежда будет.

Ее слова, ее нежность вызывали ответ стихами, явленными в мир существованием Аннушки:

Шуми же, о Аргунь, мое благословенье!

Ты лучше для меня, чем пасмурный Онон:

И там мне было разлученье,

Но перед тем меня прельщал безумный сон,

И чуть не умертвило пробужденье!

«Кому-то – поискать такого мужа, а ей не надо: так хорошо складываются слова у него в стихах, так красиво, да хлеба ни крошечки не дают».

Пролетел год. Чем старше становишься, тем они летучей – оглянуться не успеваешь. Тине – семьдесят две недели, Мишеньке – пятьдесят восемь месяцев, ему через двенадцать дней минет сорок семь лет.

Дронюшке – двадцать семь. Но Вильгельм Карлович о ней забывает.

Стихи не пишутся, не идут. Не прошла ли для него пора их?!

В июне, девятого, перед его днем ангела, сгорела старая церковь. Она была много далее от занявшегося огнем сарая, чем новая, и все же сгорела. Новую – отстояли. Он передавал по цепочке ведра с водою, седые космы металась из стороны в сторону, металась мысли. Сгорела старая церковь... Огнем уничтожено то, во что до них верила Россия. Они ее новая церковь. Пестель, Каховский, Рылеев. Он сам...

Но Акша!

О его судьбе пекутся родственники. Петербург внимает лишь голосу Владимира Андреевича Глинки, генерал-лейтенанта, главного начальника заводов Урала, деверя Юстины Карловны. Он был настойчив, будто слышал совет Дросиды Ивановны.

«28 августа. Вчера пришла бумага, чтоб меня отправить отселе в Тобольскую губернию, в Кургановский уезд. Если Бог даст, отправлюсь в субботу 2 сентября».

«Курлы, ку-у-рлы-ы, – с протяжной печалью, тревожащей душу, летит в поднебесье журавлиный клин. – Кур-лы-ы, ку-у-рлы-ы». – Перелетные птицы.

Начало бабьего лета. Сентябрь.

Дронюшка готовит в дорогу семейный скарб, убивается над немудреным:

– Прогнали Варвару с чужого амбара. Только-только к зиме уложились, вороши все опять. Жить-то на что будем?! Половину добра в погребах оставляем.

Она жила не своей жизнью, в чужом мире. И одного хотела – покоя.

Работник, оставленный Разгильдеевыми в услуженье, клейменный варнак, помогая Вильгельму Карловичу вынести из дома и водрузить на телегу сундук с рукописями, увидел безответность ее причитаний, ослабилась:

– Сердилась баба на торг, а торг про то и не ведал.

«Торг» ведал, да в душе его живого места не было для ответа.

Начиналась дорога обратно, к Европе; на ее глазах всходила его пиитическая слава, она приветствовала его первые шаги и, наверное, еще не забыла.

«Тщета, – обрывал он себя. Вереница писательских судеб вставала перед его памятью, очередь, в которой он знал лица всех. Прошлым веком приобретенные на «ость» слова: мечтательность, ограниченность, устарелость – приходили на ум. Близкие связи с литературными столоначальниками, то бишь повытчиками («повытчик с пером, что плотничек с топором: что захотел, то вырубил!»), подработчиками приводили к давней мысли. У него все становилось давним. И эта мысль была грустной: долго помнят бывших на виду каждый день. А он удален из жизни в молодые годы, в пору незрелых мнений, незрелых свершений задуманного.

«Голый разум – голая веточка на зеленом дереве жизни».

Но им постигнуто многое в усилиях каждого дня. Не тропы, дороги пройдены.

В одиночку.

Литература – его единственная опора, поддерживающая желание существовать на земле несправедливости, глухой озлобленности на все: на порядок вещей, друг на друга, собственное безволие и покорность. А всему один корень – единоправие. Какими бы румянами ни румянилось. Литература – опора в надежде облагородить дни нашей жизни, светлыми дать их детям и внукам.

Он не жил вне казематов: обольщение детства бездонными небесами, неоглядными далями обманывало душу верой

в неомрачивость лежащего перед глазами пути, в невозможность возникновения препон на дороге. Он был в казематах с детства – и не понимал этого. В юности тот же замкнутый круг оболыщенья, замкнутое пространство – лишь кажущееся отсутствие замкнутости в условностях света, законов, свободы.

У него еще есть в запасе дни или годы жизни, он не потратит ни года, ни дня впустую, использует на главное. Он возвратится в начальные пределы пространства, некогда преодоленного им на конвойных тройках, – и не будет выпускать пера из рук. Курган – почти Европа!

Он богат опытом, проник в суть сущего. Достоянье его сундука станет достоянием человечества.

Такая нелепость: жить на окраине, нет, не России, на окраине мысли, и питать благие надежды! В Кургане он сможет быть ближе к себе, к возможности говорить в полный голос. Уж коли поэт – не держи пистолетов в футляре... А плакаться – у других слезы найдутся!

Кумиром лицейских лет был у него Гете. Что в сравнении с ним французские поэты?! – горячася, дергался он перед друзьями.

Иоганн Вольфганг представлялся ему исполином, провидцем...

Путешествие с Нарышкиным привело его в Веймар, к встрече с великим старцем.

Ступив на порог священного чертога, увидев Гете перед собою, он поразился неказистости его роста, медленности и тихости голоса, а в разговоре – полному неведению в русских литературных и политических делах. Нимб божественности лунной скобою всплыл в небеса, растворился: просто старец. Лишь глаза выдавали поэта – большие и черные.

В невероятности встречи, в невероятности расхождения представляемого с действительностью Вильгельм Карлович допускал в беседе ошибку за ошибкой и, выдав разочарование, как о неприсутствующем, отзывался о гении в третьем лице:

– У Гете талант гиганта!

В крепостях, в Забайкалье он многое переосмыслил. Пред идолом прежних лет не падал ниц, мудрость его видел холодной, простоту – притворной... Разочарование в облике привело к разочарованию в сути... Годы прошли, десятилетия, а стыдно записки к нему с напрашиванием на новую встречу: «Если я ищущу запечатлеть в моем сердце черты моего учителя, того, кому я столь многим обязан в воспитании моей души, то у меня, без сомнения, чистая, благородная цель – Сади говорит, что горсть глины приобрела благоуханье роз оттого, что была соседкой роз. Моя просьба: смею ли я перед моим отъездом обременить вас еще одним посещением?» – Вот, наверное, потешался старец над образованным молодым человеком! Чего стоит одно упоминание о Сади! Переосмыслить надо и себя. «...глина приобрела благоуханье роз оттого, что была соседкой роз...» Чего он хотел?! Не думая, накликал судьбу: Вильгельм Кюхельбекер известен из-за близости с известными людьми. Так-то!.. Есть один берег, есть другой, а между ними река. Как много воды утекло, как много унесено ею!

Но есть силы, есть время.

За плечами эпоха, вознесшая величайшую вершину – Гете, идет другая, где вершинами суждено становиться им, людям его, Вильгельма Карловича, поколения.

Он не понял, не признал Гоголя... «А торг про то и не ведал».

Имя Николая Васильевича, само собою пришедшее на ум, снимало с души невольную вину. И невысказанным словом не опорочь человека, а он – высказывался, пусть в письмах, но высказывался! А сегодняшнему дню нужен язык Гоголя! Не та ли же в нем горечь иронии, что и у братьев Бестужевых, писавших в Петербург Бенкендорфу из Селенгинска: «Ваше высокопревосходительство! Известились мы, что в наши пашни, засеянные пшеницей, разломав изгороду, ворвались двадцать голов рогатого скота и стадо овец числом более 50 и начали травить почти созревшую жатву. Но так как по инструкции, объявленной селенгинским г-ном городничим, нам не позволяется ехать более 15 верст, а пашни отстоят от нас бо-

лее 16 верст, то мы в необходимости нашли обратиться к вашему превосходительству со всепокорнейшею просьбою доложить государю императору для получения милостивого разрешения ехать на пашню, чтобы выгнать скот».

Такова усмешка сегодняшнего дня.

«Итак, матушка Россия, поздравляю тебя с человеком!» – записал он в своем дневнике, прочитав Лермонтова.

Михаил Юрьевич убит. Видимо, человека России не надо!

Дорога катилась по гривам, распадкам и грядам. Сентябрьские леса полыхали пожаром. Красным полымем занимался он в подлеске, желтым пламенем высоко охватывал березы, черным дымом сосен поднимался над ними.

На телеге возились дети – пять лет Мишеньке, полтора года Юстине. Толкали в спину острыми локотками. Толкание не раздражало, его коробил голос Дронюшки: резкий, гортанный. С постыдным удовлетворением в последние годы все чаще обнаруживал он в ее лице преобладание инородческих черт. И, не решаясь произнести вслух, за глаза называл супругу буряткой. Как будто этим можно оскорбить человека!

Не дикость звенела в ее голосе – грубость, спокойное издевательство:

– Не мешайте думать Карлуше. Он сочинит что-нибудь и накормит-напоит вас...

Его сибирские ожидания не оправдались: дав ему крылья, не дали воздуха – махал ими в безвоздушном пространстве. Только убавилось жизни, волос, веры в разумность мира. В глуши сам ко всему становишься глуше. Отторгаемое – не его! – девятилетнее ссыльное Забайкалье заматали опавшие листья.

Если бы!

Он там оскорблен был, как смерд.

...Они стояли напротив, враждебные.

– Александр! – задохнулся он от немыслимости слов, брошенных ему в лицо, глаза разбежались по комнате в поисках чего-нибудь подручного и ничего не нашли. – Я вас быстро верну на землю!

Какой небесной карой грозил – непонятно.

– Наш учитель еще и герой?! – мило улыбнулась Наталия Алексеевна.

А дочь громче разрыдалась на ее плече.

Он поклонился им. Он ничего им сделать не мог.

Майор, смеясь, приставал к Дронюшке:

– Может, придешь ко мне, толстолытая?! У меня кровати дубовые...

Плиний Старший чуть ли не во дни Христа сказал о трудах художника-грека Апеллеса: «Nulla dies sine linea – ни дня без строчки». В мечтах своею славой покорить мир он, Кюхельбекер, не забывал этих слов... Но прав Мишель: опубликованное им ничего не принесло изящной словесности. А он, отказываясь от житейских выгод и благ, всего себя без оглядки посвятил ей. И как бы там ни было – до самой минуты смерти останется поэтом: поэзия доставляла и доставляет ему столько сладостных утешений.

Не на вольке, не на своей хвойке – в крепостях им написано самое значительное, серьезное: «Ижорский», «Прокопий Ляпунов», «Иван, купецкий сын», поэмы, стихотворения...

Видением детства вставала у поворота дороги береза – желтая, осанистая. И сама береза, и чувство из детства, некогда навеянное ею. Оно было сложным, непересказываемым, но почти вещественным, осязаемым. Дерево прочно стоит на земле, широка его крона, но две ветви, обособившиеся, напоминают заломленные в безысходной печали руки, не над своею, над твоею судьбою заломленные. С детских лет – над твоею! У той – в Павловском и у этой – в Сибири. Или, может быть, та пришла сюда?!

Он лежит на телеге. Белесое небо над ним равнодушно и высоко. Дорога тряскими колдобинами до последней клеточки

сотрясает тощее тело, подняться да сесть бы, но лень шевелиться. Не лень – от дум о предстоящем не хочется отрываться. Оно – его настоящая, взрослая жизнь. Его хорошо надо продумать.

Дети спят – головенки мотаются по подушке. Дронюшка тянет заунывную песню.

На нем нет вины, что она одинока, вина на императоре. Однако не всё соглашается в нем с этим мнением, что-то восстает, противоречит, но возражающую мысль определять не хочется. Дронюшка поет, он видит, как молоды, пухлы ее губы, а у него их нет – твердо сомкнутый короткий разрез: она – в этой жизни, он – из прошлого. «Но мы еще посмотрим?» Надо жить, не считаясь с годами. Каждый день ее – день отведенной нам жизни, его надо использовать полностью. Это в нем давно – со времени подсчета дней Пушкина.

Береза из детства приводит воспоминания о друге детства – Теодоре Вадковском. Обласканные императором Павлом Вадковские и Кюхельбекеры дружили домами. Теодор, одаренный без меры, музицировал, писал стихи, увлекался математикой. Они с ним жили душа в душу, воспринимали себя единым существом... Потом друг детства – блестящий кавалергард, потом за недозволенные мысли и речи – перевод из гвардии в армию, на Украину, в Нежинский полк... Южное общество... крепости... Сибирь. У них одинаковые судьбы.

В этом январе не стало и Вадковского.

В недавние годы он мог плакать над бездыханным Васькой, ныне не способен оплакать друга. Умер и умер. Ни слез, ни грусти – только суеверная мысль: всем его друзьям, видимо, суждено умереть в январе. Только мысль. А ведь при отпевании Теодора, в церкви, склонившись пред холодным телом, умер их товарищ – генерал Юшневский.

Он еще разбирается в себе, Вильгельм Карлович, оценивает – кое-что сохранилось.

Ему восставать придется из многого – Фениксом из пепла. Но Феникс – птица...

Какие люди сейчас вокруг него?! Дронюшка? Он так и не причастил ее к своим заботам, к своим идеалам, она не понимает, не признает его. Вокруг него – пусто. Он чувствует – скоро пусто станет и в нем.

Теперешнее его состояние – и лекции его в Париже!

«...зачем Петр Первый, которого по многим основаниям называют Великим, опозорил цепями рабства наших землепашцев, одновременно выставя нас перед взорами всей Европы?!.. Сердце мое обливается кровью, и голос изменяет мне, когда я оплакиваю это несчастье моей родины, несчастье, которого никогда не заставит забыть никакая победа, никакое завоевание... Нет, не может провидение одарить великий народ столькими талантами, чтобы потом он коснел и погибал в рабстве...»

Благословенный март двадцать первого года! Весь юг Европы в огне революций: государства Италия, Греция, Испания, Португалия...

Париж – и он, Кюхельбекер, не просто подданный России, но россиянин, на заседаниях палаты депутатов, в дискуссиях собрания политиков, писателей, журналистов, не прислушивающийся, но участвующий в них и заставляющий себя слушать!

Бенжамен Констан, чьи мысли владеют каждым просвещенным умом, домогается чтения им лекций в «Атенее». И он соглашается.

Париж колобродит, бурлит, неистовствует – мировая кухня идей. На его лекциях – переполненный зал. Серебряному медалисту Лицея кричат: «Браво! Брависсимо!» К нему тянутся души и руки – русские в том числе. Он снова сдруживается с князем Сергеем Трубецким, знакомится с Василием Ивановичем Туманским – дипломатом и поэтом, ценимым самим Пушкиным!

Увы, его лекции направлением своим возмущают русское правительство, и камергер двора его императорского величества Нарышин выдворяет своего секретаря из французской столицы, отправляет назад, воссояси, отрядив в сопровождающие Туманского.

Из всех последствий, вытекающих отсюда, самым неприятным было неудовольствие милейшего Егора Антоновича Энгельгардта, обожаемого директора Лицея. Одно утешает – он между прочим будто бы сказал: «Что из него будет, Бог знает, но если с ним что-нибудь сделают, кроме того, чтобы посадить в дом сумасшедших, то будет грех. Он свихнулся и более ничего...» Егор Антонович бросал ему спасательный круг.

Столица смотрела враждебно. Ни в какую службу Вильгельма Карловича не брали, многозначительно указывали перстом на Петропавловскую крепость. Спасибо друзьям – нашли место подальше от правительственных глаз: в канцелярии наместника Грузии, любимца России Ермолова.

«..но если с ним что-нибудь сделают, кроме того, чтобы посадить в дом сумасшедших, то будет грех...»

Обгоняя его, в Тифлис летела секретная бумага: «Не сочтет ли его высокопревосходительство употребить сего гражданско-го чиновника в делах, наиболее с риском сопряженных, ибо горячность сего молодого человека всем достаточно известна».

Расставаясь с Забайкальем, он не мог не повидаться с братом. Баргузин не отстраивался – оседал, врастая в землю, дряхлел. «Как мои надежды!» Ни улиц в Баргузине не прибавилось, ни душ. Из России тройки конвойной роты привозили людей, но они быстро исчезали: кто на погосте, кто неизвестно где. Дом Вильгельма Карловича оставался недостроенным. Под крышей его он некогда мечтал обрести счастье. Но минули годы, жизни убавилось, а дом не выстроился...

Дронюшка касалась рукою стен, плакала. А в мыслях – то же: «Ничегошеньки не сложилось: ни дома, ни жизни...»

С этим строением связаны его первые самостоятельные шаги на воле вольной.

– Как Гошка Бурый?! – спрашивает он, дивясь давней своей доверчивости: на лице Гошки черным по белому было написано, что он строгаля, пройдоха. – При капитале?!

– Нет Гошки.

Мишель обыденным голосом, как об обычном, поведал, что под прошлый Новый год Гошка закрылся в бане с Любкой Художитковой да с Варькой Ожгибесовой, до утра вакханалил, а потом поджег баню вместе с несчастными женщинами. В чем мать родила бегал по Баргузину, кричал: «Пожар! Пожар!» Мужики взяли его в дреколье.

Потом его зарыли в поганой яме.

– По пути ему башку снесли!

Анна Степановна заключила его рассказ. Цветущая, полнощекая, она жаловалась на сердце.

«И таких не щадит Время».

Мишель усох и телом, и духом. Жаловался:

– Церковь не отступает. Аннушку пришлось отдать Трубецким на воспитание. Под чужой фамилией.

– Васильева?!

– Откуда тебе известно?

– Моих высочайше велено тоже писать сей фамилией.

– А мне даже нравится. Как в воду смотрели. Понимаю, не в воду, но все же... Но все же самое светлое.

– Темира?!

– Она, разумеется.

Закрыв глаза, почтив несбывшееся. Исподлобья глянул на свой зажиточный двор, сухие искры посыпались.

– Мы не Шереметевы, нам в завещании оставлять будет нечего. Только детям, чтобы были честны и добры.

За столом наставлял старшего брата:

– Спустись на землю, люди на ней живут. Не терзай Дросиду. Ей-то совсем нигде нет места. Ходила в родной дом – прибежала оттуда, как из чумного... Не то счастье, о чем во сне бредишь, а то, на чем сидишь и едешь.

Народу легко разговаривать: язык точён веками.

Мишель совсем обнародился.

ХІІІ

Обратная дорога ведет к друзьям давним, желанным.

– Ой, боюсь я, Карлуша, твоих князей да княгинь. Куда дурью башку совала. – Дронюшка укутывает ему вязаным шарфом горло, поднимает воротник тулупа. Позагостились в дороге, лютая зима навалилась – и снежная-то, и морозная-то. Поворачивается к детям, кутает их: – Ни аза не знала в глаза, а туда же – за грамотея выгурахталась. Кто я им, дворянам да умникам?! Баба толстогузая...

Лошади размеренно, в такт бегу, потряхивали хвостами, ветер относил их к передку розвальней, длинный волос лез в глаза, она отводила его рукою, рылась в себе и не видела, как белы вокруг снега, черны леса, от кромки дороги по склонам гор уходящие высоко вверх, откуда трусящая их упряжка казалась ползущей по дну ущелья – мизерная вместе с розвальнями, лошадьми, вместе с людьми и их судьбами. Об ущельях она не знала – ее пугала пропасть: как через нее переступить при встрече с друзьями Карлуши?!

– Да я не знаю, как сесть, как встать, слов-то ваших не знаю.

Укутанный, в тепле, деревянным языческим идиолом торчал он сухим носом из-под бараньего меха тулупа и шапки, выкатливые глаза светили спокойным светом с остановленных орбит.

– Князь Сергей мой старый приятель. В каторге и ссылке насмотрелся всего – ты в диковину ему не будешь. Он человек как человек. Да и Катерина Ивановна...

«В диковинку... Набитая дура, об чем думала?! Карлуша возвращается к своим, пощады не знает. Не видит, что ни говорит – кнутом сечет. Изничтожает»

Она смахивает с лица волос конских хвостов, мечет черный огонь из-под малахая:

– Про нее и не говори: баба бабу-то сразу уличит, да при мне еще тебя пожалеет. От стыда и страху сердце замирает, дрожание разливается...

Проехали улицами большого села, во дворе оказались, а потом – и в доме.

Незнакомых манер мужчина встал перед нею, наклонил голову:

– Трубецкой.

Человек нездешней породы: князя по сказкам да песням знаемы, а тут живой. Голова красоты невиданной – белое с черным. И одежда на нем с-за кордону, вся серая с коричневой искрой.

Или в доме холодно, или ее знобит. Как у Карлуши, закрылилось лицо, слово не получалось, подкосились колени. Обмякло тело. Ладно, Карлуша придержал, лызнулась бы на пол.

– Катерина Ивановна.

Писаной красы женщина подала руку в кружевах да кольцах, так и ширяющих по глазам брильянтами.

Ей стало жарко – взмокла: как в свою потную ручищу возьмет она эти огни?! Завытирала о платье, мягое-перемятое. Ноготочки у княгини тоненькие, чистенькие. Вытерла руки и спрятала за спину.

Карлуша разговаривает с ними на непонятном языке. Катерина Ивановна розовеет, строгий князь улыбается. Ей совсем захудело – ее отвели на кухню.

– Русские в Париже зябнут по беспечью!

Трубецкой улыбается одними глазами, лицо холодно. Седые волосы и борода, усы черные. На сюртуке серого цвета – в редком расположении погасшие искорки коричневой нити.

Аристократ-англичанин на задворках России.

В селе Оёк – английский быт дома. Кофе, тартины, телятина.

Долго не видевшиеся близкие люди разговор начинают с воспоминаний: они соединены прошлым, настоящим если не разъединены, то отдалены друг от друга. Деятнадцать лет назад, 13 декабря вечером, Трубецкой и Кюхельбекер дали одну клятву – утром следующего дня быть на площади.

Сергей Петрович несет тяжкий крест: Сенатская – это история. На него в веках будут показывать пальцем, если не разберутся с истиной.

И прощенный друзьями, он не раскрывал правды и насто-рожен в ожидании возможного вопроса Кюхельбекера: «Почему вы обезглавили площадь?!» Вильгельм Карлович вправе спросить: статский, он был самым решительным в тот день. Капитан гибнущего судна покидает его последним или гибнет с ним. Князь покинул его первым, еще до того, как судно стало тонуть. Но если бы оно выплыло, долго могло бы потом тонуть в другом море – море крови.

Вильгельм Карлович понимает князя: виновный перед собою может прощать или не прощать себя, но каково виновному перед собою, людьми, историей?! Сергей Петрович потому и «англичанин» – холоден, малословен, строг.

Гость удачно выводит разговор на иностранную почву. Правда, цена воспоминаниям оказалась разной. «Русские в Париже зябнут по беспечью!» – сказал князь. А он не успел озябнуть, поз-накомиться с городом не успел – быстро поворот от ворот дали. Сергей Петрович зябнуть мог – довольно пожил в Париже.

«Предложив план действий, ты должен был осуществить его!» – упрекают князя. Ему в ответ нечего сказать: предвидение – не оправдание.

– Тот отпуск одарил меня знакомством с Катериной Ивановой, восстановленной дружбой с вами, знаниями по философии, психологии, естественным наукам. Мы готовились к большому будущему...

«Мы служили ему и по сей день служим, – думает, склонив голову, Кюхельбекер. – Своим непокоренным, не поставленным на колени существованием служим». Он понимал истинную цену их выступления. В нем всякий раз поднимался протест, когда в словах союзников содержался хотя бы намек на умаление главного события в их жизни.

– ...Знакомые удивлялись: зачем военному химия, физика, а я и на эти лекции ходил... Но чем он для вас обер-

нулся, Париж? Вы произвели фурор в иностранной столице, не меньший – в собственной! Однако детали прошли мимо меня.

– Азартный народ мы были, Сергей Петрович!

Хитрит: теперь ему не хочется воспоминаний, о Париже – в особенности. На последней лекции с ним вышел конфуз. Подбадриваемый выкриками из зала, в приступе красноречия вместо стакана со своею всегдашней сладкой водою схватил он стоящую перед собою лампу, облил себя маслом, обжег руки и в суетливой растерянности рухнул с кафедры в зал во всю свою длинушку.

У Трубецких он в прежнем, доарестном состоянии – светский человек: деликатен, выдержан. Без напряжения поддерживает беседу:

– Петербург встретил меня отказами и молчаньем. Хоть помирай с голоду. Так оно, наверное, и случилось бы, не будь рядом друзей...

Граф Нессельроде просил его императорское величество удовлетворить ходатайство достойных людей о назначении Кюхельбекера чиновником особых поручений при наместнике в Грузии. Император, осведомленный агентами, изрек: – Я полагаю, что он уже в Греции, бунтует!

Сергей Петрович улыбнулся, собрав морщины вокруг холодных глаз:

– Всевидающее и всеслышащее правительство! Однако, я полагаю, у Ермолова вы пришли к ко двору. Мы неспроста делали на него ставку: либерал, низкие оценки крупных деятелей, скудоумные нововведения правительства приводили его в ярость. К примеру, военные поселения.

В те годы все протестующее было готово к объединению.

...Послание тайной канцелярии Ермолову об использовании статского человека в опасных делах опережало не только Вильгельма Карловича, но и Ермолова – оба отбыли в Грузию из столицы в одной коляске.

– Ко двору. На Кавказе тогда собралось столько разжалованных по всем статьям, что Алексей Петрович даже запросил у правительства какое-либо положение об их чинопроизводстве. Я был знаком с карабахским татаринком, служившим в корпусе мамелюков у Наполеона, прошедшим с ним Египет, Испанию, награжденным крестом Почетного легиона и взятым в плен под Москвой. – Общение с людьми, безразличными к его прошлому, приглушило в Вильгельме Карловиче далекие голоса, размыло картины и образы, он хоронил их в себе. Но из всех дней своей жизни он жил только в тех – до ареста, в послеарестных не жил, как ни старался. Сергей Петрович убрал, отодвинул в сторону девятнадцать не заполненных жизнью лет – прошлое стало перед глазами вживе и яви. – События в мире обсуждались повсюду. Убийство студентом Зандом шпиона нашего правительства Коцебу было известно в подробностях: сын его Мориц служил в Нижегородском полку.

Среди своих речь у Вильгельма Карловича образуется легко, душа освобождается из-под гнета печальных его обстоятельств.

Трубецкой, офицер Генерального штаба, не менее гостя осведомлен о Кавказском корпусе:

– У нас французы, испанцы, итальянцы, у персов – англичане, турки, подруга госпожи де Сталь, наперсницы Бонапарта, служит гувернанткой у Аббас-Мирзы.

Это было их время. В спорах о политике, философии, государственных деятелях страсти кипели в учреждениях, на балах в офицерских палатках, на званных обедах и ужинах. На Кавказе Грибоедов, восходящая звезда дипломатии, и Якубович, звезда Кавказского корпуса, стреляются, желая поставить точку в нашумевшей петербургской истории, а скорей потому, что нашла коса на камень... А Ван Гален? Участник испанской революции, он бежит из тюрьмы святейшей инквизиции в Англию, оттуда – в Россию, ища средств к существованию, поступает майором в Нижегородский полк. Но в Испании опять революция. Император повелевает арестовать испанца и отправить в Петербург. Алексей Петрович собственноручно выписывает

Ван Галену бумагу с разрешением проезда через границу, выгребает из ящика письменного стола три тысячи триста франков, обнимает и говорит: «Будь здоров, дон Хуан!». Такое действие на воображение.

– Какой, однако, волей нужно было обладать, чтобы управлять кипением такого котла, – продолжает разговор Трубецкой.

– Он высился над Кавказским корпусом монументом, которому поклонялись все, – наполняется давним восторгом Кюхельбекер. – На второй день после приезда в Тифлис я встретился с Грибоедовым. Он говорил об Ермолове: «Нынче все умны. Но он совершенно по-русски на все годеи: как не на одни великие дела, так и не на одни мелочи». – Кюхельбекер скосил глаза на Сергея Петровича: – Наверное, все Александры Сергеевичи остры на язык?!

У того жили в памяти другие слова. Названный им как состоящий в обществе, Грибоедов ответил следователям: «Мои взгляды и правила не равнозначны взглядам и правилам князя Трубецкого!»

О нынешнем их положении разговор не ведется – и потому, что все знают друг о друге, и потому, что положение всех, собственно, одинаково: состоящие под наблюдением полиции ссыльные поселенцы. Вильгельм Карлович позже начнет определять разницу.

Опасения князя тлеют в душе, он еще насторожен – аз не без глаз, про себя вижу, – но Кюхельбекер добр в воспоминаниях, восторжен – река обрела русло, пусть не меняет своего направления.

Сергей Петрович подбадривает товарища:

– Поэты боготворили Ермолова...

Крепостной, баргузинский, акшинский Вильгельм Карлович смирил, утишил поток, собрался в безотчетном желании соответствовать англичанину грузинских кроев.

– Как его было не боготворить?! «Поэты суть гордость нации», – утверждал Алексей Петрович. – Куда как правильно.

Российские самодержцы когда-нибудь, может быть, поймут это. – Надежда и вера засветились в мечтательных глазах, будто побежали уже по корешкам изданных книг. – На полки библиотек России взойдут тома всех ее писателей, запрещенных и незапрещенных, встанут рядом: они суть история, движимая противоречиями...

Вильгельм Карлович провел рукою по волосам, потянув локти, расправил сбившиеся рукава парадного платья, извинительно улыбнулся:

– Свое сердце и я положил к ногам наместника Грузии. «Он гордо презрел клевету, он возвратил меня отчизне: ему я все мгновенья жизни в восторге сладком посвящу...» Оно лежит там и по сию пору, сердце.

Пригубив чашечку кофе, полупоставив ее на стол, Сергей Петрович вспоминает пушкинское, посвященное теперешнему гостю села Оёк; читает, будто отвечая сегодняшним мыслям:

*Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Сокроем жизнь под сень уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый друг,
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви...*

В сердце Вильгельма Карловича творился праздник, чувства молоточками стучали в тщедушную грудь – звонко и часто; опасался: услышат. Одно дело читать, другое – слышать, когда читают тебе посвященное... И вдруг остановило: «Я жду тебя, мой запоздалый друг...» Будто Пушкин знал, что он переживет его. Увещевал: приди, душевных наших мук не стоит мир... Нет, нет, он не запаздывает, он не заполнил жизни с пушкинской полнотой – ему еще добирать надо.

Ему еще раз надо вернуться на Русскую площадь!

XIV

...Но и кухарки были не ее породы: чисты, в чепцах, белых передниках: княгини княгинями – светлые, ангельского лика. Оно и правильно: девичья слава, что зеркало –дохнуть нельзя. Все «барыня» к ней да «барыня», а у нее кусок во рту застревает, ложка из рук валится, вилка. Сама не ела – детей заставляла. Чужая, совсем чужеродная.

А тут Катерина Ивановна. Повела бровью – кухарок как не бывало.

Уже не праздничное платье – простонародное, с оборками, с поясочком под грудью. Коротка и толста. Обвислые щеки, в тугих складках шея. И нос – картошкой. «Дроня ты, Дроня, пугливы глаза твои, не то видят спервоначалу. Бабье горе – оно бабье и есть. Мы все в нем будто калечные».

Княгиня садится рядом на лавку, касается рукою ее колена, смотрит в глаза. Во взгляде будто и нет ничего оборотистого, да столько ума в нем, что сама Дронюшка и одежда, ее ремки, трясутся. Одно надежит – глаза: добрые, синие, что Божье небо.

– Как плох Вильгельм Карлович, – называет она трудное имя мужа, нелюбимое, не ее. – Давно ли таково здоровье нашего Кюхли?!

Добра княгиня, да кухарки по одной досточке ходят, конюха солдатами тянутся – хозяйство не менее разгильдеевского, а повсюду будто новой метлою метено.

– Анишь жаль его, – отвечает, боясь оплошки. – Кадысь ехали из Акши, Сибирское море переплывали. Налетел ветер, лодку вверх-вниз, думали: конец нам, но к какой-то земле прибило. Всю ночь на ней с детьми мерзли. Карлуша перезяб – с той поры кхы да кхы. И глаза повредились. Надысь затуманилось у него все, схватил меня за руку: «Слепну я, Дронюшка!» Так жалко его, княгинюшка, просто взятие тела идет, глубоко на душе садится, – ни с того ни с сего разревелась: – А детей кормить-одевать надо. – Помутилась разумом: – Не та счастли-

вая, что у батьки, а та, что у мужа... Самого его кормить-одевать... для вас, не знаю с чего, он Кюхля, для меня – Кахля...

Баргузинская Аннушка, Анна Михайловна, в прошлогодичных днях не слезавшая с ее колен, растопыривает глаза, прячется за Катерину Ивановну – не узнает. Почти княжна – ей тетка не тетка.

«Какая мрачная участь! Муж недоступен ее пониманию и, наверное, понять ее не старается. А что случись с ним – детей у нее отнимут, увезут в Россию. Останется одна, – думает Катерина Ивановна. – И ради чего влачила жалкое существование?! Но сердце в доброте хранит. Милый Кюхля – это воспоминания молодости, мы смотрим глазами той поры, а его, прежнего, нет, он действительно Кахля. Дросида Ивановна оттого нашла точное слово, что за него страдает».

Жаль ее княгине, но и его жаль: кто ему эта женщина?

Дронюшка говорит:

– Беспокоюсь за мужа. Как ему сказать следно, чтоб на уме не осело, будто жизнь не для него?!

Сходили на кладбище.

Могила Вадковского занесена снегом. Только крест в виде распятия. Теодор любил собирать их при жизни – распятия.

Снежные венки лежат у крестов над могилами троих детей Трубецких – сохранить их жизни в сибирской далекости оказалось невозможным даже искусным лекарям. Любовь Катерины Ивановны и Сергея Петровича сосредоточена на оставшихся в живых: Сашеньке, Елизавете, Зинаиде и шестилетнем Ванечке.

Главное в воспитании – добродетель. Родители подают пример: дом Трубецких полон слепых, хромых и горбатых...

И все-таки он спросил:

– Князь, почему вы не вышли на площадь?!

Сергей Петрович объяснялся перед другими, он от него не слышал.

Быт Баргузина, приграничной Акши, давние ли слова брата выводили Вильгельма Карловича на прямую речь. Он в трусость князя не верил: Двенадцатый год не имел людей с этим качеством. Трубецкой – боевой офицер, известный по многим баталиям.

Он хотел объяснений.

Сергей Петрович сидя выпрямился, костлявое лицо побелело, исполнилось державной значительности: можно и не отвечать. Но он отвечает, не Кюхельбекеру – себе:

– Во-первых: нарушенный, неосуществленный план выступления войск... Во-вторых: мы готовились встать противу наследника, не государя, но Сенат нас опередил – принял присягу от Николая Павловича... В-третьих...

Вильгельм Карлович замыкается: «Светские условности!»; определяет: «Ищет причины вне себя, они же все-таки в нем».

Неожиданно вошла Катерина Ивановна. Он не потерялся – нашелся: будто они не вели неприятного разговора с князем, будто читали и слушали стихи. Кашель, терзавший его в день приезда, успокоился, не мешал. На ум приходило необходимое для настроения минуты, часа:

Сколь гибелен безвременный мятёж!

И если вы, не проливая крови,

Воистину желаете отчизне

Свободу и законы возвратить, –

Умейте, юноши, внимать мужам,

Избравшим вас для подвига святого!

Они рекут в благую пору вам:

«Ударил час восстанья рокового!».

Князь или расхаживал по гостиной, слушая его метрику, или спиной к нему останавливался у окна, опершись о палку, сумрачными глазами смотрел на заснеженный мир. Душа поэта звенела. Катерина Ивановна сидела на низкой софе, нет-нет и промокала платочком глаза: прекрасное сердце истосковалось по поэзии, которой так мало вокруг.

Вильгельм Карлович разделил участь товарищей, но после Сенатской дороги их разошлись: им – Сибирь, каторга, ему – крепость. Они жили артелью, он – одиночкой, отшельником, было разуверившимся в смысле своего существования. Их прошлое – не его прошлое. Его посвящают в их общую сибирскую жизнь.

Лицо княгини невозможно, движения неторопливы; она рассказывает, а руки сами собой разливают кофе, подвигают тартины, сахарницу. Вильгельм Карлович видит ее идеалом женщины и жены, светлой посланницей из будущего, куда спешили они. Из будущего, в котором жена не вослед за мужем идет, но рядом – соратницей.... Дронюшка! В чем только он не несчастен! У нее грубые руки, грубый голос, ум ее груб, нрав – она из прошлого, не из будущего... Но в чем она перед ним виновата – жена и мать его детей?!

После объявления приговора Катерина Ивановна первую бросилась вслед за мужем – через одиннадцать дней покинула столицу, встретила с ним через девять месяцев. На ее пути стояли канцелярии, департаменты, двор.

Все далеко позади, и голос ее ровен:

– В Иркутске, бесполезно истратив все доводы и внушения, дали мне подписать бумагу, состоящую из множества пунктов...

Она подписала ее, не дрогнув, – давала согласие жить где бы то ни было, но там, где будет содержаться государственный преступник Сергей Трубецкой, соглашалась свидания с ним иметь только с разрешения господина коменданта, присягала без ведома одного не доставлять мужу никаких бумаг, карандашей и ничего подобного не принимать от него и самой не отправлять куда бы то ни было и кому бы то ни было ни писем, ни бумаг...

«Парижские лекции, – думает Кюхельбекер, – могли бы у меня быть поострее, затронь я главнейшую сторону самовластия – стремление унижить, оскорбить в человеке его естество. Если мы – новая церковь России, надо, чтобы колокола ее били в набат». Он пока лишь признавал себя новой церковью, лестницы на колокольню не знал.

– Эти условия за мной подписали Волконская, Муравьева – все, следовавшие за нами... Горше всех было Муравьевой. Вы представляете, дорогой мой, состояние Александрины? Семь человек из родни арестовано, в России оставлено трое малолетних детей... – Княгиня останавливает на нем голубые глаза, голубые, как льдинки. – Она раньше всех и сошла в могилу.

Трубецкой, увидев глаза супруги, берет рассказ на себя, старается уклонить его в сторону: после такого взгляда начинаются слезы.

– «Не доставлять никаких бумаг...». Вы представляете состояние Муравьевой? Когда она читала и подписывала пункты, при ней было послание Пушкина! – Сергей Петрович смолкает, будто переносится в кабинет иркутского губернатора, где томится душою Александра Григорьевна.

– Почему именно ей Пушкин доверил послание? Да более отважной женщины не было среди наших дам. К тому же Пушкины и Чернышевы – дальние родственники, имеют общих предков из рода князей Ржевских.

«Александр Сергеич! Ты своею жизнью заполнил век. Твое имя – надежда и свет, воздух России, – в волнении с переборами застучало сердце, навалился кашель. – Только бы до Кургана добраться! Столько еще несделанного». Вильгельм Карлович чувствует за собою обязанность быть достойным товарища, но и то чувствует, что нужен этому разговору, повороту его. «Муравьева – урожденная Чернышева!» – вспоминается мимоходом. Пытается вставить слово, пытается пошутить:

– Он интересовался родословной Ржевских не менее, чем родословной Пушкиных и Ганнибалов, но я ведь не ведал, что Александр Сергеич еще и родственник Чернышевых, а через Александру Григорьевну, выходит, – и Муравьевых. Ведь не ведал, что он из «Муравейника»!

Они рассмеялись. Метким словом окрещен распространеннейший старинный род!

Катерина Ивановна добавила:

– А значит, Луниных и Вадковских – оба двоюродные братья Александрины.

– Так мы породним Пушкина со всей Россией.

– Он без нас породнен с нею, – отозвался Вильгельм Карлович.

Поворот мужчинам, однако, не удался: княгиня оглядывалась на пережитое, на временные дали, где оставила молодость, светскость, опростилась – князь нет-нет да осуждающе глянет на ее крестьянские хлопоты, тронет губы легкой усмешкой: «в бабку Козицкую вышла!» А ей то и дорого: может, бабкино простолюдье и помогло ей выжить, рожать и хоронить детей, воспитывать уцелевших, быть необходимой Сергею Петровичу.

– Реестр нашего имущества хранился у генерала Лепарского – мы не вольны были им распоряжаться: ни дарить, ни продавать, ни уничтожать. Деньгам вели приходно-расходную книгу: при несхождении сумм судились бы как уголовницы...

«Сколько ими пережито за эти девятнадцать ссылочно-каторжных лет! Ему и девяти хватило. Крепостные годы не в счет – они куда как легче. А он-то со своею душою носится!» – осуждал себя Кюхельбекер.

– Унизительным пунктам этим, полагаю, нет прецедента в истории других государств. – Трубецкой заходил по гостинной, видно было: готовится к какому-то утверждению, выводу. Собрался с мыслями, остановился напротив: – Мы всегда отзываемся хорошо о господине Лепарском. Но для меня он как был, так и остался сатрапом, царегуодником. С нами был добр потому, что боялся наших родственников: они влияния при дворе не утратили. Он представлялся и представляется мне человеком, имеющим руки в крови по локоть.

Остановился напротив с мыслью, доказательств верности коей искать не приходилось – лежали в избытке рядом. Князь и не искал их. Поручик Сухинов, союзник, не смирился с монаршей

волей, продолжал и здесь бунтовать, готовил побег с каторги, замыслил уйти за границу. Его с пятью единомышленниками приговорили к расстрелу, прочих, замешанных в деле, – к плетям и кнуту. Экзекуция проводилась над всеми сразу: расстреливали, докалывали штыками, пороли в одно и то же время, в одном и том же месте. И надо всем стоял добрый генерал-майор Лепарский.

– Дикая власть – дикие нравы, – закашлялся Вильгельм Карлович.

– У власти, как у Лепарского, по локоть руки в крови, – сухо уточнил Трубецкой.

Они будто в третий раз знакомились.

В сердце Вильгельма Карловича таяла настороженность, оно доверительно раскрывалось. Князь не вышел на площадь? Но, может, действительно причины не в нем – вовне.

Он обнаруживал, слушая и ведя разговоры, что жизнь его, Кюхельбекера, совершалась кругами. Первый – от рождения до декабря: набиравание сил, приобретение друзей, утверждение себя в этом мире следованием зову разума и добра, изложением взглядов, может быть, не всегда верных, но всегда честных... Второй – его крепости: обнародованный запрет на него, существование, не имеющее смысла. Может, только к царевой выгоде – как назидание непокорным... Третий круг – поселение. От Баргузина до Баргузина: свободен, но с ограничением, говори, но с ограничением. Главное же – говорить негде и некому... Четвертый начался с Оёка – он значим прежним значением. Но и настоящим – он возвратился к друзьям. Возвращается? Будущим значением значим. Четвертый круг – возможность делиться мыслью с Людьми, понимающими его.

И он понимает их. Говорит:

– Какое разное назначение у людей: одни живут для того, чтобы облегчить жизнь себе подобных, другие – усугубить. Первые чаще оказываются в арестантских халатах, вторые – в знаках высшей государственной власти. Некий высший чин империи, положим, тот же Лепарский, бьется днями-но-

чами над бумагой, подобной той, что подписывала Катерина Ивановна.

– Действительно, надо было не спать не одну ночь, чтобы продумать каждую мелочь из нашей будущей жизни и по возможности в каждой мелочи осложнить ее, – Княгиня встает, зажигает лампы, задерживает шторы. Гостиная преобразается – новый уют. – У Александрины эти обязательства были переписаны на платок для дочери Софьи, родившейся здесь, в Сибири, Нонушки, по-домашнему. – Садится на софу, в свой уголок, вздыхает.

Сухое горбоносое лицо Трубецкого невозмутимо; мать, княгиня Грузинская, передала сыну мужские черты своего рода.

– Александрина оставила мир в двадцать восемь лет, – вослед за супругой говорит он. – Государь не позволил перевезти ее тело в Москву. Наши жены и без того не давали ему покоя. Такого возвращения Александрины он не мог допустить.

На просьбу свекрови царь отозвался отказом:

«1-е! Что перевезение тела невестки г-жи Муравьевой в Москву никак дозволено быть не может.

2-е! Что равномерно не может быть дозволено г-же Муравьевой взять к себе малолетнюю внучку Софью, родившуюся в Сибири, ибо несообразно было бы воспитание ее вместе с сестрами, у г-жи Муравьевой находящимися, которые принадлежат к дворянскому сословию, между тем как она рождена в податном состоянии...»

– На общие средства – и крестьян, и горнозаводских рабочих, и наши – поставили памятник над ее могилой и надгробную часовню, – грустно улыбнулась воспоминаниям Трубецкая. – Александрина пользовалась любовью всех. Никто не уехал из Петровского завода, не поклонившись ее праху.

Вильгельм Карлович припадает к ручке Катерины Ивановны – к руке крестьянки, небарской без бриллиантов.

Трубецкой, покачиваясь в кресле-качалке, говорит:

– Правительство утверждением обязательств, оскорбляющих человеческую сущность, учреждением законоуложе-

ний, противных пониманию человека, пыталось разобщить нас. – Помолчал внушительно, строго: – И просчиталось – сплотило этим. Мы выстояли. И потому, пожалуй, что жили артельно.

Звездные миры летят над землею, метет январь. Гудит ветер в печных трубах, свистит в голых ветвях деревьев, вьет снежные венки у крестов над могилами троих детей Трубецких. По лавках в банях, людской, на конюших нарах посапывают в приюченности и тепле блаженные, калечные, сырые: сердце хозяев дома исполнено милосердия, доброты.

Большие города засыпают под свист метели, столицы.

В затерянном мире, в сибирском селе Оёке при свете ламп сидят отверженные обществом люди, в единоправной самонадеянности Николая Павловича похороненные, но живущие отнюдь не бесследною жизнью.

– Мы сделались едиными здесь, жаль, что не были такими там, – Сергей Петрович указывает на запад, – где нашим объединяющим началом была необходимость перемены государственного устройства. Мы были единокровны в необходимости уничтожения рабства. Мы хотели, мы пламенно желали освобождения от него своего народа, оно определило бы дальнейшие пути родины.

Восточная Сибирь. Забайкалье... Европейское возмущенье умов служит к заселению необжитых пространств империи. Конвойными тройками, телегами, по этапу доставляются сюда бунтовщики. А за ними следуют жены, невесты...

МАРИИ КАЗИМИРОВНЫ ЮШНЕВСКОЙ ПРОШЕНИЕ НА ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ. ИЮЛЬ 1826 г.

Для облегчения участи мужа моего повсюду следовать за ним хочу, для благополучия жизни моей мне больше теперь ничего не нужно, как только иметь счастье видеть его и разделить с ним все, что жестокая судьба предназначила... Прожив с ним 14 лет счастливейшей женой в свете, я хочу исполнить священ-

нейший долг мой и разделить с ним его бедственное положение. По чувству и благодарности, какую я к нему имею, не только бы взяла охотно на себя все бедствия в мире и нищету, но охотно отдала бы жизнь мою, чтобы только облегчить участь его.

XV

Московско-Сибирский тракт. Тюремный. Кандальный. Каторжный... От Москвы на Владимир до Кяхты, где соединяется он с караванным путем, протянувшимся через Монголию и Китай.

Седые снега. Седые волосы Кюхельбекера. Седое сердце: в конце российской части великой древней дороги, в Кяхте, чем-то сейчас занята Анна Александровна?!

Шагают воинские команды на охранение восточных рубежей империи, тихоокеанского побережья. Идут военные грузы. Годами бредут арестанты.

Бредут и бредут арестанты.

Дорогою всего насмотрелись глаза, но более – их.

– Сколько народной толпы загублено...

Дронюшка не произносит имени самодержца, но оно подразумевается: наслушалась мужниных разговоров с людьми, узнала главного виновника человеческих бедствий.

Тракт живет предписаниями великого государя, та же табель о рангах: в повозку генерал-фельдмаршала впрягается двадцать лошадей; в повозку сенаторов, действительных тайных советников и полных генералов – пятнадцать; генерал-лейтенантов – двенадцать; генерал-майоров и тайных советников – десять. «Титулярных советников, – хмурится Вильгельм Карлович, – вроде Александра Пушкина и людей нижнего звания – не более трех».

Его везет тройка.

В стилом небе мерцают звезды. Млечный путь – Батыева дорога.

Неслышимым звучанием слов иной песни над всеми снегами России наполнен воздух. Они грустны иной грустью, но тоже пока не собраны:

*В той степи глухой
Замерзал ямщик...*

Однозвучный колокольчик отгремел для старшего ямщика Пермской конвойной роты Ивана Ивановича Макарова – над снежной его могилой российские дороги вынашивали слова новой песни.

Вильгельм Карлович не мог найти равновесия. В отстоявшихся за десятилетия пределах своей души он был один. «Вокруг меня пусто», – думал, признавая, что скоро пусто станет и в нем. За стихами и кофе у Трубецких, за их рассказами он не заметил, как перестал быть одним в определенном казематами мире – в нем появились люди.

...Сергей Петрович с Катериной Ивановной о себе и словом почти не обмолвились, вспоминали других – из ушедших. Великодушные и благородство.

У Трубецких его волновал поворот разговора, сейчас волнуется поворот судьбы. Собственной.

После Оёка они гостили в Урике, у Волконских.

Пристальные глаза Сергея Григорьевича всматривались в него, будто определяли: осталось ли что в Кюхельбекере от идеи, от того, чему они служили. В глухом черном сюртуке с белоснежными манжетами и воротничком, стройный, с черными усами над аккуратным серебром длинной бороды, с высокооткинутым лбом, князь спокоен, жесты уверенны, речь ясна. Когда-то он состоял в масонской ложе, исповедующей триединство: Солнце, Знание, Мудрость. Они стали его сутью.

Вильгельм Карлович робел под взглядом, становился неловким, руками, ногами задевал стулья, косноязычил – собрать голос для членораздельной речи не мог...

– Говорите, тринадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре дня было жизни у Пушкина? – Князь заскользил длинными пальцами одной руки по пальцам другой: – Не праздная работа ума. Со смыслом. Жизнь не годами надо считать – днями. Именно днями! Сколько же дней будет нашей жизни? Или нашей уже были?!

Он не понял Сергея Григорьевича. Несобранный, мнительный, подставлял, уязвимого себя, незащищенными сторонами и не знал – что уязвимыми:

– Мысленно напишите число. Единица, тройка, семерка... Единица пока не в счет... Тройка, семерка... должен быть туз. И он есть! Оставшиеся единица, шестерка, четверка – в сумме одиннадцать: он! Итак, как в «Пиковой даме»: тройка, семерка, туз! Сумма цифр в числе дней жизни Александра Сергеича равна двадцати одному. Как у счастливых карт.

Князь замкнуто подобрался: «Одинок Вильгельм Карлович, до последней степени одинок. Набожен и суеверен. Столько мистических выводов. Правилен лишь постулат: жизнь надо выиграть. Но выигрывать по-пушкински, без вмешательства небес». Находит нужным сказать:

– Поразительно. То есть Пушкин выиграл жизнь?!

Сказал, а мысль продолжилась: «Одиночество всегда суеверно. Человек, ища человека, придумал Бога».

– И знал, что выиграет. Его числа ниспосланы свыше!

Сергей Григорьевич усмехнулся: «В России все как в России!» Потому осторожен:

– У мистики много лиц. Одни верят в цифры, другие – в звезды. Но коль человек подчинен законам движенья планет – его поступки определены и не могут восприниматься как греховные или добродетельные. Отсюда – Пушкин ничего не значит сам по себе. И, следовательно, правительство, преследовавшее его, преследовало Всевышнего?! – князь не оставлял камня на камне от его положений. – Но Пушкин для нас – поэтический гений и гений человеческий.

Вильгельм Карлович, обмолвившись о ниспослании свыше, не придавая сказанному той серьезности, с какою его воспринял Волконский, растерялся:

– О Пушкине я согласен с вами. Только добавлю: но и от Бога!

Усадьба Волконских – в окружении закуржавелых берез, синее небо над ними – безгрешное, мирное. Если судьбы людские вершатся там – они должны быть без единого облачка.

В княжеском кабинете спокойное солнце снежного дня.

Сергей Григорьевич утверждает, произносит тоном, не допускающим оговорок:

– Поэт милостью Божьей.

Чисто княжеское великодушие: ограничился Пушкиным, уклонился от темы небес. Деликатен, выпестован породой. Скромнен в славе: от предполагаемого за ним Бородинского отречения пред любопытными с расстановочной решительностью: «Наш отряд, без всяких стычек с неприятелем, продолжал свое движение отступательное, и 26 августа, в знаменательный день битвы Бородинской, хотя мы были в недалеком расстоянии от этой местности, а именно: в бывшем имении графа Льва Разумовского (а ныне графа Алексея Сергеевича Уварова), гром выстрелов пушечных которых гул доходил до Москвы по течению реки, нам, в лесной местности, без водяных сообщений, вовсе не был слышен. Но вскоре весть о битве Бородинской и об отступлении главной армии к Москве стала нам известна».

Вильгельм Карлович возвращается к сути, поясняет:

– Симеон Полоцкий трактовал: не волю людей определяют звезды, но различие их характеров, свойств души...

У князя на мгновение сдвинулись брови – и разошлись, будто не было повода оставаться такими, сдвинутыми:

– Знатно крутил святой старец. В нем одно утешает: он наш, российский, голова не на Запад повернута. Именно это крайне волнует меня. С нашим поражением движение свободной русской мысли лишилось ориентира: станет занимать живые идеи за границей – наши гложут в архивах тайных канцелярий империи. Ближайшая заграница – немцы. Предвижу – изыщут, изымут, по заграничности признают стоящими, начнут проповедовать даже в сенате, может быть, даже в Третьем отделении.

Если идея будет с мыслью – разумеется, последователей ее начнут понемногу карать, понемногу, поснисходительней: все же заграница! В нашей России всё набекрень.

Вильгельм Карлович почувствовал, как исчезает физически, убывает, его не становится – князь поглотил его. Кадык судорожно заходил вверх-вниз по шее, он согласно закивал головою:

– «Ни один род под солнцем искони веков несть был так избытен и осрамочен от инородцев, яко же словенцы от немцев».

– Что-то вас на древность потянуло, а вопрос-то нынешнего дня.

Он не хотел древности, само собой получилось – существо его сопротивлялось поглощению.

Князь сдвинул серьезные брови, неспешным взглядом окинул.

«Как немца, – похолодел Кюхельбекер. – Каковой я и есть, одинокое перекаати-поле».

Но князь свою государственную мысль повернул в другую сторону, хотя тоже – нынешнего дня. Империя разваливается – это ее удел. Но кто дал право вести к гибели Россию?! Он говорил об армии, ссылаясь на свидетельство Дениса Давыдова, родственника всех знаменитых фамилий отечества и своего собственного. Ее ряды заполняются грубыми невеждами, налагающими оковы на даровитые личности, ненавидящими всякую науку, потому способных людей в ней не остается. А направление это развилось под неусыпным бдением Николая Павловича, еще в пору своего бригадирства провозгласившего: – Мне не нужны думающие, мне нужны делающие, девиз, извините, столь же неудачен, как неудачен головою провозгласитель сего. Не думающий, значит, не делающий.

– Наш Денис-Храбрец не только лихо владеет саблей, но и пером разит наповал. Оно у него блещет, как сабля.

Не будь князь другом, Вильгельм Карлович посчитал бы, что это камушки в его огород. В последнее время, листая рукописи, он стал находить медлительною свою строку, медлитель-

ною, скрипучею, как арба. Находить находил, да признавать за истину не хотел: от долгого одинокого перелистывания их могло так показаться.

– Денис Васильевич – боевой генерал, знает, о чем говорит. И если положение таково – наше отечество беззащитно.

Вильгельм Карлович с удивлением обнаруживал – в баргузинской глуши, в акшинском самообмане потаенно жили в нем, решались государственные дела. Неспроста Лицей признавал его первым политиком!

Сергей Григорьевич, с двадцати четырех лет генерал, портет которого Император велеть изволил убрать из Военной галереи в Зимнем, согласно склонил голову.

– Признаю с горечью, что разделяю ваши опасения. Мы с вами здесь, – пальцами, всею кистью шевельнул на него и себя, – а он там: ему виднее. Но между тем государственный доход России уходит на содержание армии, жандармерии, тюрем. Государственный доход уходит на содержание власти... – и смолк. Путеводные звезды дней его жизни сдвинули маску, обнажили лицо: «Пусть существование каждого человека будет отмечено посаженным деревом, построенным домом, построенным городом, государством.» – Как часто Россию изводили, разворовывали, грабили ее наследственные володители, – посмотрел прищуренными глазами. – Впрочем, о серьезном надо говорить, как Грибоедов о своем арестовании в связи с нами:

*По духу, времени и вкусу
Он ненавидел слово «раб»;
За что посажен в Главный штаб
И там притянут к Иисусу.*

Это и есть возвращение! Раскрепощение...

Александр Сергеевич подтрунивает над собою: своему Богу служит еще хуже, нежели своему государю. Верующий подтрунивает. Дорогой друг! Едва освободившись из царских утайных мест, собирает при помощи друзей сумму в три тыся-

чи рублей, посылает ему, Кюхельбекеру, чтобы он не нуждался в необходимом в своих казематах. Дорогой друг, завладевший его душою еще на Кавказе. «Сколько перемен с тобою за два-три года! Грибоедов соблазнил тебя, на его душе грех!» – писал Дельвиг. «Вкус твой несколько очеченился! Злой дух в виде Грибоедова удаляет тебя в одно время от наслаждений истинной поэзией и от первоначальных друзей твоих...» – вторил Туманский.

Далекое счастливое время...

Княгиня Мария Николаевна сидела за столиком, подперев голову, совершенно такая же, как на портрете на стене перед нею. Только не было за окном высокого тына Читинского острога, полосатой будки, часового в кивере и с ружьем. Та же печаль стояла в глазах. И тогда, в Чите, в Петровском заводе, разговоры мужчин, как и сейчас, волновали ее. Они казались ей пылкими юношами, нетерпеливыми в осуществлении своих мечтаний, торопящими ход событий. «Поспешай медленно» – древняя истина их не удовлетворяла... А надо было готовить армию и народ.

Кажущаяся молоденькою рядом с ними, седовласыми, чувствительная, она болезненно морщилась на кашель Вильгельма Карловича, советовала:

– Чтобы жить жизнью, достойною человека, надо беречь физические и духовные силы.

Она – средоточие стольких начал, путей, открытых для человека.

*Я помню море пред грозою.
Как я завидовал волнам,
Бегущим шумной чередою
С любовью лечь к ее ногам.
Как я хотел тогда с волнами
Коснуться милых ног устами...*

Это о ней Пушкин. Александр Сергеевич во время своей южной ссылки совершил с семьей генерала Раевского путешес-

твие на Кавказ. В Крыму пятнадцатилетняя Машенька бегала за убегающими волнами и убегала от набегающих.

На память о встрече подарила поэту дешевенькое колечко с голубым камешком, которое он хранил, пока жил.

Деятнадцать лет, в год Восстания, отец выдает ее замуж за князя Волконского, человека почти незнакомого ей, тридцатисемилетнего, некрасивого. Но он богат и знатен.

До декабря она не успела узнать его: военная служба, учения, смотр. И трех месяцев не прожили вместе. Через год после свадьбы – его арест.

Сопровождаемая проклятиями и благословениями родни, плачем крохотного ребенка – сына, она пускается в путь вослед за Катериной Ивановной, за три недели с двумя вынужденными ночевками добирается от Москвы до Иркутска. Потом Благодатский рудник. Тюрма... В полумгле камеры она видит мужа, слышит бряцание его кандалов, становится перед ним на колени, целует цепи, потом – его самого...

Сергей Григорьевич повернул к ней голову:

– Истинно. Пестель в «Русской правде» писал: «Обладать другими людьми, как собственностью своею, продавать, закладывать, дарить и наследовать людей наподобие вещей... есть дело постыдное, противное человечеству, противное законам естественным... Рабство должно быть решительно уничтожено...» Мы соглашались с ним, не понимая, что сами – рабы. Единоправная власть нашлась доказать это теперешним нашим состоянием. Наговорились, восстали – и смолкли. Только Сухинов да Лунин продолжали действия наступательные, – он помолчал, будто оценивая сказанное и ища иные примеры, но найти не мог, хотя они могли быть. Поддержал супругу: – Сухинов – мгновенные действия, Лунин – надолго. Нравственных сил у него было на три жизни, физические старался поддерживать гимнастическими упражнениями.

Вильгельм Карлович, равнодушный к достатку, еще не знающий, что скоро станет ставить его в вину друзьям, видел, как про-

чно обосновались Волконские в Урике, широко, по-княжески, и то, что души их равновесия не находили, устойчивости: метались между смирением и несогласием. Думал: душа Лунина жила только непримиримостью до самого последнего его шага.

Княгиня заговорила, опустив руку на столик. Распрямившийся стан, произвольная горделивость головки выказали всегдашнюю готовность добиться своего, противостоять натиску невзгод. Колечки волос на висках легкомысленно запружили детскими шариками на резинке.

– Лунина взяли ночью, в марте сорок первого. Он жил почти рядом с нами. Господи, как мы переволновались за него и себя: все, им написанное, читалось, даже переписывалось нами... Арест арестованного! Неслыханно! Переполох не только у нас, в Урике, но и в Москве, в Петербурге.

Она волнуется прежним волнением, руки прижаты к груди. И не потому, что Лунин ее любил.

Ему определена была смерть – Акатуй, тюрьма, из которой не возвращались.

Мария Николаевна сторожила глухою ночью жандармский возок на тракте, держала в руках пальто с зашитыми под подклад деньгами...

Ему было запрещено читать и писать – она отослала ему книги, стальные перья и под видом лекарства – чернила в порошке...

И князь провожал – Сергей Григорьевич.

По дороге от Трубецких Вильгельм Карлович усовещал Дронюшку: они не в Забайкалье, будут встречаться и жить с людьми знатными, образованными. Что же, она так и будет прятаться по кухням, ночевать в людской, срамя его и себя?! Всю жизнь не пропрячешься.

Она отворачивалась, что-то бубнила под нос, укутывала детей.

У Волконских вместе с Карлушей вошла в гостиную. Но Бог мой! Князь – князем, княгиня – княгиней. Тут уже без обма-

на – своими глазами смотрела, не заполошными. Они за столом для нее – все по-русски, по-русски разговаривают, а Карлуша – на иностранном. Конечно, кто она для него? Обуза!

Помучилась-помучилась да ушла.

А утром Сергей Григорьевич – в поддевке, в сапогах де-гтярных: нетути князя, Мария Николавна всплескивает руками, хлопает дверью. Поди пойми их: в Оёке княгиня – баба бабой, в Урике князь – мужик мужиком... Где ее Баргузин, в котором все просто?!

Князь иногда торговал на базаре сеном, топориком иногда по бревнышку потюкивал во дворе, и ему казалось – на трудовую копейку детей балует... Мужичья одежка его нервировала княгиню.

Но каков Карлуша – его любят все!

И за что?! Ни слова сказать – поправит, ни спросить – удивится. Начнет сначала, по Библии, с Адама и Евы... Ой, ей нельзя думать – тощий да сырый, сразу в глазах мерещится – будто Христос на кресте распятый. С одинокого сердца спадают обло-чки обид – и Дронюшка знает, что тоже любит его...

Мария Николавна входила в людскую, расспрашивала об их жизни с Карлушей. Бровки ровненькие, носик тоненький, губки аленькие. Говорит, а носик так и двигается, будто тоже разговаривает:

– Так вот и жили?!

Дронюшка чувствовала себя маленькой, виноватой, ответного слова не находила.

Княгиня вздыхала и переспрашивала; утыкала носик в платочек:

– Все так и жили?!

– Так и жили, на воде да на черном хлебе, – подбиралась, не желая расспросов, грубела голосом. – Калачик что пряник, аржануха булыжником брюхо вымостит.

Княгиня роняла руки на стол, на руки роняла голову – плакала. Не их сибирского корня, особливая, хоть и вместе с мужем

всего навидалась, а услышит плач ребенка, увидит слезы – и в обморок. Дронюшка думала о княгинях: «И чего им надо было ехать сюда?!» Но это она так сначала думала, потом думала: «Какие же они, если сюда ехали!»

Мария Николаевна отходила душою, вытирала глаза, приступала к новым вопросам:

– Так ни одного солнечного лучика и не пробивалось?!

О солнечном лучике Дронюшка ведать не ведала, но подумала: наверное, так говорят о любви. Вспомнив Акшу, собрала лицом, напрягла губы, Карлушу выдала:

– Был лучик. Втрескался, как черт в грушу, да не знал, что с нею делать. – Но нехорошо самой стало от этих слов, сделалась мягче: – Как-то у него перевалом идет: с краю подбористо, потом ровно с горы бухнул, а после кой-где ровно опять проснется...

Княгиня говорила в сторону:

– Бедная семья: ни жены у мужа, ни мужа у жены.

К Дронюшке неожиданно привязался сын Волконских – Мишенька. Для нее это было как дар с небес – немая от счастья, она только гладила его по голове да угощала сладостями с княжеской кухни. Кроме своих детей, он был единственным человеком, при жизни одарившим ее приятнью.

Гостевание у Волконских было широким. Приходили доктор Вольф, Александр Муравьев. Без брата. Никита, схоронив Александру Григорьевну, сам ушел следом за нею.

Любовь капитана гвардейского Генерального штаба Никиты Михайловича Муравьева и Александры Григорьевны, будь воспета поэтами, стала бы песней. Его арестовали в орловском имении тестя на глазах детей, на глазах ничего не понимающей жены. «...мой антел, я виновен – я один из руководителей только что раскрытого общества. Я виновен перед тобой, умолявшей меня не иметь никаких тайн от тебя...», – писал он ей из крепости через девять дней после ареста. «...В течение почти трех лет, что я замужем, я не жила в этом мире – я была в раю. Счастье не может

быть вечным... Не предавайся отчаянию, это слабость, недостойная тебя...», – отвечала она ему. Призывала к мужеству, наказывала беречь себя и уповать на Бога.

Ни крепости, ни каторга, ни сибирское поселение мужа не погасили ее любви. Истинно верующую, не представляющую жизнь, не подвластную воле Всевышнего, друзья испытывали ее в Петровском заводе:

– Александрина, кто тебе ближе: муж или Бог?

– Пусть не взыщет Господь, но Никитушку я люблю более, – отвечала она.

Никитушка был любимцем и большого петербургского света. «Как, – удивился Государь летом 1813 года, – сын моего воспитателя, героический юноша, готовящийся одним махом покончить с французскими маршалами, и не офицер?!»

С позволения матушки Екатерины Федоровны Никитушка произведен в прапорщики гвардии, зачислен в свиту его императорского величества по квартирмейстерской части и направлен в Австрию – к месту квартирования императорской ставки...

После вынесения приговора летом 1826 года Екатерина Федоровна получает письмо от Гнедича: «Вам известно, люблю ли я Никиту Михайловича. Более, нежели многие, умел я ценить его редкие достоинства ума и уважать прекрасные свойства души благородной; более, нежели многие, я гордился и буду гордиться его дружбою. Моя к нему любовь и уважение возросли с его несчастьем: мне драгоценны черты его».

За месяц до вынесения приговора супруга Никиты Михайловича обратилась к императору с просьбой позволить ей разделить судьбу мужа, как ни суров бы был ожидающий его жребий – госпоже Муравьевой, урожденной графине Чернышевой, высочайше позволялось следовать за ним на Нерчинские рудники. И она сорвалась в Сибирь – навстречу своей ранней смерти.

Александра Григорьевна скончалась в месяц и год рождения сына у Императора. Вышел царский указ о милостях: сроки

каторги сокращались, но не настолько, чтобы Никитушке выйти на поселение. Александр подпадал под указ, однако от милости отказался: будет ждать брата...

Никита Михайлович умер весной сорок третьего, простудившись.

Во дворе сияли опушенные голубым инеем березы, заиндевелые постройки парили.

Воспоминания о чете Муравьевых во вчерашней беседе волновали душу.

Волконский в крестьянском облачении, не вяжущемся с его внешностью, широкой лопатой отбрасывая снег с крыльца, возносил голову:

– Мы боимся признаться, но и нам пора думать о скором скорбном пути: многие из нас живы только искусством доктора Вольфа.

В репейниках за изгородью звенели красногрудые снегири. Низко над лесом стояло солнце.

Кюхельбекер, зачарованный колдовством морозного утра, далек от настроения князя, от своих навязчивых мыслей о том же:

– Не идут вам эти слова, Сергей Григорьевич. Да и мир сегодня полон красотой жизни, чтобы думать о днях, когда мы уйдем за ее пределы, – подойдя, вытребовал лопату, два раза махнул ею, закашлялся, оперся о черенок. – Что касается Вольфа, я вижу в нем человека обширных познаний.

Князь сдвинул строгие брови:

– Мы с Пестелем это знали еще в Тульчине. В «Русской правде» глава об основах медицинского дела написана Вольфом.

Вильгельму Карловичу, закутанному в тулуп, уютно полулежать в розвальнях. Рядом с ним дети, жена, сундук с рукописями. *Omnia mea mecum porto* – все свое несус с собой.

В Иркутске, в Урике, его застало послание Трубецкого с пожеланием быть довольным своим положением, спокойным

духом, с передачей поклонов Дросиде Ивановне и деточкам. Одновременно князь просил передать письма и пакеты адресатам в разных городах: Красноярске, Омске, Ялуторовске, Кургане... Довольный поручением, он задался мыслью: почему разжалованных, лишенных дворянского достоинства, уравненных в правах с людьми низшего звания, их в народе называют господами, князьями, княгинями?! Заложенное укладом многих веков не так просто истребить. Или это доказательство существования народного противодействия произволу самодержавной власти?!

Ему уютно в тепле и уютно думается.

Сибирский тракт – тюремный, кандалный, каторжный. Не в такие уж давние времена расстояния по нему измерялись не верстами, временем. «С Верхотурья к Туринскому острогу... вниз водою до устья Тагила реки в дощаниках ходу три дни... а в легких стругах с Верхотурья до Туринского острогу ходу четыре дни... зимним и летним сухим путем лошадьми четыре дни, а наскоро три дни». Ныне тракт набирает скорость – поспешает век: к недрам Сибири подбираются рудных дел мастера, торговый люд осваивает рынок Сибири, Китая, гремит колокольчиками регулярная почта. Через каждые двадцать пять – тридцать верст – ямские станции: дом для проезжающих, ямщицкая, амбар, сеновал, конюшня, коновязь. И партии, партии арестантов. Бредут они, пешие, сквозь снежную замять зимою, под дождем и зноем летом, бредут в одном направлении – с запада на восток, из России в Сибирь: обратная дорога для большинства заказана.

Ему, не на горькое ли счастье, но выпал обратный путь, точнее, полуобратный – в Россию не пустят... Он не спешит: из Акши выехал в сентябре, сейчас март. Снега набрякают весною, накапливающуюся влагой в лунках от конских копыт, в следах от полозьев. Мягкая зима, весна поспешающая. Сносным видится завтрашний день, да подводит здоровье: он часто

заходится в кашле, отхаркивает в белый снег желтую мокроту с прожилками крови. Глаза подергиваются туманной пеленою, ему кажется, мир начинает уходить от него. Из глаз его уходить начинает. В смущенье души обращается к Богу с древнейшею христианской молитвой: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое; да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, аки на небе; хлеб наш насущный даждь нам днесь...»

На ночлег останавливались они в великих сибирских селах, в просторных пятистенках, поражающих чистотой. Не в пример российским. Ему думалось, свободный человек больше осознает себя человеком, выше духом подневольного человека. Нет рабства в Сибири – и чище жизнь, опрятней. Не те ли мысли высказывал он в парижском «Атенее», не то ли они хотели приобрести для России, выходя на Сенатскую?!

В холщовой рубаше, с распущенными волосами, Дронюшка по утрам деловито переваливалась через него, шлепала босыми ногами по добела выскобленным полам, шла умываться. Совсем недавно стройное и молодое тело ее огрузло, стало неряшливым, как она сама. Немытые пятки, скошенные вовнутрь, раздавлены неуклюжею тяжестью тела, плоски подошвы.

У него не было ровного отношения к ней. Чаще набрасывался с тщетными нравоученьями. Она поднимала на него глаза, собирала на кончике языка яд, намекая на все сразу и все сразу перечеркивая, стреляла им:

– Держалась авоська за небоську, да оба упали!

«Народу легко разговаривать, – в который раз задерживается он на мысли, – язык точён годами».

Он лежал в постели, слушал, как она умывалась, оглушительно сморкаясь; сморканье ее было долгим, тяжелым. Каждое утро в их долгих годах этим она отторгалась от него, чужая.

Умывшись, переодевалась при нем, складывая рубашку, приземистая и мясистая, облачалась в мягкое платье, отправлялась будить детей.

Он вспоминал прекрасных женщин – Катерину Иванову, Марию Николавну, – в глазах собирались слезы, но выдавить их он не мог: в нём все становилось безответным. В меланхолическом опустошении хвалил себя, что успел небезразличный совет написать в альбом сыну: «...научись из моего примера, не женись никогда на девушке, как бы ты ее ни любил, которая не в состоянии будет понимать тебя». Лежал в постели, уставя немигающий взгляд в потолок. Скорбно думал: «И в аду приживешься, так ничего».

Дронюшка, обиходив детей, собирала завтрак. Откуда и что она добывала, было почти неизвестно Вильгельму Карловичу.

Мужичьим басом кричала через двор ямщику:

– В дорогу готов ли?!

XVI

В двухстах пятидесяти верстах от губернского города Тобольска, в восьмидесяти четырех от Тюмени, на равнине, окруженной березовыми колками, редким сосновым бором лежит город Ялуторовск. В прежние времена назывался Ялуторово городище, потому что, как думали одни, жил в нем татарский князь Ялутур, другие же переводили это как «военный городок», а третьи и вовсе – «сядь, отдохни».

И.И. Пуцин 26 февраля 1845 г. Е. А. Энгельгардту:

«Скоро я надеюсь увидеть Вильгельма, он должен проехать через наш город в Курган, я его на несколько дней заарестую. Нужно будет послушать и прозы, и стихов. Не видел его с тех пор, как на гласисе крепостном нас собрали – это тоже довольно давно. Получаю изредка от него письма, но это не то, что свидание...»

Его везет на казенной тройке казенный ямщик.

Вильгельм Карлович так по привычке к ним – ни лиц, ни имен не помнил.

С мохнатыми бровями, с красным шрамом через всю щеку – от угла щербатого рта до уха – этот сидел сиднем, почмокивал на

лошадей с высокого облучка, молчал. Подбиваемый ветром распахнутый тулуп на спине пузырился, закрывал впереди дорогу.

Перед Ялуторовском что-то зашевелило его – заворочался, заоглядывался. Жернова беспокойства выкатили замедленное слово.

– Тута, – качнул головою в сторону городка, выступившего из-за его спины белыми крышами, черными стенами домиков, – ведуны загнездились, – страшными сделал глаза, перешел на шепот: – Откуль появились – неведомо, но на погибель: вкапывают столбы, ведра в наверхие и ловят господню воду, у мужиков отымают, – тайнее тайного прикрыл бровями глаза, обернувшись: – Мужики, грят, те столбы валят, жгут на кострах: от бесовской нечисти слобонятся... – Шубенку подставил ко рту – тайлся: – Царевы убивцы прозываются!

«Неужели о нас забыли, о деле нашем?!»

Вильгельм Карлович дрогнул. Осторожно взглянул на Дронюшку: она ничего не слышала, сидела, обхватив обеими руками детей – под шальями и тулупами. «Ну и ладно!» – подумалось. Только тут же и воспротивилось: «Неужели?!» Император широкой спиною загораживает свет для России, но их-то свет погасить ему не под силу... Просто ямщик не тот, не из потомственных, пришлый.

Как их могут забыть?! В дорожных встречах на станциях он слышал рассказы проезжих, о судьбах союзников, не встречал в разговоры, не рекомендовался – сидел и полнился гордостью: ни одного недоброго отзыва. А в Омске за самоваром сидел с ним предряхлый действительный тайный советник от просвещения: постоянно кивающая, будто заранее со всем соглашающаяся голова, пышные бакенбарды, лысый череп.

– Вас за версту видно: образованный человек, – чайная ложка билась о край чашки, звенела. – Сибирь удивительна: я впервые в глушь выехал из Петербурга. Увидел: глушь – это Петербург, а здесь света много. Просвещение... Супруг дочери друга моих юных дней графа Шереметева... – осекся, заметив

стороннюю мысль на лице собеседника, – вам не верится в мои юные дни? Но как бы то ни было – супруг дочери друга моих юных дней поставил просвещение здесь на современную ногу. Успехи неожиданны, впечатляющи. Его частная школа в Ялуторовске выглядит намного привлекательней императорских. – Неторопливо убрал из-за воротника салфетку. Взглянул с вызывающе интригой: – Его имя Якушкин. Не слыхивали?

«Слыхивали», – Вильгельм Карлович благодарил Бога за дарованную ему жизнь: она соединила его судьбою со столькими замечательными людьми.

Родословное древо Якушкина стволом восходит из тысяча четырехсот двенадцатого года: шляхтич Теодор-Ян Ольгович Якушевский принят на службу великим князем Василием Васильевичем и наречен Федором Якушем.

В четырехсотлетний юбилей рода – год в год! – в восемьсот двенадцатом гвардейский офицер Иван Дмитриевич Якушкин во славу России и русского оружия бросает свою жизнь в самые сцепленные схватки, подает пример неустрашимости солдатам. Его родной Семеновский полк, защищая батарею Раевского, принимает на штык атакующие валы французов, приводит в замешательство и к совершенной неудаче их предприятия... У девятнадцатилетнего Ивана Дмитриевича Георгиевский крест, золотое оружие. Перед торжественным вступлением в Париж ему за битву под Кульмом пожалованы русский военный знак и прусский военный орден. Для него слава России – император Александр Первый, кумир освобожденной Европы.

С детских лет безбожник, поклонник разума, Якушкин никого в кумирах не держал долго.

– Это имя мне незнакомо, – ответил Вильгельм Карлович странному действительному тайному советнику.

Тот хмыкнул с вызывающе усмешкой.

...Якушкин оставляет службу, уезжает в наследственное сельцо Жуковку Вяземского уезда, строит планы пере-

устройства бытия крестьян. (Он все-таки один из прототипов Чацкого!).

Обер-секретарь Государственного совета в явной жизни и член тайного общества в скрытой, Николай Тургенев, по случаю убийства за границу на лечение не привлеченный к дознанию, пишет в своем «Дневнике»:

«18 марта 1820 г. Четверг. 8 часов вечера. С некоторого времени час от часу мне становится здесь тяжелее. Якушкин, приезжавший сюда для того, чтобы получить позволение (!) сделать своих мужиков вольными, не успел в своем предприятии...»

Через столетие в архиве Министерства внутренних дел среди бумаг, предназначенных к уничтожению, отыщется этот проект, изложенный на четырех страницах. На заглавной – рука его императорского величества: «Несвоевременно».

В конце двадцать второго года шестнадцатилетняя девочка Настенька Шереметева по страстной любви становится женою друга своей матери Ивана Дмитриевича Якушкина, в двадцать четвертом в семье появляется сын. За вечерним чаем в Москве 10 января двадцать шестого Якушкина арестовывают в кругу семьи, двадцатого Настенька рождает второго сына...

Дух Ивана Дмитриевича не сломлен в казематах ни царем, ни кандалами. Власть несломленности не признает: ее существование – признак несовершенства власти. Церковь зовут на помощь, Бога.

Протопоп Петропавловского собора Стахий увещевает, задает вопросы, которые задавал император, отвечает его же словами.

– Что вас ожидает на том свете? Проклятие. Оно должно ужаснуть вас, – тени черного мрака гасят глаза протопопа. – Ад. Адея. Геенна огненная.

Узник, гремя кандалами, смиренно улыбается тонким нервным лицом, а в прищуре усмешка – дескать, почему бы не вникнуть вам в смысл ваших увещеваний, покаяний, причастий, исповедей:

– Если вы верите в божественное милосердие, то вы должны быть уверены, что мы все будем прощены: и вы, и я, и мои судьи...

Наплывал, приближался деревянный приземистый город. Вильгельм Карлович тянул шею из бараньего меха воротника, тер глаза – притупились в годах, ослабели. Сердце нетерпеливо рвалось вперед, волновалось, как перед встречей с братом, как перед Баргузином. В Ялуторовске – его лицейская юность, его начало: Большой Жанно, Пущин, он ему больше чем брат, дороже его никого не осталось в жизни.

Березы в снегу. И серое небо над ними.

Справа за редким кустарником угадывалась река. Низкие берега полого спускались к ней.

– Бачанка, – мотнул головою ямщик, – по ней порою и город так прозывают: Бачанка.

«У него все «прозывают», – мимолетно отозвалось в мозгу Кюхельбекера.

Дронюшка что-то забеспокоилась, затолкала в бок локтем. Он посмотрел, куда она указывала глазами. За медленным, плавным изгибом реки открывался расчищенный лед, в узких черных одеждах, в круглой шапке из-за поворота вылетел на коньках человек, развернулся и скрылся за поворотом.

– Леший?! Ведун?! – стояло в онемевших глазах Дронюшки.

– Царев убиец, – невозмутимо определил ямщик.

«Кто это, кто?!» – заметался в предположениях Кюхельбекер. Остановить лошадей!.. Но вдруг возница ошибся?

Город Кюхельбекеру показался плоским – то ли потому, что стоял голым: редко у какого дома росло деревце; то ли потому, что дома окнами уходили в землю. Только каменный собор да деревянная церковь живою душой тянулись вверх, к Богу.

Готовясь к встрече, он рассказывал Дронюшке о лицейском друге Иване Ивановиче Пущине. Ее не очень тронуло, что он первый друг Пушкина, что когда-то служил офицером. Но подобрала губы, зашмыгала носом, услышав, что Иван Иванович был еще и судьей. Тревожно спросила:

– А коли он судья, то за что осужден? Небось, миллионы у людей грабастал да по карманам рассовывал?!

Удивленно, непонимающе уставился на нее, не знал, что ответить. «Какова слава правосудия на Руси! Анна Александровна тоже жила в этом убеждении», – только и подумал.

Перед домом на семь окон по фасаду, с мансардой в три окна и четырьмя оштукатуренными колоннами, на возглас его «Вот и приехали!» Дронюшка загудела:

– Ну уж, Карлуша, – обеими руками зарасталкивала волосы под цветной платок, – ты уж с господами бывай, я с людьми перебуюсь. – Обожгла глазами высокие ворота, пошла на снисхождение: – А дети твои, как хочешь, так и поступай с ними. Только ни к барскому столу, ни в покои барские не пойду...

Из парадного вышел важный господин в черных одеждах, с дорогою тростью в руке. Вильгельм Карлович смалодушничал, решив, что этакий-то не захочет признать в нем давнего товарища.

Усы Ивана Ивановича лежали седеющей строгой скобочкой над строгим ртом. Строго смотрели глаза из-под прямых с проседью бровей. Он не спеша спустился по ступенькам высокого крыльца и вдруг порывисто обнял нервно подрагивающего Кюхельбекера, трижды облобызал:

– Дорогой мой! Не два десятилетия прошло, две жизни минуло! Вот какими мы встретились, лицеисты.

Вильгельм Карлович ослеп. Уставил в небо глаза, полные слез, слезы и воспоминания застили перед ним небо, куда он стремился душою. Не было слов.

Осушил лицо на груди Пущина.

– Для меня нет счастливей минуты!

Задергались щеки, кадык судорожно заходил по тощей шее.

Вошли в дом, где уже был накрыт стол.

Рассказ о Дронюшке с ее пониманием судейских Иван Иванович встретил не так, как он ожидал, – серьезно:

– Вот так-то вот! Российским судам века не хватит смыть позор со своего мундира. Четверть века назад мы бросились спасать его честь, хоть это и было честью правительства. Нами двигал девиз, привитый профессорами Лицея, собственной совестью ли утвержденный: салюс попули – супрема лекс! – благо народа – высший закон! Шли в низшие инстанции – при тогдашнем отсутствии российской законности все инстанции были важны, низшие даже более: в них застревали дела простых людей, и в основе их чаще лежало не установление справедливости, а своекорыстие. В высших инстанциях орудовали высшие крючкотворы, для разбора дела там требовались годы, чин и капитал... Мы мало что успели сделать. Истребить зло в судах нельзя без уничтожения зла существующего порядка вещей.

«Бескорыстие нашего служения народу можно показать на каждом из нас, пример Ивана Ивановича в этом смысле весьма нагляден, – думает Кюхельбекер, влюбленно смотрит на обожаемого Жанно, и радость за близкое знакомство, может быть, даже дружбу с таким человеком заставляет трепетать его сердце. – Втайне от друзей, даже от Пушкина, лицеистом вступил он в тайное общество...»

Была в нем сила, повелевающая им самим со школьной скамьи и действующая на его окружение, понуждающая признавать его над собой, повиноваться его воле. «Где же Трубечкой?!» – спросил он на Площади. И Вильгельм Карлович немедленно бросился разыскивать князя. Об этой силе с доступною простотою рассказал Иван Иванович следствию: «...я вступил в общество с надеждою, что в совокупности с другими могу

быть России полезным моими способностями и иметь влияние на перемену правительства оной». – И скромно взглянул на вершителей его судьбы.

Как долго они не виделись! Разговор ведут, а соприкосновения не получается – холодок, присматривающаяся отстраненность.

– Тогда многие стали уже понимать, что говорение о свободе становится бесплодным, захотелось не говорить, но делать, – осторожно направляет он голосовые связки. – Вот и Рылеев судействовал.

– И не без замечательности, – оживает Иван Иванович. – Его имя произносилось как символ справедливости. «Вы меня отдали под суд, спасибо за милость. Я теперь избавлюсь от всех мук и привязок, знаю, что буду оправдан: там есть Рылеев, он не даст погибнуть невинному!» Так говорили. В деле о волнении крестьян вотчины графа Разумовского, на стороне которого стояли царь, сенат, суд, один он взял сторону подсудимых и доказал, что виновником волнений был сам граф.

– *Dura lex sed lex*, – Вильгельм Карлович показывает, что и им латынь не забыта. – Закон суров, но это закон. Один для всех, – подвигал кадыком вверх-вниз. – Но уход от военной службы молодежи настораживал правительство. Оно чувствовало, что за этим что-то кроется.

В окнах солнечный снежный день – гостиная будто выстелена им.

Мебель красного дерева. Гнутые ножки.

Иван Иванович положил обе руки на трость – рассмеялся:

– Показательный пример. Танцую я на бале у московского генерал-губернатора с его дочерью. Князь Юсупов, из тех, о которых в «Горе от ума»: «...что за тузы в Москве живут и умирают!», спрашивает: «Кто этот молодой человек?» Называют меня, говорят – надворный судья. «Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь необычая, тут кроется что-нибудь необыкновенное». – Веселится

Иван Иванович. – Единоправие чем знаменито? Оно мыслит глобально. Год спустя после моего рождения в Петербурге появился «Ордер литейной части г. инспектору». В нем говорилось, что Павел Первый «...с крайним негодованием усмотреть изволил во время последнего в Гатчине бывшего театрального представления, что некоторые из бывших зрителей, вопреки прежде уже отданных приказаний по сему предмету, начинали плескать руками, когда его величеству одобрение объявить было неужодно, и, напротив того, воздерживались от плескания, когда его величество своим примером показывал желание одобрить игру актеров... почему принужденным нашелся всему двору своему и гарнизону г. Гатчины отказать вход в театр». Вот так – сидел один и смотрел. И все было в соответствии. Империя обязана смотреть в рот императору. – Он убрал руки с трости, откинулся: – А Юсупов не пророк, но угадчик: на другой год ни я, ни многие другие уже не танцевали в Москве.

– Пошли по казематам, потому что не в лад с его величеством плескали руками.

Пущин, думая о чем-то своем, кивнул и закрыл глаза.

За каждой дверью обширного дома звучат голоса, дом населен женщинами, мужчинами и детьми. Чьи они, кто они – он не спрашивал. Было бы нужно – Иван Иванович представил бы. В салоне уют и обжитость, живой дух. Он же и выйдя из казематов, все будто не покидал их. Какая-то мысль, нехорошая, поднимающаяся в нем еще у Трубецких и Волконских, пошевеливается, но он не дает ей развиваться, продолжает неоконченную:

– В Акше прочитал я тамошнего литератора роман, не буду говорить о его достоинствах или изъянах, взволновало то, что в романе проходили имена наших товарищей, хорошо проходили. Может быть, о нас всех Россия когда-нибудь скажет доброе слово?!

Надежда Кюхельбекера показалась Ивану Ивановичу суетной, блажной – не о себе они помышляли, отказываясь от карьеры.

ер, от самой жизни. Но время подходит к тому, чтобы осознать, чем они явились для отечества? Говорит со спокойною убежденностью:

– Мы станем ее национальной гордостью!

В палисаднике по-весеннему зазвенели синицы.

Стесненное состояние кончилось, поднялись шлагбаумы, беспрепятственно пропускающие по ту и эту стороны границы.

Вспоминая друзей, казненных и сосланных, посланных под пули, живых и мертвых, они гордились одним: каждое имя достойно несло на себе честь отечества, родины, страдающей и ждущей освобождения. Выпади им другая доля, они украсили бы отчизну науками и искусствами, ратными подвигами, но выпало им украсить ее большим – посвятить ее будущему своей жизни...

Иван Иванович говорит:

– Сибирь богата, но пока безголово правительство, – будет нища. У нее пока одно благо – нет крепостных. Заразу тащат сюда, да она не приживается – почва не та. Какой-нибудь чиновничек лизоблюдством, поджиманием хвоста, произвольным пописыванием в штанцы от собачьей преданности выслужится до коллежского асессора – давай заводить дворню. Она по смерти его получает свободу, но насладиться своими правами ему не вмоготу как хочется. Да только втихомолку наслаждается, скромным образом – рядом селенья свободные...

Ему кажется, что Вильгельм Карлович утомлен беседой: неблизкая дорога, отсутствие вокруг людей, способных понимать его, жизнь в самом себе не прививают навыка долго слушать собеседника. Переходит на темы попроще: «Ялutorовск – та же Россия в миниатюре. Населен отставными военными, купцами, мещанами, духовными да приказными, но более крестьянами. Все православной веры греческого исповедания, – он сообщает эту подробность, зная о набожности гостя. Самого Жанно религия занимала только вопросом «Как удастся церкви веками занимать умы

и души людей, чем?!» – Наше светское развлечение – ярмарки. Собирается довольно много народа, и народа разного. По городовому положению в Ялуторовске ярмарки бывают три раза в год: первая – со второго февраля, то есть начинается в день Сретенья господня, – лукаво косится на Кюхельбекера, – и продолжается пять дней; вторая – в Троицын день; третья – двадцать пятого марта, то есть в день Благовещенья пресвятой богородицы». – Будто уверяет товарища в знании церковных праздников, а сам смеется, безбожник.

Настало время Вильгельма Карловича. Он сидел, набираясь сил надолго – знакомить Жанно со своими творениями. Но Жанно, видать, оттягивал наслаждение, готовил душу для восприятия.

– Давай, Вильгельм Карлович, погружай в стихию метрики.

Он поднялся. Изломанно взлетела рука.

Ассирия и Египет. Древний Рим. Вожди в развевающихся багряницах, ведущие за собой легионы, стряхивающие с доспехов пыль покоренных стран. Тимолеон – коринфский тираноборец, народный вождь, наполнивший сердце свободой, высоко поднявший его над ареной мира, и хоры, вторящие ему с холмов, встали перед глазами Пущина.

Высокого образования человек. Высокого духа. Доброго сердца.

Европа, охваченная огнем революций. Париж и Царское Село.

Лицейские, ермоловцы, поэты, –

Товарищи! Вас подлинно ли нет?

Клятвы в верности дружбе, любовь, опалившая седые волосы, пророчества и вера в высокое предназначение и неприкосновенность поэта...

Читая, он подходил к сундуку, окованному полосками жести, безошибочно находил нужное: за двадцать лет была возможность запомнить номера папок, содержание их, страницы.

Иван Иванович слушал.

Молодая женщина, нянька его дочери, входила с подносом в руках, на изящном французском предлагала шампанское. Они

брали искрящиеся фужеры, она уходила. Вильгельм Карлович упивался ритмикой, будто в чужое вслушивался со стороны – блаженство его было полным.

«Несчастный Кюхля, Кухельбекер – пекарь пуль. Задира и забияка! Как сам ты нескладен, так нескладна твоя жизнь, – под гекзаметры, хорей и ямбы, размышлял Пущин. – С кем только ты не стрелялся шутя и всерьез, кого только не вызывал на дуэль! Ждать от тебя вызова можно было за все – за поднесенный не первому стакан вина, за каламбур, за неправильное понимание политики. И никаких при этом не преследовал выгод. Приютивший тебя Ермолов сам же и выгнал тебя с Кавказа: ты не нашел ничего разумней, как вызвать на дуэль его родственника. Полтора года лишенному службы, тебе пришлось прожить в деревеньке у Юстины Карловны... – Иван Иванович словно перелистывал жизнь Кухельбекера. – Избираешь поприщем журналистику, начинаешь издавать журнал. В круг изящных изданий, печатающихся на лучшей бумаге, врывается твоя «Мнемозина». Серая, громоздкая, как лапоть. Вы же с соиздателем хвастаете, что подписчиков имеете довольно, называете число их – сто девяносто, – Иван Иванович улыбается ничтожности этого числа, но и спохватывается. – Однако это неожиданно и внушительно. Пушкинские «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник» вышли в тиражах фантастических – тысяча двести экземпляров, тогда как двести покрывали издательский расход... Нескладность твоей жизни действовала на читателей?»

Летом 1824 года восемнадцатилетняя петербургская красавица Софи Салтыкова в смоленском поместье своего дяди познакомилась со многими молодыми людьми: полковником Паволо-Швейковским, отставным капитаном Якушкиным, отставным поручиком Каховским... В их имение «...приезжал еще один молодой человек, которого я была очень рада видеть, это г-н Кухельбекер, – писала Софи подруге. – Г-н Плетнев очень хорошо его знает и всегда говорил мне о нем с величайшим интересом; я нашла, что он вовсе не преувеличивал мне его добрые качества; правда, это

– горячая голова, каких мало; пылкое воображение заставило его наделать тысячу глупостей – но он так умен, так образован, что все в нем кажется хорошим, даже это самое воображение... Он любит все, что поэтично... У этого молодого человека нет решительно ничего, чтобы жить, он вынужден быть редактором плохонького журнала под названием «Мнемозина», который даже друзья его не могут не находить смешным – и сочиняет посредственные стихи. Ужасно досадно, что он судит так хорошо, а сам пишет плохо!...»

Вильгельм Карлович читал другу досуги пиитического ума, наслаждался своей небесной метрикой. Иван Иванович слушал.

И так три дня.

XVII

Шло заселение.

Его мир наполнялся людьми.

Они живут здесь пятеро одною жизнью, одной семьею: Пущин, Тизенгаузен, Оболенский, Якушкин и Муравьев-Апостол.

Тизенгаузена он не знал. Но полковник Полтавского пехотного полка, крепкий шестидесятичетырехлетний старик с абсолютно лысою головой, глуховатый, одевающийся под мужика, покорила его любовью к земле, с которой ему, Кюхельбекеру, сродниться не удалось. Оказавшись в Ялutorовске, первым в бездеревном городе разбил сад у своего дома, помог сделать то же соседу.

Вильгельм Карлович пожалел, что рядом нет брата: пусть бы порадовался за знающего человека, послушал:

– Местоположение города напоминает самодержавную империю нашу: плоское, болотистое, а значит, топкое, – повествовал со значеньем Василий Карлыч. – Материк земли черноземной, частью глинистый, частью песчаный. В смочные годы плод от нее родится хороший, в засушливые – посредственный.

Как матушку нашу Россию для человеческого жительствова без приложения рук не приспособишь, так и сие местоположение для плода.

– Василий Карлыч, – наклонялся к уху Тизенгаузена Оболенский, необидно смеясь, – Вы и на земледелии политику делаете?!

– Все вокруг нас – политика, молодой человек, – отвечал тот Оболенскому. – Не обманывайтесь! Жители города для содержания и пропитания себя ничего ниоткуда не получают. В этом нет политики?! – взирал с нарочитой грозностью. – Сады только-только начинают разводить. – И продолжил с явным назначением для Кюхельбекера: – Зато в огородах овощ разный: арбузы, дыни, огурцы, морковь, свекла... – немецкой педантичности хоть отбавляй, но он ей намеренно следует: – ...капуста, редька, лук, горох, бобы...

– Вот я и гадаю на бобах, – подхватывает Жанно, – на редьке, горохе да луке – какая политика?

– Такая, что для матушки княгини угодны дыни, а для бабюшкина пуза надо арбуза.

Их дружный смех наполнил радостью Кюхельбекера. Вот они, люди! За его дорожные месяцы их побывало с ним больше, чем за все ссыльные годы. Своей прерванной жизни видится ему новое начало: Курган – он рядом с Ялutorовском!

– Матерьялисты, – захлебывается он счастьем. Выкатливые глаза пошаливают хитрецей и обманцем, посвечивают интригой. – Высокого слова не услышишь, капустники!

Оболенский разглаживает усы, веселится:

– Мы употреблять их оставляем другим – пусть тешатся.

«Уж не в мой ли огород камешки?!» – заподозривает Кюхельбекер. Но князь имеет в виду иное. Оболенский, Евгений Петрович, – его давний друг, друг Грибоедова и многих, многих. Поручик лейб-гвардии Павловского полка был начальником штаба восстания. За час до разгрома Кюхельбекер и Пущин участвовали в избрании поручика Оболенского в диктаторы вместо полковника Трубецкого...

За сединами и морщинами теперешнего Евгения Петровича виделись Вильгельму Карловичу черты одухотворенного юноши, запечатленные на портрете кисти Веневитинова: молодое лицо, решительный поворот головы, решительный взгляд. Он будто предвидит грядущее, свое будущее, и готов его встретить. Нигде, ни при каких обстоятельствах Евгений Петрович не расставался с портретом, берег его как залог веры, как напоминание о тех прекрасных днях жизни, когда казалось – сил и молодости с лихвою хватит для осуществления их планов.

Они были едины во время оно – каждый чувствовал себя звеном огромной цепи.

– Пусть тешатся! – Евгений Петрович прищуривается на свет лампы, седые тяжелые пряди соскальзывают с плеча. Живое чувство, живая кровь и ныне бьется в нем.

– Им прозябание в удовольствие. Нас же оно не устраивало, оскорбляло. Ко всему можно привыкнуть, к оскорблению человеческого достоинства – нельзя.

– Князь, не уподобляешь ли себя тем другим, которых мы отрядили для говорения высоких слов?

Иван Иванович шутит, а Евгений Петрович серьезен:

– Отнюдь. Наши дела не только Сенатская. Это и возмутительные песни, и надворные суды, куда ушли многие.

– Ну, это уже было предметом наших воспоминаний с Вильгельмом, – Пущин подмигивает Кюхельбекеру, в реплике «ад» произносит на старинный манер «адея»: – Наполняется адея попами, дяками да праведными судьями.

Уничижительно рассмеялись.

– Скажите, как давно известны народу носители зла, а они знай себе живут!

– Век их сочтен, но еще будет долог.

– Его начинают укорачивать...

Над плоским спящим городом высится ярко освещенный дом Пущина, всеми окнами светит, всеми людьми.

Рябоватая няня дочери Ивана Ивановича входила в салон с подносом в руках, легко изъяснялась на их французском.

– Народ талантлив, – провожал ее взглядом Жанно. – Варвара Самсоновна из крепостных, вольноотпущенная. Евгений Петрович открыл ей доступ к знаниям – она их впитывает на лету.

Кюхельбекер шестым чувством определяет: между Оболенским и няней отношения более сложные, чем их представляет ему Иван Иванович.

– Путь учениц, – многозначительно закашливается он, – часто оказывается дорогой в жены учителю. – Тому примером может служить Наталья Михайловна Рылеева...

Пушин снисходительно шевельнул усами, надвинул на глаза брови.

Оболенский смутился.

«А чем не пара мужчина сорока девяти лет и двадцатичетырехлетняя девушка?! – не понимал поведения друзей Вильгельм Карлович. А сердце само собою затрепетало: – Как-то там Анна Александровна, жительница Кяхты?»

Потерявший нить разговора, Тизенгаузен подшучивал над собой.

– Что, с пареными орехами проехали? – намекал на свою тугоухость, делал вид, будто посматривает на улицу. – По реке топор проплыл?!

«Мне не завидовать, следовать им надо! – терялся Кюхельбекер от сошедшего на него прозрения. – Ношусь со своим божественным даром как с писаной торбой, как кошка с пузырем. Себя выражаю. Жалуюсь на зрение, а с ним у меня всегда было неважно: через увеличительное или уменьшительное стекло виделись вещи... Они тоже себя выражают, но тем, что создают школы, учат, их самовыражение приносит пользу народу, и частица их будет сохранена народом надолго. Выражают себя всеохватно, во всю жизнь, уча земледелию, иностранным языкам,

хозяйствованию... В Ялуторовске делают то, что задумано было нами сделать для всей России...»

Встреча с Трубецким одним тревожила его, с Муравьевым-Апостолом – другим: разгромом семьи.

В гайдамацких степях топтали траву кони славного гетмана Малой Руси Апостола, корни бояр Муравьевых древнее корня Романовых, уходят в седые века Великой Руси. Потомок именитых родов, Матвей Иванович Муравьев-Апостол, член тайного общества, пережил смерть младшего и среднего братьев и сам волею Императора был бросаем в самые утайные места империи, чтобы до человека, выросшего при посольских дворах Европы, и звука не доходило из цивилизованного мира. Как-то на нем все сказалось?!

В Вилюйске было несколько деревянных домиков и якутских юрт. Пять человек русских, вот и весь выход. Он скоро свыкся с одинокой жизнью. Дорога из Петербурга не расстроила его силы, напротив, восстановила: доброжелательное отношение властей сопровождало его на протяжении всего пути. За полтора года он сдружился с обитателями городка, познакомился с участником норвежской научной экспедиции в низовья Лены, в честь которого в юрте происходило камлание шамана и которому он подарил на память челюсть мамонта. Место, однако, было малоприспособленным для жизни – он просил родственников ходатайствовать о переводе его в более приемлемые места. Родственники походатайствовали – его перевели в Бухтарму, крепостцу на Иртыше, у границы с Китаем. Приставили солдата якобы для услужения – на самом деле с наказом следить.

Матвей Иванович грузен, имеет привычку трогать пальцами кончик носа, опущенного вниз и имеющего рисунок карточных пик.

Рассказывается для Кюхельбекера, остальным одиссея его известна, но все слушают со вниманием – в рассказе каждый раз новые краски:

– Так как я ни в каких закону противных проступках замечен не был, предавался токмо чтению иностранных книг, ибо, между нами, господа, стоящего для чтения отечественного не было: цензура русскую литературу засушила до такой степени, что по страницам ее гулялось, как по лежалой прошлогодней листве, – Матвей Иванович осанивается, степенно поводя плечами. – За хорошее поведение, а более по вмешательству сестры моей, состоящей замужем за нижегородским губернатором, братом начальника департамента внешней торговли, коему подчинялись все таможи, а следовательно, и Бухтарминская, с управляющим которой состоял в добрых отношениях родственник мой губернатор, жена же управляющего своим родовым имением соседствовала с нашим родовым в Полтавской губернии...

– Семь верст до небес и все лесом! – не выдержал Иван Иванович.

– ...мне разрешено было выходить в бухтаринский свет, где я и обрел супругу Марью Константиновну...

– И все?! Только чтобы сообщить это...

– Помилуй Бог! – заблестели глаза у Матвея Ивановича.

– Я был только на подступах к сообщению, что в Бухтарме имел честь встретиться с его величеством.

– Это достойно. И решительно ново.

– Старый комендант крепости почти не занимался делами, плац-адъютант ослеп, и всеми делами у нас заправлял писарь унтер-офицер. Вел светский образ жизни, принимал гостей, ходил в офицерском сюртуке. Мания величия – удел таких господ. Подверженный запоям, в состоянии горячки он взбирался на казацкую фуру, принимал позу Наполеона и объявлял: «Я комендант!» Похоже? Божиим промыслом Николай Первый...

– Вылитый.

– А дальше? Заметную фигуру мою в Бухтарме увидели даже в столице. Император, встревоженный этой заметностью

и дабы ее уменьшить, спросил у сестры: «Куда он теперь хочет?!» Она передала мое желание: «В Курган». Ответ несколько задержался, Вершитель обдумывал. «В Курган нельзя! – сказал. – Там их и без того довольно. Пусть выбирает Ишим или Ялуторовск». Я выбрал последний. И получил эту радость встретиться с вами, любезный Вильгельм Карлович. Совсем не случайно, что встреча прилась на весенний месяц.

– Затронуты времена года – жди метеорологические рассказы, – поддевает выводом Евгений Петрович...

Они то вдвоем ходят, не разлучаясь, по плоскому городу, то вдвоем-втроем: Оболенский с Якушкиным заняты школой, Тизенгаузена осаждают крестьяне: весна на носу, сев, посадки – без слова Василья Карлыча доброго урожая не соберешь. Пущина отнимают у него то судебные тяжбы, то хвори, потому что доктора не докличешься, коли он в городе, то пьян, коли трезв – на охоте...

«Наша жизнь будет дольше нашей жизни», – думает Вильгельм Карлович. И само собою всплывает Дронюшкино: «Сколько народной толпы загублено!»

А как вечер – стол, карты и разговоры.

– Какая метеорология, когда у нас с Иваном Дмитриевичем только столбы с водомерами, – продолжает вчерашний разговор Матвей Иванович и каверзно смотрит на Оболенского. – Но наука сия показывает, что наш край подвержен действию бурь, они случаются ежегодно, однако населению памятна та, что, набедакурив тут, ушла к стольному Тобольску, сорвала там главы со многих церквей, а тако же с дома генерал-губернатора железную крышу. Произошло сие в год рождения князя Евгения Петровича Оболенского, в семьсот девяносто шестом...

Круты повороты Матвея Ивановича.

Пущин наклоняет голову к уху Вильгельма Карловича, будто тет-а-тет говорит, но так, чтобы другим было слышно:

– Князьенька-то порочен сызмальства...

Вильгельм Карлович свой среди своих, равный среди равных – легко душе и слову легко:

– Все Оболенские порочны: за дерзкое обращение с властями в соседней с моею камерой в Динабурге отсиживался князь Сергей Оболенский.

Союзники подхватывают:

– В тридцать четвертом в Московском университете вольнодумствовал князь Андрей Оболенский...

– ...но в тридцать первом там же князь Иван Оболенский...

Евгений Петрович вида не подает, что доволен, просто будто бы уточняет:

– Донесший на Ивана студент писал, что тот дурно отзывается о государе, не желающем объявить крепостных вольными людьми, предлагает перерезать всех господ и посягнуть на жизнь самодержца... – Покачал-повертел чашку с кофеем, продолжил: – Государь повелел доносчика исключить из университета и не употреблять в государственную службу...

– Резонно! – в голос ответствовали все.

– Но малый оказался помешанным.

– ...это не упрощает дела!

Разговор то и дело меняет направление.

Матвей Иванович приглаживает редеющие волосы, быстрым движением пальцев трогает кончик глядящего книзу носа:

– Купил я у местного мещанина дом, а тот и говорит: «Не ты первый сыльный барин в нем поселяешься». «А кто был первым?» – удивляюсь я. Хозяин чешет бороду, молчит для большей заинтересованности, да и сообщает: «Князь Сибирский!» – Матвей Иванович втягивает подбородок, вознося голову: «Кто, кто?!» – переспрашиваю. «Да он, генерал от инфантерии, Василий Федорович».

Нет, он рассказывал об этом впервые: все лица повернулись к нему, полные интереса. Значит, у них тем для разговора много, этой коснуться было некогда.

– Тот Сибирский, что при Александре был сенатором? – уточнил вопросом Пущин. – Примечательно, но любопытного

мало. Павел Первый, не к ночи будь помянут, многих расталкивал по разным местам.

– Сибирский-то тот, но факт значительней. Княжеский род Сибирских идет от Кучума. Потомки сыновей его Алея, Абдул-Хаира и Алтаная до тысяча семьсот восемнадцатого года носили титул царевичей Сибирских, кроме ветви Хансюфа Алеевича, уже в семнадцатом веке имевшей лишь титул князя. Но царевич Василий Алексеевич Сибирский оказался причастным к делу царевича Алексея Петровича, был сослан в Сибирь, а сыновьям его было велено писаться не царевичами, но князьями. Внук того царевича Василия и отбывал павловскую высылку в моем доме.

– Итак, вы обитаете в доме, в котором жил потомок Кучума?! Прихотливы повороты человеческих судеб.

Молчаливый Якушкин, пришедший позже других, скромно сидел в уголке, слушая. Шевельнув пышные усы на сухощавом лице, вступил в разговор:

– Сибирских ссылают в Сибирь, возвращают родине. Но она уже не родина для них – место отбытия наказания. Корни судеб людских так переплетены в глубине веков, что разобраться в них, пожалуй, уже невозможно.

Воображение Вильгельма Карловича возбуждено необычными ситуациями, он машет руками, двигает кадыком:

– Берегите свой дом, Матвей Иванович, он не только памятником вам всем будет, он заставит потомков внимательнее листать страницы отечественной истории.

– *Vox audita latet, littera scripta manet*, – оторжествляет момент латынью Иван Иванович. – Услышанный голос исчезает, написанная буква остается. Готовьте тайник, Муравьев-Апостол.

– Как мореплаватели – бутылку...

Во все эти дни Дронюшка к столу не подходила, ее упорством заражались дети, держались за юбку, прятались за мать, тарасили глазенки и нестерпимо визжали, когда к ним приближались.

Кухня и людская – определила она себе место.

С черного хода появлялись разные люди, спрашивали Ивана Ивановича, но он никого не принимал, ходил с Карлушей как привязанный.

Она по-хозяйски насадала на просителей, переняв обязанности у прислуги:

– Барин занят.

– Да когда же освободится? Дело не ждет, а помочь некому.

Иван Иванович вел тяжёбые дела горожан. «Маремьяной старицей» прозывали его в городе, по известной пословице: Маремьяна-старица обо всех печальница. Он и сам любил это свое имя.

– Когда барин-то будет?!

«Ага! – думала Дронюшка. – Судья и здесь народ обирает!»

Выходила на широкий двор, оценивала. Крепко судьи живут! Присмотревшись, обнаруживала: ко вчерашним просителям у черного крыльца прибавлялись новые. Одеты кто как, но будто в воскресный день.

Темное желание овладело ею – взошла на крыльцо:

– Все судью ждете? Ах ты мне, думаете, все товарищи в тюрьме, что-то завтра будет мне?!

Люди замолчали, лица повернулись к ней – показались одинаковыми, выражающими одно и то же: откуда и кто такая?!

– Правды захотели?! Держи карман шире! Судья-то молитву читает: да будет воля твоя, а думает: когда б то моя!

Они загалдели, двинулись на нее. Она задом-задом и уперлась в стену: «Что это, господи?! Никак с ума посходили!» И вовсе уж непонятное сквозь крик слышится ей:

– Хоть и велика барыня, а в алтарь не лезь!

Вильгельм Карлович, услышав шум во дворе, заволновался: «Уж не Дронюшка ли?!» Заторопился на помощь.

Его появление утихомирило двор – он не сказал ни единого слова, но они засмеялись: у старой нескладной птицы – птичья походка: вслед шагу выдвигает вперед и убирает назад голову.

И. И. Пуцин. 21 марта 1845 г. Е. А. Энгельгардту

Три дня прогостил у меня оригинал Вильгельм. Проехал на житье в Курган с своей Дросидой Ивановной, двумя крикливыми детьми и ящиком литературных произведений. Обнял я его с прежним лицейским чувством. Это свидание напомнило мне живо старину: он тот же оригинал, только с проседью в голове. Зачитал меня донельзя... Не могу сказать Вам, чтоб его семейный быт убеждал в приятности супружества... Признаюсь Вам, я не раз задумывался, глядя на эту картину, слушая стихи, возгласы мужиковатой Дронюшки, как ее называет муженек, и беспрестанный визг детей. Выбор супружницы доказывает вкус и ловкость нашего чудака: и в Баргузине можно было бы найти что-нибудь хоть для глаз лучшее. Нрав ее необыкновенно тяжел, и симпатии между ними никакой... Спасибо Вильгельму за постоянное его чувство, он точно привязан ко мне... он, бедный, не избалован дружбой и вниманием. Тяжелые годы имел в крепостях и в Сибири.

XVIII

Он торопил дорогу.

Как повезло союзникам, оказывающимся рядом и во дни восторженной готовности жертвовать собою, и во дни испытаний. Тайное общество объединило блуждающие в мировом эфире души их в одну, одною душой они жили и после пресекавшего путь их удара... Анна Александровна, Анна Александровна, опять вы!

В лунках от копыт, в следах от полозьев не стало воды – от Ялutorовска дорога поднималась на север, к Тобольску. Копыта скользили, полозья посвистывали – зимний путь. Березовые леса сменялись хвойными – сосновыми да еловыми.

Вильгельм Карлович оглядывается на свой полуобратный путь – укоряет себя: как его задевало, с какой поспешностью набрасывались на пакеты Трубецкого в Красноярске, Омске... да и в Ялutorовске! А это давнее непрерываемое общенье.

Память живет Ялуторовском.

Якушкин мыслью о переплетенье корней расшевелил в нем полузабытую думу, все не получающую продолжения, но не затухающую, живущую в нем: то появлялась, то исчезала.

Он отчаивался потерять ее.

Чацкий-Якушкин – как этого могло не быть, если Якушкин и Грибоедов друзья с детских лет: Хмелиты – смоленское имение дяди Александра Сергеевича, соприкасается с границами имения матери Ивана Дмитриевича.

В чередованьи лесов и равнин – исчезновений и раскрытостей далее – та неясная мысль начинала обретать очертанья. Рюриковичи – Рюриковичами: варягами на Древней Руси называли вольных, отчаянных людей. Поэтому-то у братьев Рюрика имена языческой русской древности. Но почему Трубецкие – гедиминовичи, Аничковы – потомки татарского князя Беркая, Якушкины – потомки польского шляхтича?! – Версты уплывают одна за одну, солнце перемещается по небосклону. Рядом, в санях, свою жизнь живут люди: Дронюшке – двадцать восемь лет, Мишеньке шесть, Юстине два. Ему сорок восемь. Но это не его счет. У него на уме другое. Бестужевы идут, дескать, от англичанина Беста, Нарышкины – от германского племени на ристи... Суетным является ему мир предков. Может, все куда проще: туга по-русски – тоска, бестужий – бесскучный, бестужев; нарышка – дурной запах изо рта... Кто и когда, вернее, может быть, что принудило русских искать в своем роду нерусские корни?! Надо искать время, когда русскими называться было невыгодно или небезопасно. Для чего-то надо же было им находить, указывать иные корни?!

Может, барство от черни отрешивалось?!

Существо Вильгельма Карловича, его дух готовились к работе на много лет – надо было навестывать...

Тобольск вставал над крутояром, поднимался в чистое небо золочеными куполами кремля. «Над рекой Иртышом при устье Тобола, павшей в Иртыш против конца города». Окруженностью на одиннадцать с половиной, в длину с севера к югу на три версты пятьдесят сажен, в ширину от востока к западу на две версты четыреста пятьдесят сажен.

От престольных Санкт-Петербурга в 2885, Москвы – в 2153 верстах.

История города, воспроизводимая памятью, ложилась на слух удивительной русской речью описаний наместничества, проступала очертаниями гербов, венчавших город. Неведомо кем и когда пожалованный первый герб держал мартическую корону в передних лапах стоящих двух соболей, крестообразную стрелу между ними. На новом гербе в синем поле высилась золотая пирамида с воинскою арматурой, знаменами, барабанами и алебардами. Скоро он будет бродить по городу, в Нагорной части его, возвышающейся на тридцать пять сажен над другою, лежащей на низменном луговом долу, каменные в три этажа дома генерал-губернатора и архиерейский благословят его на праведные дела.

В низменной части города жили Фонвизины.

Его ожидали – работники под уздцы ввели подводу во двор, под руки каждого подняли из розвальней, разобрали багаж.

Сердце Кюхельбекера колотилось.

Фонвизин, Михал Александрович, принял его в объятия, замешкавшиеся руки Фонвизиной обвили шею.

Нескладная старая птица, он невпопад размахивал руками:

– Это я, это мое семейство, это мой скарб.

И вытирал каждой рукою слезы в каждом глазу. Наталья Дмитриевна успокаивала:

– Вильгельм Карлович, вы среди своих, наш дом – ваш дом.

Наталья Дмитриевна – двоюродная сестра супруги генерал-губернатора Западной Сибири, вершащего судьбы людс-

кие. Кюхельбекеру, разбитому, жалкому, совестно перед нею, прекрасной, как прежде, будто и нет ей сорока лет, семнадцать из которых прошла она дорогами своего ссыльно-каторжного генерала мужа.

Во мнение союзников она у Пушкина – Татьяна Ларина, хотя пути Александра Великого и урожденной Апухтиной никогда не пересекались, он, Кюхельбекер, Ленский. Грибоедовский Чацкий – Якушкин. «Евгений Онегин» и «Горе от ума» – все в Сибири. Наталья Дмитриевна, Наталья Дмитриевна! Годы испытаний не коснулись ее души, как не касаются века Иппокрены, священного источника, откуда черпают вдохновенные поэты. По старой привычке она подписывает свои письма Татьяной – и у нее на это есть право. А в нем ничего не осталось от Ленского...

Она держала на ногах весь город:

– У нас остановился Кюхельбекер!

Застолье в мундирах, погонах и орденах. В манишках и фраках. В чесучевых кафтанах. С бородами и без бород. Дамы и господа. Тобольский бомонд.

Дронюшка – самая молодая, самая, может быть, красивая – любезная душе его женщина, сидит на равных с ним и со всеми, хранительница его дум, его жизни. Чего ни тянись за нею – она чиста перед ним и верна. Как бы там ни было...

Музыка, танцы.

Они сидят с нею зрителями в театре: он не решается, она – не умеет.

Наталья Дмитриевна всех возвращает к столу. «Черная дама», как ее называют в Тобольске, смеется свободным смехом, выпуклые голубые глаза лучатся сразу светом всех ламп. «Черная» потому, что носит черные платья.

– В двадцать пятом году в Тобольск губернатором был назначен мой родственник Бантыш-Каменский, Дмитрий Николаевич, не столько администратор, сколько ученый. Сразу заинтересовался могилой князя Меншикова в Березове. Оказалось, что

ее нет – вместе с берегом унесена рекою в Ледовитый океан. Останки князя там, в Ледовитом. Нас кое-кто тоже хотел бы видеть пребывающими во льдах, а мы – здесь и согреты дружбой!

Со звоном состукивается хрусталь фужеров... Компания, разгоряченная танцами и шампанским, теряет общее направление, разбивается на группки. В мелькании множества новых лиц растворяются лица союзников, которым Вильгельм Карлович успел только обрадоваться, не успел всласть наговориться. Ему пока неизвестно, да и после понять будет некогда, что единение фраков, кафтанов, ряс, погон и мундиров до поры до времени: стоит только рыкнуть кому-нибудь из Петербурга или из Омска – все распределятся по своим местам. И всё распределится.

Пока же разговоры, поддевки и уточнения.

– Однако и не Бантыш-Каменский первый установил сие?

– Не Бантыш, но по его приказу.

Наталье Дмитриевне хочется вернуться к смыслу тоста, не к историческим истинам. Она нетерпеливо взмахивает ручкой:

– Да, но он приказал, разрыли какую-то могилу, как оказалось, дочери князя – Марии, нареченной невесты Петра Второго, а выдали за могилу самого Меншикова. Произошли некоторые недоразумения, вызвавшие неудовольствие государя, но суть не в этом...

...Жандармский полковник, лысеющий, с аккуратными седыми усами, со щеками, лежащими на груди, со старающимися казаться умными глазами, заносчиво поднял вилку с куском осетрины:

– Но правнуку князя, флигель-адъютанту его величества, были отосланы некоторые предметы из той могилы... Имея таких родственников... как и нынешнего генерал-губернатора, можно недурственно устроиться на земле в любом случае. А что в Березове могила князя не сохранилась, стало известным лишь четыре года назад.

Наталья Дмитриевна признает тост неудачным: не в этом присутствии он должен бы быть произнесен. «А нынешний ге-

нерал-губернатор, – подумала, – только и ждет случая, чтобы свести со мной счеты как с родней, отдалить от меня и супругу свою, и своих дочерей».

– Не стоит наветами разрушать суть моего тоста – он искренен, честен...

Вильгельм Карлович осознает: он впервые за двадцать лет в большом собрании людей – разных, противоречивых, самостоятельных. Он впервые за двадцать лет вообще в большом городе.

Голова идет кругом. Он встречался с Трубецкими, с Волконскими, и встречи с ними воспринимал как встречи, а это были события. В доме на разных языках шумно разговаривает, соглашается и спорит званый ужин. В его, Кюхельбекера, мир входят люди, он входит в мир людей. Рядом с ним Михал Александрович, племянник Дениса Ивановича Фонвизина. Великая императрица Екатерина Вторая, имея в виду дядю, хоть и притворно, вздыхала в кругу приближенных: «Худо мне жить приходится; вот уж и господин Фонвизин хочет учить меня царствовать». Благословенный император Александр Первый, имея в виду уже племянника, говорил: «Эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении...» Вильгельм Карлович с незаметною для себя гордостью распрямляет стан – будто о нем самом высказывались с опасливою почтительностью государи.

В морозных окнах отражаются лица, лампы, столы.

За стенами дома отрешенными куполами уходят в ночное небо каменные двенадцать церквей, среди которых поразившая его воображение церковь Захария и Елизаветы, не столько огромностью, сколько изяществом архитектуры, волнующей чувство, направляющей мысли к Богу... Мишель даже в посмыслах о Всевышнем откликается в нем цифирью: сто тридцать две лавки при церкви, гостиный двор. Велик город, в нём артиллерийский цейхгауз, пороховой магазейн, двадцать питейных домов... И – сжалось сердце, окаменело – тюремный замок.

Голос Натальи Дмитриевны верховодит в собрание мундиров, манишек, фраков, чесучевых кафтанов.

Вильгельм Карлович говорит Фонвизину:

– Если бы человечество однажды осознало роль женщины в его жизни – давно бы поставило ей памятник из золота высшей пробы.

Михал Александрович морщится.

– Ну, из золота, почтеннейший друг, извините, банально. Золотой памятник – навязчивая идея самодержцев, они при жизни себя осыпают им, навешивают на плечи, на грудь, всюду, где еще пристойно, – смеется свысока, важно. – Помните, один из королей Франции даже издал указ считать у мужчин грудью все, что спереди выше пояса. Золотые болваны. А женщине памятники по всей земле. – Он раскуривает трубку, западают и надуваются щеки, взгляд, уставленный в пол, неподвижен. – О женщине нельзя говорить отвлеченно: столько живых примеров... В каторгу из Петербурга меня отправили в великой тайне. И вдруг на ближайшей станции – моя Наталья. Бог мой, в первый миг даже почудилось, будто опять Петропавловская крепость и она – в комнате для свиданий: молодая, стройная, в белой шляпке с перьями. «Как ты прекрасна!» – только и нашелся сказать. – Он уходит в себя, в то время, в ту встречу. Десятью годами старше Вильгельма Карловича, на десять лет моложе его выглядит: таков склад лица, действию лет неподвластный. Молоды глаза под молодыми бровями, молоды усы без единой сединки, даже подбородок не барина, но барчука, наивный. Возвратившись из дальних далей, Михал Александрович отодвинул руку с зажатой в ней трубкой. – В общем, у меня, гонимого, оказывается тысяча рублей, на мне – медвежья шуба... В России примеров гражданской доблести женщин, супружеской верности – по всей истории... Маргарита Михайловна Тучкова, родная сестра нашего сотоварища Михал Михалыча Нарышкина, на месте гибели своего супруга генерала Тучкова основала Спасо-Бородинский монастырь, став его инокиней, чем увековечила и двенадцатый год, и Бородино... Это ли

не памятник женщине, ее величию, ее любви?! – Он затягивается трубкой, задумчиво смотрит перед собой: – Я счастлив в браке с первого нашего общего дня с Натальей Дмитриевной до этой минуты. Во мне та же свежесть чувств к ней, как в прежние годы. Найдись у меня хоть однажды слова, способные выразить мою признательность ей, я посчитал бы себя поэтом...

Вильгельм Карлович носил в себе слова, подобные этим, но в юности не успел их никому сказать, потом было некому.

«Бенедик, женатый человек! Жизнь, где могла, убивала мои идеалы».

Дросида Ивановна, много раз отраженная трельяжем, расчесывала перед сном успокоенные, покорные волосы. Отзывалась о вечере:

– Они счастливые люди – у них смех охотный.

«Дронюшка-Дроня!»

XIX

Наталья Дмитриевна изо дня в день ходила с ним по Тобольску. Выбивающиеся из-под черной шляпки светлые волосы наливались на черном мехе воротника мартовским солнцем, голубые выкатливые же глаза на круглом лице туманились давней молодостью, жили неугадываемой мыслью, близоруко щурились:

– Во мне живо впечатление детства. Девчушку, наверное, лет пяти, меня осенило: я хожу по земле, по которой прошло столько людей, разных – дурных... и хороших, умных и глупых. Главное же – живу на давней земле людей, вышедших из нее и в нее ушедших, на святой земле. Вот и под этою мостовою, – она указала пальчиком под ноги, – столько лежит плах и бревен, сохранивших следы живших до нас, столько предметов, доказывающих и показывающих существование их. Придут археологи, отыщут и прочитают следы, восстановят минувшую жизнь.

Она уверенно чувствует себя в доме и в городе, «черная дама». Горожане узнают ее, раскланиваются.

Она говорит с плавною быстротою, голос девически чист:

– Однако сколь хитра память! Я когда об этом подумала?! А вот воскресло же через столько лет! Молчало-молчало, да и тогда-то существовало одно мгновение – и вдруг заговорило, в целую картину выстроилось... Жду, может, еще что воскреснет, заговорит, но о приятном – не о ваших, дорогие мужчины, казематах и ссылках. – Она прижимает локоть Вильгельма Карловича, согнуто и тоще чуть не вдвое выше громоздящегося рядом. – Наверное, в каждом из нас что-то оставлено Богом для таких воспоминаний? – поворачивает головку, смотрит снизу вверх, ищет согласия.

Тобольск дышит историей. Русь, поднимаясь, становилась Россией. Ее воины шли на восток и на запад, на север и юг... Сибирский приказ указною грамотою повелевает вместо деревянного острога на мысу у впадения Тобола в Иртыш сложить каменный город... На своих границах Россия ставила крепкие города, дабы внушали они сопредельным народам мысль о ее могуществе и богатстве...

Они бродят по городу, каменному более, чем прочие города Сибири.

Вильгельм Карлович в который раз убеждается – он отвык слушать, привык говорить в себе, с собой разговаривать; замешкивается в беседе.

– У Бога нас много, но он щедр.

– Вы тонкий человек.

В каменном городе они проходят мимо деревянного дома, приземистого, неказистого. Обыватель Тобольска украшает жилище резными карнизами, коньками на гребнях крыш, кокошниками узорчатых наличников. Этот дом похож на казарму.

– Здесь обитает еще один горькой судьбы человек: Петр Павлович Ершов. Мы все ему поклоняемся, но что мы – ему поклонялся Пушкин! – Или облаком затменено солнце, или

опустились ее ресницы, но глаза потемнели. – «Город бедный, город скушный – проза жизни и души, как томительно, как душно в этой «мертвенной глуши», – пишет Ершов, и он прав. Извините прямолинейность – только мы тут и оживляем жизнь. – Глаза совсем потемнели, будто она опустила вуальку. – Только мы и оживляем.

Молчание. Неспешный шаг.

– Такой удел: блестящий взлет – и падение в пропасть, – он сказал и подумал, что сказал о себе: – «Горька судьба поэтов всех племен; тяжеле всех судьба казнит Россию».

– Да, да! У нас есть отменные стрелки: бьют на взлете!

Ее спокойствие было ледяным.

Он понимает ее. И чем она только держится, где каких сил набирается?

Двадцатилетнею женщиной, женой генерал-майора, ожидающею второго ребенка, пришла она к декабрю. Из всех последовавших в Сибирь за мужьями, она одна знала о тайной жизни супруга, он содержался в крепости, когда родился у них второй сын.

Высокие брови Натальи Дмитриевны не сдвигаются, остаются недвижимыми, лишь темнеют глаза. Говорит, уходя воспоминаниями в далекое время:

– Я не одна в те дни ожидала ребенка: Волконская, Муравьева, Якушкина, Поджио, Анненкова...

В двадцать восьмом – она в Чите, жена государственного преступника. Принята и благословлена сообществом ей подобных. У нее появляется новое имя – Визинка. (У Муравьевой – Мурашка, у Трубецкой – Каташа...).

В России, у матери, оставлены сыновья: Мите – четыре года, Мише – два. На вечную разлуку оставлены.

– Даже воспоминаний нет у меня о них. Ни взгляда не знаю, ни голоса. Какие они сейчас – фигуры не вижу. Какие характером?

Подтаявший снег не скрипит. Молчаливо солнце.

– Любая мать поймет меня... Только шея и помнит хватающиеся ручонки, да грудь – губы.

Он крепче прижимает ее локоток.

Увы, дети Фонвизиных не сошли – жили на страницах комедии их деда Дениса Ивановича «Недоросль» и тяжким наказанием считали просьбы бабушки Марьи Палны, дядюшки Иван Александрыч написать письмо родителям.

Еще двое родилось у Натальи Дмитриевны в Сибири. Но оба ребенка умерли. Она спасалась религией... Растила двух приемных дочерей.

Они стоят у Прямого взвоза: над тишиною улиц, крыш и куполов церквей. Нижняя часть губернского города много бедней Нагорной. Крепкий запах соленой рыбы, кожевен и мыловарен восходит к ним, щекошет ноздри свидетельствами иной жизни. «Она, наверное, так же крепка, как её запахи...» – думает он. О том, что когда-то и сам был крепким, здоровым. Рядом с ним дама. Ах, как бы он раньше сбегал вниз и карабкался вверх, минуя ступени взвоза, по этой крутизне в тридцать пять сажен, чтобы казаться героем в ее глазах – бесшабашным, взбалмошным. Но стыдно признаться – он ослаб от хождения по улицам, от разговоров.

Из окон Нижнего города видны на юру две фигурки – мужчины и женщины. «Наверно, влюбленные», – думают о них.

Откосы взвоза обшиты кедровыми досками – прочность и вечность. По гладким стенам высоко карабкаться взгляду.

– Вижу, предки всерьез укреплялись здесь. Представляю, как поднимались по этим ступеням иноземные гости, зрели отвесные стены, а здесь, наверху, – стоящих в железных доспехах воинов с пищалями и алебардами. Какое впечатление складывалось у них о силе России, если даже на своих окраинах она столь внушительна, – Вильгельм Карлович распрямляется, выставляет вперед ногу: властелин над временем и пространством.

Наталья Дмитриевна любила и этот взвоз, и вообще высоту. Стоя у глинистой кромки, смотрела на дальние плесы рек, за леса – в земные пространства, душа ее растворялась в них, она

чувствовала себя воспарившею над землей, безгрешною, легкою, освобожденною от пут мирской суеты...

Сейчас в ее даях маячил один Кюхельбекер; светящегося ореола не всходило над его головой, но под куполом неба церковно звучали песнопения ангелов.

Он возвращает ее на грешную землю, она ему вторит:

– Я не раз представляла себе такое и гордилась предками: основательным, дюжим народцем.

Кирпичному делу могущие мастера сгонялись тобольскими воеводами год из году в артели – ломали камень, гасили известь, копали глину и, перекрестясь да поплевав на ладони, зачинали кладку. Много ли, мало ли лет прошло, а появились в Нагорной части каменные здания Софийского двора, Малого, или Вознесенского города – появился кремль.

Через кованого железа дверь они входят во двор.

Ржавые петли бурьяна, настырные лапы репейника, набуйствовавшие летось, безмолвствуют в жалостливом покаянье над проседающим снегом. «Такова она, участь окраинных городов, коих минуют дороги века: над могилами пращуров сгниют кресты, в пустыри превратятся кладбища, приделы церквей зарастут травой забвенья. Только церкви останутся, чтобы напоминать: здесь жили люди!», – и сам себя сравнивает с этим городом Кюхельбекер.

Кремлевские стены, бойницы, собор. Старый гостиный двор, консистория, дом архиерея: замкнутое пространство – только стены да небо.

Наталья Дмитриевна говорит:

– Перевели наместничество в Омск – и не стало Тобольска: на улицах, где квакали чиновники, заквакали лягушки, вместо дамочек света и полусвета в городских скверах появились белки, а птицы влетали в горницы, запустел кремль.

«Все, как я думал!»

Он трогал рукою стены, задирает голову к куполам:

– Главное, чтоб в наших душах не запустело.

Март здесь еще похрустывает ледком под ногою, бодрящ воздух.

Наталья Дмитриевна представляется Вильгельму Карловичу мартовским утренником: солнце, ознобность и звонкость. В тайном тайных его существа живет молчаливая гордость: он удостоен вниманья женщины, богатой всем: знаньями, опытом, нежностью и красотой, мужеством, верой в Бога.

– В семьсот двадцать третьем к башне восточной стены, – указывает она пальчиком, – была пристроена каменная столовая палата и рядом вырыт колодезь более пятидесяти сажен глубиною...

«Одиночество, которого не было», – определяет он свою жизнь. Вокруг него всегда были друзья, в казематах и ссылке делились душой. Любовь подает и тем, кто не просит. Он изменяет друзьям, помышляя о скорбном скарге...

Она видит – он уходит из-под ее управы, остается с самим собою, опять одиноко маячит в пространствах. «Хоть бы не наткнулся на угличский колокол, – молит Бога. – Борис Годунов своим преступлением совершит еще одно преступление!»

Но он наткнулся.

Пелена встала перед глазами, забил кашель.

Согнутый, стоял перед башенкой над опальным набатом – руки до колен, рот – синеющей ниточкой.

«Младенец царевич Дмитрий... Власть развращает людей, возвращает в первобытное состояние. Прокляни, Господи, единоправие, не оставляй долго одного и того же человека у власти – он превратится в деспота: зарежет, повесит, расстреляет каждого, вставшего на пути, каждого лишь примерещившегося, что встанет: хоть сын, хоть зять, хоть дочь. Не лишив жизни, осквернит имя их ложью, осмеет, сошлет или вышлет. – Вильгельм Карлович путается в шарфах, воротник поднимает. – Давно был нужен набат над Россией. Ты заговорил первым – тебе вырвали язык, взяли в плети, сослали. Может быть, ты первый из сосланных в Сибирь... Но вдруг и я – колокол с вырванным языком?».

Таинство весны творится в природе: назвенькивают синицы, хрустальный воздух хрустально озвучивает голоса – идет чистый звон, долгий, вечный. Весна – чистота и молодость. Но на дворе март: земле еще далеко до весны. Как и его родине.

Как и его родине, земле еще далеко до весны.

– ...самая высокая вертикаль кремля – колокольня Софийского собора...

Вошли в сознание слова.

Он очнулся. И, показалось ему, отвлеченному, удачно со-
стрил:

– Пусть вместо языка ее колокола привяжут меня вниз головою – такой звон пойдет над Россией, над тоской и печалью ее.

Наталья Дмитриевна перекрестилась.

XX

В библиотеке горят oleиновые лампы, предупредительно зажженные Натальей Дмитриевной. Плесневелой бронзы подсвечники, нарочно поставленные для него, любителя старины, торжественно держат над столом по четыре подставки для свеч в виде раскрывшихся лилий. Он нескладно утопает в мягкой благорасположенности кресла, откидывается на спинку. Перед ним за стеклами громоздких шкафов размытым золотом в торжественном благолепии мерцают корешки дорогих книг. Но хозяйкою дома ему насоветованы не произведения английских или французских авторов – российские рукописи, вернее, их списки. Из запираемого на ключ сундучка он бережно достает их. Бронзовые застёжки фолианта легко открываются. Первые же строки, повествующие об ином, далеком времени, соприкасаются с его, Вильгельма Карловича, судьбою:

«От царствующего града Москвы на восточную страну есть царство, рекомое Сибирское, в немъ же живяше царь Кучюм; вера же их бусурманская Мааметева закону, а иные языцы кумирам служату и идолам поклоняхуся, а иные ж чудь

заблудшая, веры и закону не знаху; отсюда ж начахом глаголати, како покори Бог под руку царству Московскому...»

Он трет глаза костлявыми пальцами, мысли сами собой возникают, текут – выношены, выхожены давно. «Мы ни кумирам, ни идолам не поклонялись, верили и служили единому Богу – Родине с ее благоденствующею будущностью». Но и новое появляется в них: десять лет крепостей, в которых при надвигающейся инспекции, при намечающемся проезде лиц царствующей фамилии по местам, прилегающим к его крепостям, ему, как уголовнику, в великом российском переусердствовании полувывбривали голову и ставили к тачке – ничто в сравнении с тем, что уготовило ему «Царство, рекомое Сибирское». Спасибо друзьям, своим существованием они не дают ему умереть раньше, чем придет смерть. «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой» – спасибо госпоже де Сталь за изящную французскую шутку. Он тревожится мыслью, как бы преследования, коим его подвергает правительство, упаси Господь, не возымели запугивающего действия на дух и разум соотчичей, в особенности – на юное поколение.

«...Той же Ермак изготова себе припасу и взяв с собою тутошних людей 50 человек и поиде рекою Серебряною вверх, и переволокли суды в реку Тагил, и доиде до реки Туры, а рекою Турою доиде до городка, где кочевал Кучюм, и прииде под то царство Сибирское. И быша с ним бои по многи дни, и божиим изволением взяша царство Сибирское, царь же Кучюм побежа, царицу его и царевича взяша...»

Он вспоминает рассказ Муравьева-Апостола о роде князей Сибирских. Закрывает глаза.

В доме чувствуется ожидание какого-то торжества – внизу хлопанье дверей, возбужденные голоса прислуги, во дворе – ржание лошадей.

Занятый мыслями, он не услышал прихода Михал Александровича.

– Прикасаетесь к старине языковой, не все каменные книги читать, – намекает на хождение Кюхельбекера с Натальей Дмитриевной по каменному городу.

Фонвизин надушен, наряден – французский блеск в наружности и языке.

Впрочем, он краток:

– Пора, Вильгельм Карлович, экипаж подан.

– Куда, почтеннейший и любезнейший господин генерал? – отрывается Кюхельбекер от дум, смягчая неожиданную неделikatность вопроса употреблением любимого выражения хозяйина дома. – Не слишком ли много движений, мало покоя?

– Движение – жизнь, – смеется Михал Александрович.

– Мы едем на бал к Свистунову.

На бал?! Он отвык от этого слова. Не от слова отвык – от понятия. «Бал!»

Конфузится в неумелой защите:

– Но до Петра Николаевича рукой подать, какая езда?!

Хозяин неумолим, в нарочитой строгости сдвигаются брови:

– Так надо!

Праздничная Наталья Дмитриевна постукивает во дворе ножкой о ножку, заждавшаяся:

– Опаздываем, дорогие мужчины!

Грозь опрокинуть, заносит возок на раскатах дорога, возница свистит. «Сторонись!» – покрикивает на прохожих.

Такое решительное возвращение в прошлое! Или влет в будущую его жизнь?! «Но где Дронюшка?» – спохватывается.

О ней не спросили.

Тобольск отзвучал, корона стольного града Сибири перешла к Омску. Но дух столицы не выветрен: нравы, уклад, связи...

Вильгельм Карлович поворачивает голову то к Михал Александровичу, то к Наталье Дмитриевне.

– У Свистунова в вашу честь музыкальный праздник, – успокоительно говорит она. – Не смущайтесь.

Ярко освещенные окна дома. Музыка.

Вконец растерявшемся, ему в гостиную улыбаются знакомые и незнакомые лица. Мужчина с могучей сивою бородою, с широкой лысиной, столкнувшись лицом к лицу, засмутился наподобие его самого, выказывая неуверенность, заподминал пальцами рукава сюртука, представился:

– Бобрищев-Пушкин, Павел Сергеевич.

«Пушкин!» – заложило уши, екнуло сердце. Как близко он подошел к своему началу: Пушкин даже в фамилии людей, подающих ему руку.

Поручик Бобрищев-Пушкин служил по квартирмейстерской части при штабе Второй армии у генерала Юшневского, на Украине. Осужден на пятнадцать лет каторги с последующим поселением навечно. Поэт, он сочинял басни. Обозревая события девятнадцатого столетия восстания, попытки подавления их – он философически снисходительствовал в «Браге»: «Свое всегда возьмет закон природы!». Вильгельм Карлович наслышан о нем: не только поэт, но и математик, философ; постигает врачебное искусство: десять лет как за малым дитем ухаживает за своим душевнобольным братом. Внушительной внешностью он напоминает Вильгельму Карловичу бога по имени Саваоф.

Рука, поднимающаяся навстречу поданной, незаметно подрагивает:

– Кюхельбекер.

Музыканты опустили смычки – представления начались.

На казенное пособие существующий неимущий Павел Сергеевич жил в доме у Свистунова – лучшем в городе. Они проходят к банкетке, стоящей вдоль стены, между окон, – садятся.

Лепные потолки, печи «голландки», стеклянные двери.

Паркет навощен, играет огнями.

– Каково самочувствие брата? – спросил Вильгельм Карлович и почувствовал: спрашивать было нельзя. – Саваоф спрятал глаза за

бровями, в волнении заскользил ладонями по коленям. Попытался выправить положение: – У него случаются мгновения ясного ума?

«Ясного ума!» – подумал Павел Сергеевич. Поручики, они с братом были республиканцами, поддерживая Пестеля, стояли за решительные действия, для его «Русской правды» писали дополнение по квартирмейстерской части... Был ясный ум!

Он прямо не отвечает:

– Наше предприятие стоило нам дороже, чем думают в свете. Мой брат был талантлив во всем, особенно в поэзии, – Павел Сергеевич поднял голову, показал глаза, в них собиралось воспоминание. – Уже в пансионе писал, семнадцатилетним:

*Предмет великих душ, надежда их и сила,
Бессмертие! внуши из праха голос мой!
Где тайная судьба твой трон соорудила?
Куда меня влечешь и – властью какой?*

Да, нас волновало великое, мы готовы были служить ему, постичь, достойный след на земле оставить...

*Нет, не исчезну я, как былые от зноя;
Господь, создав меня, «бессмертен будь» изрек;
Так – вечность наша цель, цель горнего покоя,
К которой каждый час стремится человек!*

Вильгельм Карлович потрясен совпадением мыслей юноши – давнего юноши! – с его теперешними собственными... Общество их было объединением единомышленников.

– Петр Николаевич Свистунов.

Хозяин дома наряжен не на французский, не на английский манер – по-русски. «Педро Гривальдес»: усы, светлорусая грива, бакенбарды – единая буйная поросль; как в Петербурге был эlegantен кавалергард, так эlegantен в Тобольске. Все на нем легко, свежо, приточено. Он легок и строен, мужчина неполных сорока двух лет, нынешний письмоводитель губернского статистического комитета.

«Гривальдес» гвардейски четко сдвигает каблуки:

– Приветствуем именитого гражданина России в стенах нашего города!

Бал-маскарад! Когда все это было?! Если продолжительность человеческой жизни в их веке много короче прожитой им, то кто он? Старик!

Внимание единомышленников льстит. Даже ревнивая мысль проскальзывает: человечество хоть и с запозданием, но приветствует в нем поэта. Иронически улыбается своим баргузинским мечтам о всесветной славе.

Урезонивает Свистунова словами Исая, пророка:

– Не носите больше даров тщетных, воскурение отвратительно для меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие и празднование.

– Вильгельм Карлович! Вы на суверенной территории моего дома – законность гарантирована, – вольно трактует «беззаконие» Петр Николаевич, но с намеком: – А каторжника называть бездельником ни у кого не повернется язык. Честь же по заслугам.

Кюхельбекер обращается к молча сидящему рядом Бобрисшеву-Пушкину, он хоть и тех же гвардейских лет, а Саваоф:

– Какова молодежь!

Саваоф шевелит бородою:

– Орлы! Коня и саблю в руки!

Дом наполняется пробною музыкой, звуки вот-вот обретут стройность – и начнется утверждение прошлого в настоящем.

– Иван Александрович Анненков!

Гвардейская статья, решительное лицо: крупное, русское – темнорусая рожь от горизонта до горизонта. К таким могут ехать, лететь, бежать женщины, преодолевая препятствия, казалось бы, непреодолимые. «Я мать его ребенка!» – выложила перед Императором, не пускающим ее в Сибирь к Анненкову, Полина Гёбль, нынешняя Прасковья Егоровна. И препятствия рухнули.

– Рад видеть вас, рад слышать, счастлив пожать руку, вдруг и в моей заиграет силушка!

Иван Александрович улыбается широко, белозубо: кавалергард!

С друзьями делимся всем!

И это истинно: чувствующие себя звеньями одной цепи, они радели о ее целостности. Вильгельм Карлович озаряется мыслью, спешит поделиться ею. Встает, переваливаясь, кадык ходит вверх-вниз:

– Господа офицеры Кавалергардского полка!

Смолкает музыка, стихает говор в гостиной, похожей на зал для балов.

Он свел их в привилегированный полк, чтоб доказательней выразить свое проникновение в тайну их молодости, жизнеутверждающего бытия.

– Господа офицеры Кавалергардского полка! – повторил.

– Рад вашему единению. Вы будто и не выходили из него, будто он переведен в Тобольск.

Сказал и понял: они знали об этом – что сильны единением. Захлопали в ладони – заплескали руками:

– Спасибо, Вильгельм Карлович!

Бобрищев у него с одной стороны, с другой – Фонвизин, молодой Фонвизин, старше его десятью годами. Он будто тоже кавалергард, измайловец.

Еще союзник. Столоначальник губернского правления прибыл на вечер последним из предосторожности: генерал-губернатор не одобряет общения людей двадцать пятого года, принятых в службу с непринятыми. Далеко Омск, да вести быстро доходят.

Замкнутое лицо. Строги высоко поднятые брови, аккуратно уложены волосы, бакенбарды распушены.

– Семенов. Степан Михайлович.

Непременное свойство прошлого – жить в настоящем. И в будущем. Вошло в зал вместе со столоначальником, приглушило музыку, праздничные голоса, отодвинуло настоящее.

– Не удивляйтесь, мы с вами давно знакомы, – поднялся навстречу Вильгельм Карлович, – о вас много лестного рассказывал мне Грибоедов. – Заговорщически перешел на шепот:

– Московский обер-полицмейстер ныне не интересуется вами, секретарь Коренной управы Союза Благоденствия?!

Орловский семинарист Семенов был главою и славой студенчества Московского университета, когда в нем учился Грибоедов.

Они понимающе рассмеялись.

Сын ялutorовского протоиерея Знаменского оставил недоуменные строки: «Смотрю, бывало, как тобольский кружок одинаково любезно говорит и со своими, и с чиновным наростом города, как они обмениваются взаимными любезностями с губернатором, и я уже мысленно в Ялutorовске. Увижу ли двух или трех тобольского кружка во фраках с золотыми пуговицами, как уже снова в голове вопросительный кол, и недоумеваю: «Неужели они чиновники? Неужели от них мужики плачут и идут к Ивану Ивановичу Пущину – сделай-де, что можешь, сделай божескую милость, а идти более не к кому».

Вильгельм Карлович смотрел на веселье вечера, и тайная мысль, появившаяся во дни иркутского гостеванья, вновь всплыла, но он не произнес ее вслух, лишь опять увидел себя на отшибе, на обочине... Они – в службе, в полку, он – в литературе. А какая она, теперешняя?! Впадал в крайность: Карамзин писал историю России, ныне пишут историю царствований; нет русского народа, есть самодержавие, двор. Будто они и есть Россия.

Им владело чувство, что он прожил за эту дорогу больше, чем за все годы ссылки...

Он обобщал; готовился нечто важное сказать миру.

XXI

Дорога таяла. Следы наполнялись водою.

Двадцать второго марта тысяча восемьсот сорок пятого года Вильгельм Карлович Кюхельбекер со фамилией въехал в город Курган. Но у всемилостивейшего государя, соблаговолив-

шего изволить смягчить участь государственного преступника, в последний момент дрогнула рука: не город Курган, но слобода Смолинская!

Еще слепяще бел снег на крышах, в полях за городскими строениями, но с карнизов свисают сосульки, чернеют следы, наполняясь водою, в деревьях палисадников по-весеннему звонок щебет птиц.

Лавки торгуют мелочным товаром – бумажными и набойчатыми платками, шелками и сукнами, обувью, мылом; для киргизцев имеются сундуки, окованные полосками жести, железные и чугунные изделия.

Он бродит по улочкам, прямолинейно заложенных военными инженерами – город построен в давние годы крепостию для защиты от башкирских и киргиз-кайсацких набегов, – и наслаждается тишиной...

Не то чтобы шумными были места ссыльных его поселений, не то чтобы досаждали, но какой-то особый дух, какое-то особое внутреннее состояние у города, суть, овладевающие человеком, напитывающие его и умиротворяющие. Соседствующие ли киргизские степи, даже под снегом пахнущие травой и кумысом, хлебопашеские ли наделы, по случаю марта пахнущие не зреющими колосьями, но свежeweыпеченным хлебом, великие ли дали, раскрывающиеся с любой улицы, несут это ощущение мира и тишины?

В душевной раскрытости, легкости ему хочется общенья с друзьями. К трепетному существу, веря в его взаимную настроенность, обращает он рождающиеся строки, к княгине Волконской. Пиитическое волнение посторонних звуков не слышит, через реки и горы, через пространства Сибири токами чувств и мыслей тщится донести уверения в преданности свету юношеских идеалов... «Оставить я хочу друзьям воспоминанье, что тот же я...»

Он облюбовывает для ссыльной жизни своей, для себя Курган. Обращается с просьбою к губернатору.

А пока, отводя подозрения в попытке неповиновения властям, останавливается посередине: ни в слободе, ни в городе, а

в домике на левом берегу Тобола, в полуторах верстах от сих пунктов. Будто предоставляет случай проявить великодушие: какая разница, где будет жить Кюхельбекер – по ту или другую сторону от избранной им точки стояния?

Острые колени важно откидывают полы суконной поддевки, гордо закидывается смещающаяся в ходьбе взад-вперед голова.

Он норовит заводить разговор со встречными, не удивляясь немногости их; городок такой – тихий.

– А скажи-ка, сударыня, как сия часть города называется? – останавливает прохожую, поворачивая голову в сторону якобы интересующей его части.

Сударыня, издали заприметившая странную фигуру, противоестественную на низких улочках, и давно признавшая в ней очередного из каторжан, высланных на поселение, быстрым шагом огибала его и удалялась, оглядываясь. Их, таких-то, откуда только не побывало! Даже из Царства Польского. Этот и вовсе видом из земель неведомых.

Он не нуждался в ответе, сам давно ознакомлен с городом, разделенным зданиями на три части. В средней по обывательским домам размещены присутственные места. Верхняя часть именуется Шавриной, нижняя – Тихановой, по фамилиям первых жителей, поставивших там дома.

Старый оборонительный вал с обвалившимися откосами, ров, заросший травой, бурыми пучками выбивающегося из-под снега.

Каменная церковь, две кожевни, одна мыловарня.

Четыреста пятнадцать верст до Тобольска, сто шестьдесят – до Ялуторовска.

Из людей декабря, поселенных в Кургане, никого близких нет.

Итак, он все-таки возвратился.

Раскрыт заветный сундук, окованный жестью, перебраны рукописи; зачинены перья, на столе белеет бумага – зовет к ра-

боте. И даль раскрыта в окне, во всю даль – солнце... Засучивай рукава!

В голове толпятся образы, строки, не строки – целые строфы, целые стихотворения от начала до точки. Их много – любое переноси на бумагу... Какому отдать предпочтение? Но перо останавливается над бумагой, молчит, нависнув, – слова не сходят.

Известное дело, привычное: от головы до листа у стихотворного слова путь долог; иногда оно его так и не проходит. Совершить не может. Но... Борьба с собою – тоже борьба.

Пока есть время – занимайся бытом: купи или построй дом; естественно, чтоб с огородом: Дронюшка без него не может, без земли, уткнулась в нее – не оттащишь.

Хозяин – Вильгельм Карлович подозревает его в скопстве: молочным блином лицо, бабий голос, оплывший зад, округлы движенья – помогает советом, приводит людей, готовых поставить дом. Его люди – как его двойники: скопцы скопцами. Но имеют шныряющие глаза, шарящие руки. Заглядывают в сундук, каждую вещь ощупывают. «Чем платить будешь?» – спрашивают.

Он нищенствовал все годы ссылки, жил на подаянье – наступила пора определить свое существование обнаженным словом. Вильгельм Карлович определял его и раньше, но не столь прямо.

Однако какой человек, какой бы крови он ни был, живёт без припаса на черный день, на случай что ни на есть крайний? Литература не только воздух, но и хлеб писателя: пусть она его и спасает. Что может его литература? В тридцать пятом году по ходатайству Пушкина пред Императором – без имени автора – изданы две части поэмы «Ижорский»; в ней главный герой – другой Александр Сергеевич: Грибоедов, его двойник. В тридцать шестом – «Русский декамерон 1831 года»... Юстина Карловна – дальнзоркая жительница сего мира – приберегла кое-что из изданий, переслала ему в Сибирь: «Это твой крайний случай!». Его сестра – его ангел-хранитель: столько веры в талантливость брата! Он берег драгоценные экземпляры, в ми-

нуты смятенья приходил к ним: трепетали руки, держащие книжицу, глаза не могли насмотреться, а душа отходила... Теперь черного дня не будет, не может быть. Даль раскрыта в окне, во всю даль – солнце.

В Урике, у Волконских, Вильгельм Карлович имел радость познакомиться с братьями Поджио – Иосифом и Александром – аристократами италийского корня, по воле судьбы оказавшимися не только офицерами русской службы, но и царскими «друзьями двадцать пятого года». Нашелся выстроить каламбур: южане по происхождению и по принадлежности южане: Вторая армия, Тульчин.

Александр – учитель детей Волконских. Приезжал на неделю из селения, назначенного ему для жительства, задавал уроки, приезжал другой раз – проверял. Княгиня требовала порядка и строгости – Елену готовила для выгодного замужества, Мишеньку – для большой карьеры.

Братья выманили Кюхельбекеров на денек в свою Усть-Куду. Избушка с голубым дымком над снегами, метеный дворик, крестьянский стол, простота и радушие. Дронюшка ласкала глазами деревянные ложки, чугуны, сковородки, ухваты – лицо добрело, освещалось улыбкой, смягчалось. Вдохновенные говоруны братья за каждым словом ей белла донна да белла донна... Вильгельм Карлович понял, кому доверит свой золотой запас. Тем более, что – каламбурил – братья выходят на настоящее золото: ищут связей с золотопромышленниками.

Он пишет Поджио – пускайте в оборот!

Будут деньги на дом и на шубу. Обязательно на лисьем меху!

Дни не спешат.

Проходит очарование городком, подступает насущное: где будет жить, на что содержать семью? Людишки, решающие его дела в Кургане, кажутся Вильгельму Карловичу непорядочными, желающими ему лишь неприятностей, посягающими на его

имущество, особенно – на рукописи. В Оёк к Трубецкому уходит письмо, где счастливые воспоминания и горькие сетования: «...Я теперь опять один, потому что, хотя здесь и есть наши, однако Вы согласитесь, что с ними нельзя мне так делиться мыслями и чувствами, как с иркутскими или тобольскими моими друзьями...»

С «нашими» он еще не встречался.

Ответа от властей нет. Не приходит его и от Поджио.

Они вчетвером жили в горнице на время снятой избы, о потолок которой, выпрямляясь, он стучался головою, садясь и вытягивая ноги, не давал пройти домочадцам. Дети – один переступал, другая – перелезала, а Дронюшка злобно трясла молодым лицом, в нитку тянула губы. Дикий ветер степей щекотал ей ноздри, они округлялись, твердея, и, казалось, змей-горынычев огонь полыхал из них:

– Карлуша!

Она была незаметной в Тобольске, в счастливый круг его встреч не входила, оставалась вонне... «Что мы с тобою надела-ли?! – думал. – Нелепей женитьбы не может быть... доила бы сейчас коров, ездила бы с мужем своим верхом на лошадях по лесам да пашням; твой муж мог быть казаком, охотником, русским или бурятом, с тем или другим, но ты могла бы быть счастлива. Зачем я взял тебя в круг, противный твоему естеству?!»

Он выходил во двор. Кашлял. И казалось ему, что выкашливает себя. Раз от разу – и меньше остается его, Кюхельбекера. Когда-то кашляет в последний – только душа воспарит на небо. Но души не умеют держать перо. А перо – его жизнь. Ужель вечное существование души не есть жизнь?! И понимал, что впадает в безбожие. Молитвы его становились жарче, продолжительнее. А глаза слепли, мало что видели. Или не хотели видеть?

Кто-то громко, чтобы слышали, пообтирав на крыльце сапоги, хлопнув дверью, вошел в горницу.

Сразу стало тесно, убавилось света и воздуха.

– Басаргин, Николай Васильевич. По стечению обстоятельств – эскулап.

Французский Николая Васильевича заставил Вильгельма Карловича спустить ноги с кровати.

– Добрый день, – шевельнул рукою, приглашая сесть. Осмотрел рябоватое лицо со впалыми щеками и небольшим носом. – Спасибо за посещение. – И перешел на французский: – Я в таком бедственном состоянии, что ваш визит меня ставит в затруднительное положение. Надеюсь, мсье Басаргин правильно поймет и не осудит меня.

– Не тревожьте себя стесненными обстоятельствами. Людьми, живущим не так, как могут, а как им велят, считаю, излишне приносить извинения.

– Согласен, мсье Николя, – сказал он с изяществом, кутаясь в одеяло, дабы контрастнее выглядеть, униженнее. – Но все вконец надоело.

– Я потому и представился эскулапом. – Смотрел Николай Васильевич на безжизненно-вялого Кюхельбекера и думал: «Физические страдания наложились на страдания души, и жизнь потеряла для него значение. Неминуемая станция на нашем кандалном тракте». – Получил письмо от Ивана Ивановича, спрашивает о вас, а вы ни у кого из наших не были, городу же известно, что вы прибыли, у нас и мышь не проشمыгнет: две с половиной версты длины да ширины пятьдесят сажень. Вы из конца в конец видны, – пошутил неловко.

– Тому были причины.

Он обнаруживает новую обиду, живущую в нем: к нему пришли потому, что спросил Пущин. Как же – лицейский товарищ Ивана Ивановича! Он несет на себе отсветы чужой славы. Не будь их – никому бы он не был нужен, хоть трижды имей семь пядей во лбу, Кюхельбекер!

– Мы живем, не упуская друг друга из виду: в нашем возрасте, в положении нашем мало ли что может с каждым случиться. Вы уж, пожалуйста, тоже не сторонитесь.

Горница – колени в колени. Горница, в которой все низко: окна, двери, потолок. Лишь порог высокий – «Чтоб спотыкаться, как всюду!» – И долгий французский – за полночь разговор. Русский французский.

Вильгельм Карлович, чувствовавший себя одинокой сосулькой на одиноком карнизе, таял, превращаясь в каплю живой влаги.

Басаргин, «южанин», поручик егерского полка Второй армии, откровением и душевностью расположил его сердце к себе, повернул. Оно не могло бы не повернуться – в жизни Басаргина было не меньше ударов судьбы, чем у него. Да и кто их не испытал?!

Николай Васильевич носил в себе великое горе.

Счастливая любовь, счастливый брак в юности. Но через год после свадьбы жена умирает от родов. Он считает себя виновным в ее смерти, готов уйти в монастырь или покончить с собой. Но она, умирающая, говорила: «Дурачок ты мой милый, глупый ты мой. Я счастлива. Ты живи и будь счастлив!» Он до сих пор в недоумении: чем счастлива? И говорить это, уходя в иной мир?

На поселении к нему приходит вторая любовь.

Дочь офицера Марья Алексевна, Мари, Машенька становится его женою, она воздух его, его дыханье.

Голос Николая Васильевича черствеет, брови надвигаются на глаза.

– Женщины в чьи-то жизни входят, чтобы спасти, в мою вошла – чтобы предать.

Тяжкий грех – нарушение супружеской верности... Преступная жена с матушкой пишут покаянное письмо Его Величеству: да разрешит грешнице постричься в монастырь.

– «Псовая болезнь – до поля, – ответил Государь, – бабья – до постели...» – Николай Васильевич сказал и прикусил язык: – Простите меня, Вильгельм Карлович!

– Действительно, мы своею мудростию уже мудры.

Басаргин тихонько смеется:

*В та поры научился Волк ко премудростям:
А и первой мудрости учился:
Обертываться ясным соколом,
Ко другой-то мудрости учился он, Волк,
Обертываться серым волком,
Ко третьей-то мудрости учился Волк:
Обертываться гнедым туром – золотые рога.*

Хлопнула калитка, разъединившая их. Но они стояли, разъединенные, не в состоянии разъединиться словом. Но и этому наступил черед.

– У вас грудная чахотка. Здесь я могу помочь. А с глазами надо ехать в Тобольск, к Вольфу...

Крупные звезды висели над тихим городом. Мир окруженный звенел лунным звоном степей и неба.

Он размышлял о сути человеческого бытия, о его превратностях. Не о себе думал, о человечестве. И знал: завтра для него иной день наступит.

Он не один в несчастьях совершает свой земной путь.

А Дронюшка спала во дворе с детьми под тулурами на телеге.

«Супружество нам будет мукой».

Как велик Пушкин!

XXII

Апрель для него – самый удивительный месяц: от снега до зеленых листьев на деревьях. Он видел в нем отображение человеческой жизни, но в перевернутом виде: начало в конце, конец – в начале. Но если быть последовательно логичным – все возвращается к началу. Первый день месяца по всей Европе празднуется как день дураков – день веселых розыгрышей, обманов, незлобливых насмешек: человечество впадает в детство, как старость, к которой он приближается, Кюхельбекер.

Снег, утекая, как пряжа в нитки, превращается в ручьи, веселые птицы звенькают в мирном воздухе, а власти молчат.

Дронюшка громыхает ведрами, железный гром повторяется в голосе:

– Апрель на дворе, люди о припасах на зиму бьют голову, а нашему Карлуше Евдокия-Свистуха не дует в уши – на сестрино да племянниково надежа!

Он привык к наскокам ее, к азиатским набегам – молчит, скорбя. Самый близкий ему человек знает: он не может ничего изменить не по неспособности – по милости обстоятельств, но не упускает случая кольнуть именно этим. Он называл женушку пузырьком с ядом, надеялся, что пузырек не бездонен, но дна там не оказалось. Да и не яд выплескивала она – злобу... Он виноват перед нею не в том, что не сеет, не пашет, – в том, что ее муж.

Который раз повторяемое оправдание облегчения не давало.

Он уходил в город, бродил с товарищами по улицам, чувствовал: жизнь еще теплится в нем, подает признаки существования при воспоминаниях о днях молодости.

Александр Федорович Бриген, в прошлом полковник, оказался близким знакомым Грибоедова, Трубецкого, Оболенского.

У него открытое лицо, светло-карие глаза и прямой нос. Он осмотрительно важен, ибо имеет в курганском обществе вес: служит в окружном суде.

– Вы знаете, Вильгельм Карлович, – берет он под руку на безлюдной улице Кюхельбекера, – я первый из всех нас ступил на стезю, приведшую сюда: еще в детском Союзе Благоденствия состоял членом. Там же, однако, были одни разговоры – господа собирались убить время за изложением мнений.

– Тогда говорили повсюду – время настраивало. Мне виделся в этом поиск единомышленников: начали образовываться кружки, артели, общества. – Он клонится на ходу к голове Александра Федоровича, кривится боком, рост не в рост. – Но часто повторяемые слова имеют свойство терять смысл. С вами не бывало такого: при письме вдруг забываешь или значение слова, или его написание?

– С годами все чаще.

– Вот в чем опасность! Люди превращаются в резонеров, осмеянных в некие времена Грибоедовым.

Бриген, в кургузом мундирчике чиновника заштатного суда с двумя рядами оловянных пуговиц, попридерживает шаг, берет Кюхельбекера за локоть. Память свою он сравнивал со старым сеновалом, где паутина и плесень, куда не хотелось входить. Он готов сказать, не только со словами происходит такое, но и со знакомствами: одни и те же лица при малом числе их становятся неотличимыми и главное – не тревожащими память, не пробуждающими чувств. Вот приехал он, Кюхельбекер, и словно крышу снесло над сеновалом. Но, может быть, думает Александр Федорович, это очень личное, и говорить об этом не стоит...

– Я долго воздерживался от представления Грибоедову: в свете ходили черные слухи о его щепетильной роли в дуэли графа Завадовского с поручиком князем Шереметевым из-за Истоминой.

– Каков Курган! В нем ведутся светские разговоры, – вспоминает о своем нищенском положении Вильгельм Карлович, поправляет картуз с большим козырьком, придуманном для защиты глаз от яркого света, – да, Истомина, ею бредили, писали стихи: «Смычку волшебному послушна...», уезжали, лишившись надежд, за границу, стрелялись... Грибоедов пользовался в то время славой кутилы, прожигателя жизни. Так что слухи могли ходить. Я знаком с ними.

– Но дуэль кончилась смертью графа Шереметева... Этим не кончилось: стрелялись их секунданты – Александр Сергеевич с Якубовичем, Александром Ивановичем...

Город дышал весной, улицы пахли пряно, в рассеянном свете дома теряли очертания, из-за степей, из-за гор доносился ветрами, но еще не был слышим журавлиный клик.

– В шести верстах вверх по Тоболу имеется бугор, Царев Курган, откуда и пошло имя городу. Курган знаменит тем, что в нем погребались прежние володители этих краев. Так что мы

с вами ходим по истории неизвестных племен, оставляем следы на непрочтенных следах. — Александр Федорович по праву старожила потчует новоприбывшего частностями. — У герба города зеленое поле, а на нем два серебряных кургана. Откуда появился второй — неведомо. Может, в прежние, забытые времена был?

Ему и легко, и странно: стоило появиться новому человеку, как появилось то, что казалось навек утраченным — желание делиться, раскрыть человеку душу. Не ахти какие поверять секреты — то, чем жив.

— До поры до времени мы существуем с властями как равные, но попадает им шлея под хвост — идут недвусмысленные намеки: кто они и кто мы?! Но ходим в гости, сидим за одним столом с городничим, крамольными мыслями делимся, а он крамолы не замечает. Мы даже пришли к выводу, что правду властям не надо сразу всю говорить, надо ее выдавать порциями — тогда она безобидна. Только кому она такая нужна, безобидная правда?!

Бриген будто не помнит, что уже ввел Кюхельбекера в круг гостей городничего: Антон Антонович за это даже выразил ему благодарность; будто не помнит, что тогда же рекомендовал ему Антона Антоновича как странного человека: ворованных лошадей чаще находят в его конюшне, а самих воров не находят, отчего закрадывается подозрение, что воровские дела управляются кем-то из чинов полиции.

Их сближало петербургское время, они чувствовали себя давними друзьями. «Корова, которая пала, всегда давала много молока», — вспоминалось Мишелево. Вильгельм Карлович устремлял взгляд в даль и высь:

— Я познакомился с Грибоедовым сразу по выпуску из Лицея, в семнадцатом. Девятого июня в коллегии иностранных дел нас приводили к присяге о неразглашении государственных тайн в таком порядке: Грибоедов, Кюхельбекер, Пушкин... Грибоедов тогда же и стал моим любимым вторым Александром Сергеевичем. У меня много стихов посвящено ему:

*В его груди, восторгами томимой,
Не тот же ли огонь неодолимый
Пылал, который некогда горел
В сердцах метателей господних стрел, –
Объятых духом Вышнего пророков?..*

Бриген посмотрел на него снизу вверх. Резко изменившимся голосом произнес неожиданное:

– Знаете, Вильгельм Карлович, мы не на Сенатской площади протоптались полдня – в первой четверти века протоптались.

На высоком лбу Александра Федоровича обозначаются морщины. Чиновничьи пуговицы тускнеют: на таком человеке не таким пуговицам, не на таком виц-мундире блестеть бы.

Из людей, в дерзких суждениях решающих судьбы империи, они превращены в неспособных решать собственную.

– Каторга для меня обернулась бы гибелью, не живи мы артельно, выйдя на поселение, я остался без средств, но и тут мне подало руку содружество: через Жуковского на мое имя стали приходить деньги. Я думаю, не от самого Василия Андреевича – мы с ним не настолько близки...

– Вполне может быть, что и Жуковский, – у Вильгельма Карловича есть основания для предположения. – Я еще ребенком зачитывался его стихами, а в семнадцатом был представлен ему. И сейчас с наслаждением вспоминаю тот благоговейный трепет, с каким вошел в его квартиру. Мы сделались друзьями, и он не лишает меня сердечного участия по сю пору. Он был в Кургане с Наследником.

– Знаю.

В весенних заботах народ во дворах, в огородах. Стучат молотки, тюкают топоры, телеги ставятся на колеса. На улицах – ни души.

Александр Федорович говорит:

– Оказавшись в Кургане, не без труда, не без измывательства я добился места в окружном суде. Много там увидел, – и смолк. Заложил руки за спину, придав чиновной своей фи-

гуре значительность: – Наше крестьянство в таком состоянии, что ему, кажется, уже ничем нельзя повредить. Но, живя в таком убеждении, я недооценивал способностей государственных деятелей. Киселев, некогда наших же воззрений человек, а ныне министр государственных имуществ, своими нововведениями нашел способ усугубить его положение...

«Господи, – думает Кюхельбекер, – мы так разнимся судьбами, единомышленники».

– ...Крестьянство заволновалось по всей России, в Сибири – тоже. Правительство, естественно, принялось за расправы, – продолжает Александр Федорович фон дер Бриген.

Его участь на поселении решалась много раз. Теперь замышлялось послать его рядовым на Кавказ: обнаружив подлог в деле об убийстве, случившемся в одной из волостей, он написал протест генерал-губернатору, который счел его выражением прежних неудовольств автора. Государевой волей отрешенный некогда от первой семьи, от второй, сибирской, он отлучить себя не позволит.

Мысли Вильгельма Карловича меняют русло. «Что за непостижимо великое существо – женщина? Рождает детей, косит сено, вскапывает огороды, не заботясь о собственной жизни, бросается на помощь другим, более сильным, и еще успевает поймать сердцем лучик счастья, – думает он. – Неужто Прародительница Земля передала ей заботу о роде людском, о всяком, каждом, как о чаде своем?» И в женщине он видит Праматерь.

Местные девушки за одного-другого из них выходят замуж, не понимая, на что идут. Или понимая?

Туруханский поселенец при невыясненных обстоятельствах погибает на пути из Енисейска, оставляя жену-казачку с двумя детьми, беременную третьим, а ей и перекусить нечего...

Байкальский поселенец, может быть, встревоженный этим, при расстроенном здоровье и расстроенных наследственных делах, тайно просит начальство не дать разрешения на его брак с девушкой, чье согласие уже было скреплено печатью.

«Славянские женщины считают смерть мужа своей смертью, — древние страницы шелестят в памяти Кюхельбекера, — и добровольно удушают себя, не считая пребывание во вдовстве за жизнь».

«Если у покойника было три жены, то та из них, которая утверждает, что она особенно любила его, приносит к труп его два столба и вбивает их стоймя в землю, потом кладет третий столб поперек, привязывает посреди этой перекладины веревку, становится на скамью и конец той веревки завязывает вокруг своей шеи...»

Вильгельм Карлович устал, просит Александра Федоровича проводить его домой. И жалеет, что нездоров — жизни остается мало. Он, двадцать лет принужденный стоять на ее обочине, много неправильного надумал о людях и времени, для неспешных выводов жизни подольше бы надо.

Отмеряет с Александром Федоровичем свои полторы версты, тревожно думает: «Когда ответ будет?!»

С тем же в избе становится на колени, творя молитву. В нем что-то надломилось и рухнуло. Он не понимал — с чего? Разве все эти годы жизнь обходилась с ним лучше?!

XXIII

Басаргин критически шурил глаз на свое искусство: не призвание, повороты судьбы превращали во врачей офицера. Отверженным, им надо было для самих себя становиться плотниками, огородниками, механиками, кузнецами. За лечение страждущих взялся он... Наблюдает за Кюхельбекером, изучает.

В неустойчивом состоянии духа Вильгельм Карлович то полагает, что вера должна быть естественным состоянием человека, ненавязываемой, он должен дышать ею, как воздухом, то видит ее осмысленной, рассуждающей; то обличает зло единоправия, то пишет «Толкование молитвы господней» и посвящает ее наследнику. Здоровье его никуда не годно. Намедни глаза разболелись так, что пришлось ставить горчичники и пиявки.

На тихом дворе, средь молодых деревьев, распускающих почки, стоит среднего роста барственный человек не античной, но вечной мужской красоты. Его тело стройно и крепко, складки белоснежной рубашки обрисовывают упругие формы руки, покоящейся на черенке лопаты. Темнорусые волосы по моде уложены парикмахером, усы аккуратно подстрижены, брови идеально ровны, карий взгляд насмешлив и приветлив одновременно.

Сердце Вильгельма Карловича захлебывается завистью. Сколько ее у него на все! В своем обвисающем сермяке, в картузе с нелепым козырьком, сутулый и тощий, он видит себя Аникой-воином пред Марсом, пред Аполлоном Бельведерским.

Князь Дмитрий Александрович Щепин-Ростовский.

Это он вместе с Бестужевым своею решительностью, не останавливающеюся пред применением оружия, привел на площадь Московский полк – двадцатисемилетний штабс-капитан гвардии.

– Николай Васильевич! – мягко рокотнул в медлительности баритон. – Вы предугадываете желания. Вечеру сам собирался навестить милостивого государя Вильгельма Карловича. – Рука снялась с черенка, но не упала, последовала вперед в такт по-армейски начавшемуся с левой ноги шагу.

– Безмерно рад! Вы принесли свет Сенатской, на которой мы с вами... были не из худших! – рука Дмитрия Александровича, узенькая и мягкая, легла в его шершавую и большую. – И свет лучших имен России: двух Александров Сергеевичей!

– Ах, князь, – расчувствовавшись, роняет стыдные, самопроизвольные слезы лицейский забияка Кюхельбекер – пекарь пуль, Кюхля, превратившийся в Кахлю, немощный, жалкий. – Вы истинный рыцарь.

«Вот кто может благоприятно подействовать на Кюхельбекера, – подумал Басаргин, – благополучьем здоровья, княжеской широтой». Вслух же сказал:

– Дмитрий, мы задумали большой поход: возьмем Башмакова – и к Ивану Семеновичу, старик совсем слаб. Дорогой наговоритесь...

П. Н. Свистунов. 22 апреля 1845 г. В. К. Кюхельбекеру

«Вы пишете, что не знакомы с Иваном Семеновичем. Почему Вы не попросите Николая Васильевича Вас к нему свести? Велика беда, ежели он Вас примет в постели! Я желал бы, чтобы Вы с ним познакомились. Вы могли бы принести ему моральное облегчение...»

Апрельский день у порога мая. Солнце и молодая зелень.

Дмитрий Александрович шагал легко, его французский был легкий:

– Николая, щедрый ты человек на радость: в такой день преподнести мне такой подарок!

Но Вильгельм Карлович не принимал слов, хмурился: упоминание об ответах находил бестактным.

– И толстокож же ты, князь, – тоном предупредил его Николай Васильевич, – паки тонок.

Флегонт Мироныч Башмаков, человек семидесяти лет, суворовский солдат и офицер, полковник Бородина, сидел на завалинке, опершись о палку. Сед и брит по-суворовски.

Поднялся, увидев идущих:

– Дмитрий Александрович!

«Вот-вот, мы пускались в путь, не зная, как он будет далек, как много всего нам надо будет преодолеть. Почему я, почему Башмаков первым замечаем князя, почему? Гении смотрят далеко: Пестель предвидел сию препону... – хмурится Вильгельм Карлович. – Народ, во имя которого мы отрекались от прежних себя, величает нас господами. Может быть, иначе не может? Человечество не может жить обезглавленным, не может осознать себя головою... В какой далекий путь мы пускались!»

– Дмитрий Александрович! – поднимался с завалинки Башмаков, польщенный, неторопливый. – Так почтить стари-

ка: и вы, и Николай Васильич, – даже каблуками неизменных армейских, Бог весть каким путями получаемых, сапог стукнул – и Вильгельм Карлович! Стоило жить Флегонту...

«И меня знает!»

– Эка прелюдия, полковник! – пророкотал княжеский баритон. – Мы с вами такие люди, что выше нас сегодня, пожалуй, и нет на Руси. А вы к тому же для нас живой Суворов.

Князь – и замахы княжеские...

От соприкосновения со Щепиным явления и понятия становились весомей, крупней, значительней становились.

«Правда в словах князя. Я для них из другого века. Рядом с ними – тот и этот век. Не мне перед ними – им передо мной... Эка, куда тебя, однако! Никто ни перед кем – один корень», – думал Флегонт Мироныч.

– Как вам наши места, Вильгельм Карлович? – подошел он. – Надолго ли вы?

Басаргин утверждался в мысли: вот кто в жизнь возвратит Кюхельбекера!

– Все под Богом да под царем ходим, – ответил Башмакову Вильгельм Карлович.

– Истинно, молодой человек, истинно! – у Флегонта Мироныча под черною густотою бровей выплывшие голубые глаза казались безднами. – Кого только не стояло над русским народом. Тишайшие были, грознейшие были, ни то ни се были, даже такие были, которых как бы не было, – он оперся на палку, хмыкнул в усы: – А с амвона при воцарении благочестивые отцы наши одно и то же вещали при каждом.

Не будь встречи с ним, сидящим на завалинке, Вильгельм Карлович мог принять его за сошедший с небес Вечный дух – Всевышний может принимать любой облик.

Башмаков распрямился, палка в руке стала похожей на посох.

– «На Руси бог воздвиг на царство Архистратига силы его... – в семьдесят лет трудно играть роли, по человеческой сути про-

тивные актеру. Он закашлялся, застыдившись подростков. – Тут называй Катерину, Павла, Александра, хоть Николая, хоть за ними следующих: за «Архистратига силы его» идут слова, повторяемые из века в век: кроткого, тихого царя. Христова подражателя. Добр, тих, кроток, смирен и всех милует, всех щедрит».

– Нас в особенности, – вставил Басаргин. – Двадцать лет щедрит...

Башмаков вздохнул:

– Но и мы, господа, не в гуленьки с ним играли, не в ладушки. Что иметь к нему можем?!

– И то верно. Жестоко, но точки расставлены.

Дмитрий Александрович улыбается светло и снисходительно, потрагивает длинными пальцами бакенбарды.

– Он смирен и кроток, и любит нас всех потому, что в России ему другое поколение страху нагоняет. Помните мое слово – он умрет от страха. Уплывут из-под ног киты, на которых стоит, и рухнет его самовластье.

Местное начальство побаивалось князя, держалось на удалении. При желанье напомнить, кто есть кто жаловалось генерал-губернатору; тот для порядка порывивал, увещевая.

Флегонт Мироныч гостеприимно усадил всех рядом на завалинку.

– Страху нагнать-то нагнали, да и он нас лишил немало. Что мы, отторгнутые? Тени. Теперь уж тени прошлого. Таков закон жизни. Новое поколение идет. – Стало видно: он давно занят этим, ему важно высказаться, важно передать мысль другим: – В кормчей книге, в уставе царя Константина, писано: воину, исходящему на брань, подобает храниться от всех неприязненных словес и вещей, мысль же свою к Богу имети и молитвы творити, и обет творити о брани, а не то что всячески сквернословить и неправды чинить». Я думаю: что после брани тако ж.

Они шли к больному Повало-Швейковскому, к Ивану Семеновичу, давно не поднимающемуся с постели. За невозмож-

ностью управляться с домашним хозяйством, с домом, он продал все Басаргину – сам поселился во флигеле.

Потому Николай Васильевич и предводительствовал.

По дороге говорили о том же.

– Вот я семнадцать лет провел в Таре. Только подумать, семнадцать лет в мои годы! И, артиллерии полковник, чем мог уверить себя, что живу? Только что хожу, ем, пью. Душе нет занятий. – У Флегонта Мироныча шаг уверен, тверд, осанка пряма. Смеется: – Тара дыра стара!

Город в самом деле стар. Когда-то через него к Тобольску шел торговый путь от Кяхты.

Вильгельма Карловича понесли черные птицы. Кяхта, Кяхта! Как-то сейчас там Анна Александровна, его чистый лучик. Он в помыслах своих всегда был чист, чистым виделось существо, которое будет рядом. А с ним – Дронюшка! Не лучик света – царство тьмы. Все под рукой ее бьется, под ногою – хрустит. Души их так и не соприкоснулись и не могли соприкоснуться. Хорошо еще, что имени его не чернит.

Он все-таки привык больше слушать себя – казематное приобретение... Но и сылочное – некого было слушать, говорить было не с кем, некому.

Весенний день сер, как его настроение.

А разговор идет.

– Вот и Иван Семенович. Такая фамилия – Повало-Швейковский! Почитай, вся моя настоящая, не фуфлы-муфлы жизнь прошла рядом с этой фамилией. И в Крыму, и в Италийском походе, и в Отечественную... Болеть – дело некудышное. – Флегонт Мироныч незаметно ускоряет шаг, незаметно голову поднимает выше. – «Бойся богадельни! Немецкия лекарственницы из далека, тухлые, всплошь без-сильныя и вредныя; русский солдат к ним не привык. У нас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. Солдат дорог! Береги здоровье! Чисти желудок, коли засорился; голод лучшее лекарство! Кто не бережет людей – офицеру арест,

унтер-офицеру и ефрейтору палочки, да и самому палочки, кто себя не бережет...»

Он повторяет своего Бога Суворова, запахи походных костров щекочут его ноздри, в глазах синеют дали, в сердце гремит время, в котором он был человеком...

Он знал назубок «Науку побеждать». Его солдаты – тоже. Из дня в день учили они мудрые наставления генералиссимуса, особенно в части, касающейся сохранения здоровья: победы, слава и жизнь – в нем.

О том же наставляла Вильгельма Карловича княгиня Волконская.

«Что проще, неприхотливей русского человека устроено, – думал Щевин-Ростовский, независимый, гордый. – Такая нация способна на то, что она сделала для человечества. А что еще сделает – самому Богу неведомо, только сделает много».

XXIV

Иван Семенович был плох.

Кюхельбекер навещал его каждые два дня, отвлекал разговорами, но тень смерти лежала на лице Повало-Швейковского.

Степные ветры торопили с юга весну. Из маленьких почек, неприметных, серых, вырывались ярко-зеленые листочки, превращались в листья и уверенно лопотали каждый сам по себе и все вместе, рождая могучий Зеленый шум жизни. Под стрехами конопляников щебетали ласточки. На коньках крыш, на сухих кустах репейника у дуплянок пересмешничали скворцы, широко раскрывая клювы и трепеща крыльями.

В тот раз всю колонию союзников они появились перед Иваном Семеновичем. Он попытался подняться, но сил не хватило. Щепин бросился на помощь, подхватил запрокидывающееся тело, подбил подушки, высоко уложил на них.

– Нemoщь телесная не есть свидетельство слабости воина. Помните у Гейне: «Я не погиб, еще оружие цело, и только жизнь иссякла до конца».

– Истинно так, Дмитрий Александрович. Однако воину и надлежит умирать на поле брани, не в постели. Не солдатское это дело...

Вильгельм Карлович представился.

– Вы мне давно известны, батенька мой, давно, – лоб страждущего покрылся испариной, он тяжело дышал, часто, промокшая сорочка западала на груди, выпирали ключицы. Щепин вытер ему лицо полотенцем, висевшем на спинке кровати, видимо, часто приходилось им пользоваться. – Спасибо, князь. Вот вам и «оружье цело». – Он подышал, уравнивая сбитый разговором ритм, продолжил: – О вас много рассказывали мне Грибоедов с Якушкиным. Мы с ними граничим именьями у нас на Смоленщине – дворянские гнезда Повало-Швейковских, Грибоедовых, Каховских, Якушкиных. С Александром Сергеевичем и Иваном Дмитриевичем мы и в пансионе при Московском университете вместе учились. Да и под Бородином были вместе...

Слушая Ивана Семеновича, сидели они рядом вдоль стены на стульях, чувствуя себя виноватыми перед ним.

Щепин запахнул сюртук, чтобы меньше была видна ослепительная манишка, прикрыл рукою на другой драгоценные кольца; а Николай Васильевич увидел в профиле больного что-то отдаленно напоминающее пушкинское – длинным ли прямым носом, летящими ли бровями, бакенбардами ли, но увидел и отвернулся в угол. Думал неутешительно: не жилец Швейковский на белом свете, еще одного вот-вот не досчитаемся.

У Кюхельбекера ныло сердце, выкатливые глаза остановленно всматривались в никуда, за недалёкими днями он видел себя похожим на теперешнего Ивана Семеновича, нехорошие мысли ворочались. «Я хоть и знакомый, но не здешний здесь, не их человек, они – гнезда, а вокруг меня – голо, моих корней нет в русской земле».

Козырек картуза треснул в его руках. На посторонний звук они не обратили внимания.

«Не обращают потому, что я сам для них посторонний при многозначительности того, о чем они говорят – о Русской Славе. Они не только гнезда, не только круг лиц, соединенных многими связями, они – русские...».

Наступал праздник весны. Город звенел юной листвою, степной ветер дурманил запахами разнотравья, слепило солнце, а Иван Семенович расставался с жизнью. Тридцатого апреля послал за священником – причаститься. Продиктовал завещание.

Союзники, боевые друзья молча сидели в его комнате.

Он не делал попыток подняться – берег силы. Спросил:

– Кто помнит приказ Петра Великого пред Полтавой?

Никто не помнил. Может быть, Башмаков, но он промолчал – у Ивана Семеновича надобно произнести его самому.

Лицо причащенного острожало:

– «Воины. Пришел час, который решит судьбу отечества, и так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную веру и церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали. Имейте в сражении перед очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего». – Долгое слово изнурило его, он уравновесил дыхание, сказал: – Я не государь, но мысли мои те же. Я жил тем же: «Пусть Россия, родина наша, будет счастлива», – утомленно откинулся.

Вильгельм Карлович преобразился. Перед ним лежал умирающий человек, а он распрямился, забыв о недугах, невзгодах, откинув жалкие мысли о скором уходе: «Вот мы кто! Немошнные, с разбитыми судьбами, отверженные от мира – но жизни наши лежат на алтаре Отечества...»

Начинался май. Прошлою ночью соловьи не давали покою – звенели в кустах над Тоболом. Душа его молодо принимала

мир, зелено распростертый от края до края, не глазами видимый – сердцем. Что-то будет сегодня, в день, испокон веку зовущийся на Руси соловьиным – второго мая?! Птица Сирин взмахнет ли когда-нибудь крылом над твоей головою, российский стиходей, стихоткач?!

Второго мая через посыльного он извещается, что генерал-губернатором проживание в Кургане ему не дозволено, в силу чего он должен незамедлительно отбыть в слободу Смолинскую.

Казенная бумага дрожала в руках, с опущенных плеч на пол сполз плед домотканого холста, глаза подернули слезы.

– Я следую повелению, – набравшись голоса, проговорил он. – Так и скажите: следую повелению.

Степенный посыльный, молодых лет малый, учтиво поклонившись, вышел. Чиновники города семи верст по окружности все до единого степенны, учтивы.

Дронюшка взвизгнула, ноздри ее округлились, будто почуяли запах степей, вольную жизнь их. Такая тоска прорвалась в ее визге, такой плач по родным местам! Упала на кровать лицом в подушки, раскачивала себя из стороны в сторону, причитала:

– Брыскин, Брыскин, аленький мой цветочек, зачем ты ушел в тайгу, зачем не вернулся. Зачем оставил меня Карлуше? Ведь он – абы татары сидячего не взяли! Все у него на авось, да авось-то жданки съели. – Она вызывала из небытия охотника, но слова выревывала для Карлуши: – Да неужели на всю жизнь так, – голосила, – да неужели ничего повернуть нельзя! И убирайся в свою Смолинскую, хоть в тартарары убирайся, одним ртом будет меньше. Авоськины города не горожены, авоськины детки не рожены!

Маленькая Юстина забралась к матери на колени, гладила слабенькою ручонкой по диким волосам, будто защищала ее от отца, недетскими, презирающими глазами на него глядела.

Он поднял плед, не зная, куда положить, комкал в руках, спотыкался невидящими глазами. Да что он, не мужчина, в конце концов! Это не его семья, не его дети?! «Я иду, – одернул на себе одежды. – Иду.» Он не совсем сознавал – зачем, но ре-

шимости было много. Подрататься с властями, перевернуть все вверх дном, но утвердить справедливость.

Сынишка, подумав, что отец один уходит в неведомую слободу, вдруг тоже взвизгнул: «И я с тобою!». Ухватился за отцовский рукав, прижался худеньким тельцем, отвергающими глазами смотрел на сестру и мать. Два стана: отец и сын, мать и дочь.

Отцепив сопротивляющегося Мишеньку, он пропылил полторы версты по дороге вдоль берега да триста сажен по городу, предстал пред письмоводителем полиции.

Письмоводитель опередил его. В тесной комнатке с обмызганными, как всюду в присутственных местах, стенами, с крашенным охрой барьерчиком, встал моложавый, с чистыми черными усиками, с чистыми забарьерными глазами, показавшийся похожим на Брыскина, аленького цветочка Дронюшки, и Вильгельм Карлович понял, что она права, потому что не зря он в письмоводителе увидел того, кого никогда не видел, но по ком она причитала, не в забытье причитала, в памяти. В забытье она не бывает, и еще подумал: какая несокрушимая власть. Зачем он припылил сюда?!

– Я знал, что вы придете, Вильгельм Карлович, – письмоводитель светился силой, поигрывал усиками. Его самолюбие тешила мысль, что у него будто бы под началом ходят полковники – командиры полков! Князья под началом его, писатели... Ах, кто бы сейчас из родни, кто бы сейчас из жителей столиц, ах, кто бы сейчас из граждан будущего увидел, как он с ними разговаривает!.. Как крутит! Мелькнула мысль: «Кто же из нас великее?!» – но он смирил гордыню, встав, упер руки в бока: – Я это знал потому, – он цвикнул уголком рта, собрал в тугую складку правую щеку, обнажив до коренных здоровый ряд зубов, – потому, что слабый ищет защиты у сильного. Нет, нет, я не себя имею в виду, – заметив готовящееся возражение, признался он со снисходительностью. – Я имею в виду власть. – Он надеялся, что поселенец понимает ее так же, как он. Власть – это государство, которое будет стоять вечно: у него много сил, подводящих под

руку писмоводителя всех этих, приученных рассуждать, богохульствовать, перечить. – Но властями приказы издаются для того, чтобы они исполнялись. Вы пришли не согласиться. Я не позволю себе и вам не советую противиться решению властей.

«Дурные установления властей в России обезвреживаются дурным исполнением их на местах», – думал он сбить спесь с чиновника, но желание разговаривать прошло, он повернулся и сутулою спиною в двери закрыл горизонт молодого тщеславца.

«Нет!!!»

Но он не хотел сдаваться. Письмо в Петербург, к шефу жандармов, к царю!

Кипящий гневом, размахивал руками, решительные ноги ставил в пыли наугад.

*Тяжка судьба поэтов всех племен,
Тяжеле всех судьба казнит Россию...*

Иван Семенович угасал.

Вильгельм Карлович присаживался к его постели, брал холодную руку и видя, как дух страждущего воспаряется к небесам, безмолвно молился господу Богу.

Господь Бог утешал его наставлением заботиться лишь о дне настоящем, не заглядывать в завтра... Он много грешил в молодые лета против сей заповеди, за что и много покаран. Теперь на душе покойно: будет день – будет пища.

Поздний вечер. Иван Семенович так плох, что он остается при нем до утра, освобождает Басаргина от посидельства.

В три часа ночи больной шепчет посинелыми губами: «Воды...» Вильгельм Карлович бросается в кухню, гремит ковшом о ведро, возвращается, а тому уже ничего не надо.

Позванный Николай Васильевич складывает на груди руки почившего, велит принести свечку...

На похороны Повало-Швейковского пришло много народу. Впереди, черный в черном, шел Дмитрий Александрович, надушенный, со взглядом под ноги.

Над людьми, стоящими у обочины, возвышался бравый и чистый письмоводитель.

Дмитрий Александрович поравнялся с ним – он цвикнул, собрал щеку и обнажил здоровые зубы: дескать, взгляни на меня, на власть. Однако князь цвиканья не услышал. И, черный, черного взгляда не оторвал от дороги.

«Как же это... Что же...» – подумал письмоводитель.

Кюхельбекер противился наступающей со всех сторон смерти. Она смотрела на него глазами нужды, глазами отказных жандармских бумаг, болезней, глазами мертвых друзей... Двадцать шестого мая – день рождения Пушкина, день вечной молодости, вечной жизни. Пусть станет он днем памяти Александра Сергеевича. И если есть загробный мир, будут встречи и там. Александр Великий не упрекнет его в отсутствии дружеских чувств.

В гости приглашены все союзники, все знакомые.

Но город, прослышав о необычном собрании, пришел, кажется, весь. Даже больше, чем весь: двадцать девятого в Смоленской открывается ярмарка – понаехало много людей из окрестных сел.

Невиданное для Кургана событие. Что-то похожее было лишь в день приезда наследника престола в тридцать седьмом, в трагический год России, потерявшей Пушкина.

Дронюшка, разгневанная затеей Карлуши, босая, неопрятная, с растрепанными волосами, бегала по двору:

– Люди огороды копают, а ему праздники на уме!

Народ прибывал, и она притихла. Даже слушала, о чем бают; голоса перекрывали один другой, переплетались, разговор был понятен ей мало.

Он смотрел на нее из-под козырька нелепого картуза:

«Как она быстро стареет!»

Приглашенные во дворе, любопытные – по-за пряслом: навалились на жерди, руки сложили на них, подбородки.

Не те слова подбираются – о царстве теней, о большинстве человечества, там пребывающего, голос никак не может включиться.

Но ожидающие глаза, лица, повернутые к нему, стоящему на крыльце, наполняют сердце отвагой, он начинает вдруг говорить легко и свободно:

– Непривычное для наших уст слово «счастье» сегодня я произношу искренно, с полным правом: нам выпало счастье родиться и жить в век Пушкина. Этот век освещен его гением, но освещены им будут и последующие столетия, ибо Пушкин вечен!

Он чувствует, как наполняется жизнью тело; ожившие руки с ладонями, загрубелыми от черной работы, взлетают крыльями большой птицы, далекий Париж с «Атенеум» встает перед глазами, невидящими, но зрячими. Он видит понимающих его людей, заполнивших уже не зал, не дворик его постояльского дома, Россию от края до края, слушающую его, внимающую ему, мир видит. И пушкинское слово взлетает вместе с крыльями большой, упоенной простором птицы:

*Товарищ! Верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья!
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.*

Ему надо действий, он срывает картуз, не удерживает его – несуразная вещь улетает за прясло.

Стоит вселенская тишина.

«Один балахон, и тот из торговой бани снесен, – смотрит за изгородой молодыми глазами в небо письмоводитель полиции, – а туда же: о веках, о свободе. В годах человек, а не ведает, что безуклонному в миру не поздоровится!»

И все они – колония союзников – читали стихи Александра Сергеевича, рассказывали о нем, но большею частью он, Кюхельбекер, как много лет живущий с ним рядом, за одним столом с ним причащающийся пищи духовной и земной пищи.

Щепин-Ростовский тронул струны гитары, «Черной шалью» загрузил баритон.

Женщина с лицом, осененным безмятежностью и довольством, под гарусным платком, проговорила, небесно синяя глазами:

– Думала, Пушкин да Пушкин, и все имя. А он еще и Александр Сергеевич.

Дронюшка смотрела на своего нареченного – счастливого, помолодевшего – опускала веки над безысходными глазами: «Где ты и с кем убиваешь жизнь, Карлуша?! И что из моей жизни делаешь?! Может быть, и взойдет твоя звездочка, но к нашему берегу не прибьется дерево». Кожа на лице ее дрябла, в ресницах набиралась соленая влага.

Юстина с Мишенькой держались за ее юбку, молчали. День был солнечным. Небо – голубым. Мир – зеленым. По приобретенной привычке скрывая в строке суть и важность события, но и не преминув оставить на память отметинку о нравах города, Вильгельм Карлович записал в дневнике: «причина прихода некоторых, что городничиха была в бане и у него не играли в карты».

XXV

Пришло письмо от Поджио из Восточной Сибири: изысканная речь, летящий французский:

«Дорогой друг! Я медлил с ответом целых три месяца – ждал надеждою сообщить Вам более утешительные сведения о Вашем золотом запасе. Увы, знаменитости вы несчастные! Количество ваших книг превышает количество почитателей ваших талантов. Такая несправедливость! Эта страна золота не является страной мысли, а не могло ли казаться, что золото ищет мысль? Нам едва удалось найти человек десять, решившихся купить книги. У Вас капитала всего пятьдесят рублей. О нет, не талант обесценен, – его материальная часть. Когда пишешь больше, чем читают, – невольно обрекаешь себя на снижение цены своего детища. А в этом Вы гран пеккаторе – великий грешник. Мой Вам совет: оставшиеся экземпляры послать на Нижегородскую ярмарку... как это делается с сочинениями Марлинского, Пушкина и др.

Идея покупки шубы – бесплодна: не менее четырехсот рублей она стоит, а Вы на мели, и я не предвижу средства вернуть Вас на воду...

Княгиня просит передать Вам, равно как вашей жене, ее дружеские чувства. Нелинька и Мишель целуют Ваших деток...»

Он сначала не понял письма, заворчал: «Не шестнадцатый век, когда рукописное Евангелие стоило девяносто четыре пуда ржи, а Маргарит 1609 года – двенадцать коров. Могли бы и раскошелиться!» А поняв, обмер, опустил плечи...

Здоровья не оставалось. Басаргин советовал проситься в Тобольск – туда из Восточной Сибири перебрался Вольф, он вылечит.

– А что, Кюхельбекер еще не выслужил офицерского чина?

Император повернул гранитную голову, взглядом из-за плеча студено окатил шефа жандармов. Орлов, любезный и всемогущий, понял: в просьбе отказано. Его величество всякий раз задает этот вопрос, когда ходатайствуют перед ним за Кюхельбекера, помнящий все о своих друзьях «Двадцать пятого года», делает вид, что не помнит его, который никогда не был военным и никогда быть им не мог. Обращение бесполезно: Кюхельбекер на Сенатской пытался стрелять в его брата.

– Никак нет!

Из великого Петербурга в забытый богом Курган ушло: «Нет!»

Наученный опытом ссылки и все-таки тайно еще на что-то надеясь – (Кто он, человек без надежды? Человек без надежды мертв.) – он вослед за письмом к Поджио, за прошением о дозволении жить в Кургане отправил письмо к Юстине: нужны деньги на постройку дома. Знал: опять обратится к брату покойного мужа, к Владимиру Андреевичу. Он, скорее всего, не откажет. Но сколько можно?!

Владимир Андреевич Глинка дружен с ним с детских лет. Его жизнь – путь благородного, мыслящего человека. Как и Бриген, оставив Союз Благоденствия, он посвятил себя службе на военном поприще и достиг многого: в тридцать первом году генерал-майор, был начальником штаба артиллерии действующей армии, теперь – генерал-лейтенант, главноуправляющий заводами Урала. Вильгельм Карлович в крепостях – он шлет ему книги, Вильгельм Карлович на поселенье – он шлет ему деньги...

Вот и сейчас они пришли в один день с ответом из Санкт-Петербурга.

Но пришло и разрешение на покупку в городе Кургане дома Дросидой Ивановной. Он был потрясен: когда и через кого она смогла это сделать? Ему быть перед нею в вечном долгу.

Дронюшка плакала, счастливая.

Дом – широкий и длинный – на окраине города был ею присмотрен сразу: мог вместить свободно все ее семейство, и еще оставался отдельный кабинет для ее писателя.

Дом требовал небольшого ремонта, они решили: пусть будет большой.

Вильгельм Карлович пошел к Бригену, к Басаргину, к Башмакову идти стеснялся: семьдесят лет старику. А со Щепиным-Ростовским был в ссоре.

Дело закрутилось сразу: у его друзей нашлось свободное время, нашлись руки. Он устыдился своих намеков в письмах к Трубецкому на несоответствие круга курганских союзников запросам души его персоны. Не разбираться в людях, наверное, его слабость.

Возмущенный Щепин-Ростовский, вызывающе не подвластный годам гонения, стоял перед ним, растерянным, выговаривал:

– Вы поступаете не по правилам. Просите прощения за неучтивость. Иначе дуэль, – и взмахивал рукой, будто вырывал из ножен оружие.

– Дмитрий Александрович! Простите великодушно, – растрепанный Кюхельбекер лез обниматься. – И недавнюю глупость мою извините.

– Ну-ну, – отодвигал его Щепин-Ростовский, – я не барышня, объятья мне неприятны.

С тою же обидою приходил Башмаков. Убеждал Кюхельбекера:

– Молодой человек, я волгарь. Пока волгаря носят ноги, его руки работают.

...Он жил помощью других. «Искусственно поддерживаемая жизнь?» – Это его ошеломило. – Давно искусственно поддерживаемая. «За ужином объелся я, а Яков запер дверь оплошно, – вспоминал ненароком убийственную эпиграмму. – И стало мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно». Это с самого начала его дней друзья относятся к нему снисходительно, зная, что он ни на что не способен, но веру в себя поддерживают в нем, надежду, чтоб жил.

Чего же он сопротивляется их усилиям, не страхнет ипохондрии? «Надо жить во всяком возрасте – не его ли мысль? «При любых условиях!» – добавить.

Он пытался внести лепту в постройку своего обиталища, встревал невпопад, знающие руки отодвигали его, просили не вмешиваться.

Дом получался уютным, при большом огороде и палисаднике. Киргиз-кайсацкие степи колышущимся разнотравьем открывались до горизонта. «Приезжай, Мишель, – писал он брату, – земли здесь хоть сорок пять десятин бери. – Мишель только усмехался: Сорок пять-то сорок пять, да кто на них будет работать?!»

Дронюшка копалась в огороде за полторы версты от своего нового дома, проветривала, сушила припасы на зиму, но и о стройке не забывала.

Появления ее боялись.

– Чтоб руки у тебя поотсохли! – кричала на пятидесятилетнего плотника, крепкого телом и могучего бороною. – Все у тебя на авось!

Отталкивала бородача, отдираала дранки, не так, на ее глаз, лежащие, велела переколотить.

Побелку не доверила никому, белила сама, до глаз закутанная платком – таскала ведра, скамейку, с которой дотягивалась кистью до потолка. Первые взмахи делала с удовольствием, последние – с ненавистью. Ненавидела всех. Ей казалось, самое трудное падает на нее. Больше, чем других, она ненавидела Карлушу: ни Богу свечка, ни черту кочерга. Отбелив и удовлетворенно оглядев стены, ни с того ни с сего налетела на него с упреками. В ней жила потребность скандала: она что-то свое выражала в нем.

Ремонт закончился приглашением за стол – кадку бражки выставила хозяйюшка.

Она свезла в новый дом все, что посадила, посеяла, вырастила и собрала. Вильгельм Карлович сидел на лавочке во дворе, думал: «Для Дронюшки я никто, для детей – тоже. У Канта в воспитании поколения выделено четыре ступени: обучение дисциплине, навыкам труда, правилам поведения, моральной устойчивости. В погоне за призраком своего пиитического предназначенья я не успел привить им ни того, ни другого».

Новоселье прошло весело.

Паутины отлетели, бабье лето кончилось.

«А у Дронюшки и девического не было – никакого!»

Облетели желтые листья. Ветер из степи приносил грустные запахи умирающей жизни. Которой не было у него. И подул северный ветер – значит, недалекая стужа грядет...

Картуз с треснувшим козырьком заброшен в кладовку. Он ходит по дому с черными зонтиками на глазах – Дронюшка сшила.

Боли невыносимые, нестерпим кашель.

Пал снег. Стали светлыми улицы.

Октябрь. Ноябрь. Декабрь.

Декабрь на тысячах десятин от горизонта до горизонта горел зелеными, красными, желтыми, голубыми огнями. Десяти-

летней давности декабрь. И двадцатилетней. Тысяча восемьсот сорок пятый год.

Он пробивался светом через его зонтики. Но Вильгельм Карлович знал: он не в глазах, в душе светит, Декабрь.

Он просит Юстину выхлопотать ему разрешение на поездку в Тобольск для лечения.

Помогает Владимир Андреевич.

Поселенцу Кюхельбекеру разрешено на время лечения выехать в губернский город.

XXVI

Дальние дороги его по великой Руси всегда были зимними, санными. И начало им – с Декабря. Потому и перед теперешними его видящими мало глазами представляла родина слепящей снежной равниной, света которой хватит на многие годы душам и государствам. Хмурое утро Четырнадцатого декабря набиралось светом ее равнин и казалось светящимся более, чем они сами.

С преданным слугою бежал он вечером того дня из расстрелянного гвардейской картечью Петербурга в сторону имени Юстины с надеждой при помощи ее перейти границу Царства Польского, оказаться в Пруссии.

И граница была уже рядом, но он, плотник Иван Подмастерников по документам, приобретенным стараниями Юстины Карловны, увы, интересовался, останавливая прохожих, местом квартирования в Варшаве конной артиллерии – местом службы лицейского товарища, который мог бы одолжить ему сумму, необходимую для перехода границы. Однако плотник, интересующийся артиллерией, заинтересовал не только прохожих, но и людей служебных...

От Кургана до Тобольска четыреста пятнадцать верст.

В новом доме пожилось мало.

Дорога вела через светлые березовые, через мрачные хвойные леса. «Они на меня похожи, – думал, – вырвись

я тогда из России, может быть, не я, Его Величество был бы похож на них». Он кривил рот в попытке что-то сказать Дронюшке, но слово не образовывалось. «А что бы я такое сделал, чтобы он помрачнел?!» – мысль требовала обдумывания.

Путь его снова лежал через Ялуторовск.

Он ехал, выкашливая легкие, теряя в глазах свет.

«Все есть в Кюхельбекерах, – думал, поправляя зонтики над глазами, – и жизненная сила, и надежда, и готовность делать добро, а получается у них все шиворот-навыворот. Как ни расторопна, как ни предусмотрительна Юстина, а снабдила в тот год его двадцатилетнего слугу паспортом на имя отставного солдата пятидесяти лет от роду. На что они могли рассчитывать?! На что они могли рассчитывать в мире, прямом, как шомпол?!»

В доме Пущина было по-прежнему шумно, входили и выходили незнакомые люди, за дверью смеялись и плакали дети. Их няня стала невестой князя Оболенского. Но дух дома изменился, стал невеселым: Иван Иванович мучился застарелым недугом – английской болезнью, навязавшей узлы вен ниже колена. Он «чинил» инвалидную ногу разными охлаждающими средствами, она мало поддавалась лечению, совершенно обездвиживала его. Страдалец вытирал мученический пот со лба и молчал. Дронюшка, пообвыкнув в общенье с друзьями мужа, взялась ухаживать за больным, отодвинула прислугу – прониклась участием и уважением к непочитаемому ранее судье. Похоже, и Иван Иванович переменил о ней мнение.

В жизни, считаемой не годами – мгновеньями, Кюхельбекер часто впадал не просто в печаль – в уныние, не просто в хандру – в отчаяние. Но на людях – редко, чаще наедине с собой. Ему казалось, болезненное состояние тяготит душу Ивана Ивановича воспоминаниями, в которых более сожаления, чем уверенности. Потому говорил стихи:

*Взирают всевидцы, блаженные боги,
С спокойного неба на бурный мятеж,
За грозный таинственной смерти рубеж
На темные строгого рока дороги.
И видят сквозь ужас, и гибель, и тлен,
Сокрытое, но оживленное семя
Грядущего счастья и лучших времен!..*

Страждущий затихал, сидел, не меняя позы, нервные руки успокоенно лежали на подлокотниках кресла.

Вильгельм Карлович пламенел: позади него ничего нет, кроме веры и правоты, его целительной поэзии. В изломанных крыльях появилась упругость, щеки проваливались, как у библейского пророка, седые глаза вперялись в дали грядущего.

Невеста Оболенского входила в гостиную, ставила на столик шампанское, бесшумно скрывалась за дверью. Дронюшка переругивалась на кухне с кухарками, во дворе ржали лошади, упрашивающие-повелительные, возникали голоса конюхов.

Под это сопровождение Вильгельм Карлович возносил над собой руку:

*Да! Чаша житейская желчи полна;
Но выпил же я эту чашу до дна, –
И вот опьянелой больной головою
Клонюсь и клонюсь к гробовому покою.
Узнал я признание, узнал я тюрьму,
Узнал слепоты нерассветную тьму
И совести грозной узнал укоризны,
И жаль мне невольницы милой отчизны...*

Иван Иванович находил красивым его лицо: исхудалое, бледное, оно было полно духовной силы, благородства, несломленности.

Но, смолкнув, Кюхельбекер, огорошил его:

– Знаешь, я скоро умру, – и начал носить из сундука рукописи. – Это сожжешь, это оставишь, вдруг да издадут в России своего поэта.

– Глупости. Ты должен жить дольше нас! – сопротивился Пущин.

– Чего там! – говорил Кюхельбекер. – Когда ты неискренен, сразу видно. Земные пути мои кончены.

Его санный путь по Руси продолжается.

Душа томится мечтаниями ронять живые цветы на ступени лестницы, по которой восходит к прекрасному будущему человечество, он хочет почтить миг своего земного существования полной жизнью: пусть бы люди, идущие вослед, чувствовали красоту мира, с отроческих лет впитывали ее, всепобеждающую, сверкающую миллионами граней, одну из которых грабил он. И сами бы входили в свой миг садовниками, мастерами, художниками...

Трепанный-перетрепанный лицом и одеждой, в клобуке, согнутою долговязой фигурой напоминающий Вильгельма Карловича, за двадцать верст до Тобольска пристал к ним человек неопределимого возраста, обомшелый пенъ семидесяти, ста ли лет. Седыми бровями закрыты глаза, седые усы, жиденькие, в такой же бороденке теряются.

Он не подошел, они подъехали к нему. Выждав, когда будет в самый раз, он, повернувшись спиною, упал в сани и сразу заговорил:

– Чем больше мысли в государстве, тем больше путешественников, – отрешенными глазами оглядел всех. – Но раньше путешествовали в одиночку, ныне путешествуют семьями. Значит, Бог благодатью своею одарил Россию, богатою на мысль стала. А ну как вся семьями тронется?

Дронюшка, приноравливаясь, потихоньку вытягивала из-под чресел неожиданного человека полы дубленой курганскими коженниками шубейки, крестилась: «Господи, господи!», а дети дергали дедушку за космы.

– Абалацкого монастыря изгнанный за суетность мысли монах, – тою же скороговоркою называл он себя. – Отцы наши

не понимают: все мы суетны в сем мире. — Он сидел спиной ко всем, его клобук сползал то на глаза, то на уши, он непрестанно поправлял его и вел рассуждение: — Послушание, всепрощение суть заповеди Христовы. Им следуют — не повторяют.

«Святой человек, — охнула Дронюшка, — холодный да и голодный, поди». Зараспакывала снедь, на чистой тряпице разложила.

Монах нематыми пальцами забирал еду, степенно помещал в рот, не прожевав, разговаривал.

«Подослан», — думал Вильгельм Карлович и молчал.

— А ведома ли земля, по коей странствуете? — Давился и отрыгивал монах, вытирал губы снегом, на них застывал жир. — Велика Россия, россиянину хотя бы за всю жизнь дай Бог стать знакому с нею.

Лошади, качая крупами, тонкими ногами отмеряли пространства, посередине санного пути оставались «конские яблоки», березовые леса сменялись сосновыми.

В неукротимой болтливости монах вещал, предвидел, рассказывал.

— Кроме русских, здесь обитают вогулы, остяки, самоеды. Конешное дело, татары. Без них Сибирь — не Сибирь. Тунгусы по дальним лесам да рекам. Одеждой, обычаями, а також обрядами все от русских отменны. Женский пол вплетает в косу разных цветов косоплетицу, навешивает на нее бубенцы да монеты, литые из олова. — Уминал Дронюшкины припасы, икал, но разговора не останавливал: — Посередине жилища кладут огонь, расстилают по сторонам оленьи шкуры, на которые женщина не должна наступать, а коли наступит — почитают за нечистоту, окуривают дымом подоженной оленьей шерсти. — Он вытирал руки подостланной под снедь тряпицей, запахивал на себе отрепья, задирал вверх бородавку.

«Никакой он не подосланный», — успокаивался Вильгельм Карлович.

Дронюшка гасила черные огни. Всюду женщине худо.

Не там наступила – нечистота. Бабу бей что молотом, сде-
лаешься золотом. Чего только о них не напридумывано.

– При юртах маленькие сени, а иные без них. Порядочного
домоводства, паче чистоты, в домах не имеют...

Монах рассказывал о крае, изрядно знакомом, а Дронюш-
ку тревожила мысль, застрявшая в голове: «Неужели всюду так
бабам?» Она не решалась перебить попутчика, походя завладев-
шего и санями их, и едой, и вниманьем:

«Привык, горемыка, не иметь своего угла, знать, куда ни
ткнется, там кров и пища».

Но все-таки перебила:

– Как они вовсе с бабами. Ну, это?

– Обыкновенно. – Он не повернулся, согбенной позы не из-
менил: – При сватании уговариваются, сколько отдать отцу не-
весты от жениха подарку. Ежели сто оленей, девкин отец дает за
нею десять санок приданого, ежели двести – дает двадцать санок.
Которые не дают оленей в подарок, те и санок не требуют. Жен
некрещенные содержат достаточно: кто две, кто три, кто пять и
более. Мущин женят одних в девять лет, других в возрасте совер-
шенном. Тако ж и отдают в жены. Самоядцы и остяки могут брать
в жены двух сестер, а буде помре отец их, то и мать их берут.

Перерыв в его говоренье звенит неожиданной тишиной.

«Горемыка ты, горемыка, знать, никогда жены не имел.
Мужик без бабы пуще малого дитя сирота», – жалится Дронюшка.

Он заперебирал руками, собирая на коленях одежду, хоть и
солнце, а слабоватому рубищу недолго греть старое тело, ежели
бы ногами шел, а то едет.

Он и разговаривал для сугреву:

– Законов и духовных обрядов не знают. Кумиры или
болваны у них деревянные. В жертву им они приносят оле-
ней, кровью их смазывают нос и губы у своих идолов, а у
себя лбы. Кумирам и болванам служения никакого нет. Когда
умирают у остяков мужья, сыновья или дочери, делают они

болванов поменьше: днем сажают возле себя, ночью кладут в постель, чтобы мертвый к ним не пришел. И так продолжается с год.

Потянулся погладить детей по головкам, но те испуганно шарахнулись от руки. Он вздохнул.

Вильгельм Карлович думал о своем, слушал вполуха, но одна фраза запала в голову, повторялась: «Кумирам и болванам служения никакого нет!»

И. И. Пуцин. 2 февраля 1846 года. М. А. Фонвизину

«Бедный Вильгельм очень слаб, к тому же и мнителен, но я надеюсь, что в Тобольске его восстановят и даже возвратят зрение, которого в одном глазу уже нет. Недавнее бельмо, вероятно, можно будет истребить. Между тем, я прослушал несколько стихов с обещанием слушать все, что ему заблагорассудится мне декламировать. Подымаю инвалидную свою ногу и с стоическим терпением выдерживаю нападения метромании, которая теперь не без пользы, потому что она утешает больного. Пожалуйста, сообщи мне, что скажут медики об его состоянии...»

XXVII

От престольных Санкт-Петербурга в 2885, Москвы – 2153 верстах...

Он замечает, просматривая день за днем дорогу от Забайкалья до Камня: в нем никогда не рождалось желанья узнать, сколько верст до престольных, ни на какой станции. Москва, Петербург – ушли из надежд, канули в небытие. Спрашивал – до Тобольска. Тем чаще, чем ближе виделся Камень. Память будто стояла на страже. «Не последним ли пунктом моих скитаний он предназначен?» – подумал.

Никольским взвозом протащили сани лошадки, Нагорной частью простучали копытами по обледелым тесаным бревнам,

выстилающим улицы, остановились у дома Фонвизиных. «Мы, наконец, купили дом на горе, в который переедем в начале октября», – писал в Курган ему в сентябре Михал Александрович.

Наталья Дмитриевна смешалась, не просто синь пригасили глаза, не просто темными стали – по-женски охнули: «Что с ним сделалось за год!» Укутан шарфами, перепоясан, черные зонтики над глазами. Сбежала с крыльца, растерянными руками бросилась поправлять на нем шарфы, шапку, поднимать воротник тулупа, хотя ему все это предстояло снять через минуту.

– Здравствуйте, дорогой мой! С приездом. Ну как добрались?!

А сама не знает, как скрыть горестное впечатление, поворачивается к Дросиде Ивановне:

– Дронюшка, вы прелестны!

Целует потрясенную госпожу Кюхельбекер, за головки притягивает к себе детей, будто считает:

– Как хорошо, что все вы вместе.

Михал Александрович потрясен не меньше жены, но вида нежает, обнимает Вильгельма Карловича; шуба, наброшенная на плечи, сползает в снег; не поднимая ее, он ведет гостя к подъезду:

– Главное – осилить дорогу, а здесь Вами займется Вольф.

Говорит таким тоном, будто имя Всевышнего произносит. Вильгельма Карловича распоясывают, раскутывают, вводят в гостиную. Он сослепо не может понять, кто поднимается к нему с кресел, идёт навстречу.

– А вот и наш гость, – представляет Фонвизин. Глазам возвращается зренье, он видит перед собою Вольфа и Бобрищева-Пушкина. «Пушкин не расстанется со мною, но и я с ним не расстанусь». Подает руку каждому, почти шутит, но шутка не получается, выглядит истинным мнением:

– К конечному пункту прибыл.

Его усаживают в кресла. Михал Александрович кланяется, уходит к Наталье Дмитриевне: разместить приезжих, расспросить Дросиду Ивановну.

Вольф, Фердинанд Богданович, совершенно тот же, что в Урике, у Волконских. Времени-то прошло всего ничего. То же лицо сострадательно глядящего на людей и на мир человека. Тяжелый нос, тяжелый подбородок. В глазах давно запечатленное выражение, докторское: «С чем вы ко мне, батенька?». Лицо, как к детям, обращенное к миру и человечеству.

– Вот и мы вслед за вами сюда с Александром Михайловичем прикатили, – Вольф имеет в виду младшего брата Никиты Михайловича Муравьева. – Все ближе к России.

Кюхельбекер благоговеет перед славой Фердинанда Богдановича. На устах исцеленных и здравствующих, болезных и сирых, на устах бродяг, офицеров, крестьян и князей в долгом его пути жило одно имя.

– Как поживаете?

– Стараньями доктора Вольфа.

– Здравствуйте!

– Здравы стараньями Фердинанда Богдановича.

Его имя затмевало другие, и казалось, на всю Сибирь, на всю часть империи от Уральских гор до Забайкалья есть один врач – он.

О нем ходили легенды.

Служа единому богу по имени Гиппократ, живя его заповедями, но и следуя христианским законам, он за свою любовь к людям, за знания не хотел иметь платы. Говорил:

– Надо, чтобы врачи находились на содержании государства.

Один из золотопромышленников, возвращенный им к жизни, просит принять от него за исцеление пять тысяч рублей; если доктор откажется – он сожжет их.

– Жгите, любезный.

За первым отказом – второй. Купюры вспыхивают голубым пламенем.

Другой за исцеленье жены выносит из дорогих своих комнат два цирика по пять фунтов каждый: один до краев наполнен чаем, второй – золотом. Вольф берет цирик с чаем...

Союзники после каторги хотели жить только там, где будет жить он.

Вольф живет лишь на то, что высылают ему мать Муравьевых за его обещание никогда не расставаться с ее сыновьями; теперь уже – сыном...

– Вильгельм Карлович! – поворачивает крупную голову на короткой шее Вольф. – Вы рано пали духом. Говорю как врач, как брат по крови и духу. Много напридумывали. *Meine Haare standen im zu Berge!* – заметив, как дернулся на немецкий язык Кюхельбекер, поправляется: – У меня волосы встают дыбом.

– *Das stimmt*, – задвигал кадыком Вильгельм Карлович, дескать, понятно, но к чему здесь немецкий, когда-то он на нем разговаривал?! Его родной язык – русский. Хочет показать, хоть он и больной, хоть и приехал к доктору, но палец в рот от этого ему класть не следует.

Фердинанд Богданович положил ему на колено руку:

– Не надо.

«Действительно, как прапорщик ёрничаю», – поправил зонтики над глазами Вильгельм Карлович.

Бобрищев-Пушкин – могучая борода Саваофа, тронутая сединой, внушительная лысина – философски скрещивает на груди руки.

«Их не останавливает мое нежелание разговаривать на немецком, – смущается Вильгельм Карлович. И его осеняет: – Так они начинают лечение!»

У Саваофа пристальные глаза, округлым басом он заполняет гостиную:

– Я гомеопат, Фердинанд Богданович – аллопат. Мы за вас с двух сторон возьмемся. – Офицер-квартирмейстер, он медицину постигает самоучкой.

– Многих воителей стоит один врачеватель искусный, – отвечает ему Кюхельбекер строчкою из гомеровской «Илиады».

– У нас все есть для вашего исцеления, – говорит Вольф, – даже применяемая для лечения болезни глаз личинка высушенного овода.

Сместились тени, сузились окна, но поднялись потолки, гостиная раздвинула стены: зажгли лампы. Михал Александрович, Наталья Дмитриевна, Дронюшка, шумные, вторглись в их разговор, заопережали друг друга:

– Дорогие мужчины, на ужин!

– То бишь кушать подано! – отозвался Вольф.

За ужином тосты как шутки, шутки как тосты. Никаких больных за столом, никаких хворых...

Они за него возьмутся!

XXVIII

Они сидят в домике, построенном для Фердинанда Богдановича матерью Муравьевых, светлом от воспоминаний, простыней в комнате для приема, пододеяльников и наволочек в покоях доктора.

Кюхельбекеру неуютно под пронизывающим насквозь взглядом, нехорошо: столько страждущих ожидает врача, а он его занимает, задерживает. Собственные болезни кажутся ему незначительными, не стоящими ожидания больных за дверью.

Вольф поднимается, подходит к шкафу с медикаментами, берет и раскладывает на столе пергаментные пакеты – аккуратно, рядок к рядку. Волхвует:

– У нас есть все для вашего исцеления, – самоуглубленное его лицо академика непроницаемо: он занят делом – овладевает доверьем больного. Поверивший во врача – наполовину излечен. – Даже такое экзотическое снадобье, как личинка высушенного овода.

Развертывает пакетик, показывает.

Вильгельм Карлович всматривается в зеленовато-серый порошок, напрягает зрение.

– Одно можно сказать: это паки и паки сухо.

Он понял, что выразился удачно: они заулыбались. Они – это еще и Бобрищев-Пушкин.

Павел Сергеевич притрагивается рукою с волосатыми пальцами к пакетикам, продолжает Вольфа:

– Зверобой синий душиной особливого роду от лихорадки, зверобой овсяной для очищения крови...

В Кюхельбекере поднимаются отголоски печальных мыслей, неловко шутит:

– Аптека убавит века, – увидев смятение товарищей, к неловкости присовокупляет неловкость: – Аптека да лекарь, да третий поп, – намекает на отпеванье.

Они не подают вида.

– Попы еще подождут нас, – закрывает шкаф Вольф.

– Наш путь к успеху в русской пословице: терпенье и труд все перетрут. А мы с вами работники хоть куда.

«Работники хоть куда» – это про мою поэзию», – думает Кюхельбекер. И благодарен доктору. Но чувствует себя перед ним неуверенно, то есть перед ними. Будто ему не все сорок девять, будто он лицеист, за каждое слово переживает – вдруг не к месту?

– Поэзию могут не признать, могут запретить, с медицинской такого не сделают.

– Сделают, – успокаивает Фердинанд Богданович. – Делали и делать будут. Мы с вами на первой позиции, где огонь неприятельский плотен. Но это для красного словца. Медицина, литература – как вечная каторга: изо дня в день, из года в год, позволю себе заметить, – из жизни в жизнь.

– Мы каторжники по наследству? – перехватывает дыхание у Кюхельбекера. – Высокого смысла истина.

Глуховатый спокойный голос:

– Медицина не страницы истории – ее главы, многие из которых еще не прочитаны... Нездешнее происхождение аборигенов, например, доказывают их некоторые приемы лечения, восходящие к китайской медицине.

«Нездешнее происхождение аборигенов?!»

– ...точки на теле человека, прижигаемые ими при хворостях, совпадают с точками китайского иглоукалывания... прижигание – тюнарпава, янгабава – иглоукалывание.

Он будет жить! Столько непознанного им в этом мире.

Крылья старой птицы вспоминали о высоте.

На улицах густой сосновый воздух, весна.

Весна вызывает к счастью, к любви, гармонии.

– Грядет мессия и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, – Наталья Дмитриевна, насмотревшись на Кюхельбекера, прониклась мировой скорбью, опечалилась сердцем, мессианские мечтания пророка Исаии пришли на ум. – И будет препоясанием чресл его правда и препоясанием бедер его – истина. Тогда волк будет жить вместе с козленком, и теленок, молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.

Говорила, а глаза были темными, будто она опустила вуальку.

Ее слова ложились умиротворением на его душу, спокойствие, сошедшее на него, рисовало идиллию, подобную образу мира в откровениях пророка. Им впервые овладевало чувство устроенности, благополучия. Ухожены дети, успокоены вниманием добрых людей, не вздрагивают нервно на его голос. Дронюшка, казалось, израсходовала запасы яда и злобы, утихомирилась, стала ласковой, похорошела. В раздумьях о будущем приходили отчаянные решения: он не на время леченья приехал сюда – навсегда. Навсегда в этот город и к этим людям. Он еще не жил – и дел у него не счесть.

Но за словами Натальи Дмитриевны он видит ее лицо.

Отвечает устами апостола Павла:

– Всякая душа властям предержащим да повинуется. Несть бо власть еще не от Бога: сущие же власти от Бога учинены суть.

Она грозит ему пальчиком. Голубые глаза – когда вуальку откинула – озорны, подсмеиваются. Резко меняется настроение у «черной дамы».

– Рекл бы еси, что от самого царя послан был Павел на сию проповедь! – в ней утверждается добродушная насмешливость, за которой – познанное бытие, до малой малости представляемый завтрашний день, ни надеждой, ни мыслью не отличающийся от сегодняшнего, ее замкнутый мир. Она его называет: – Две тысячи домов в городе, двенадцать мощеных улиц, двадцать немощеных, двадцать один переулок.

Клетка ее исхожена, изучена вдоль и поперек.

Чукманов мыс.

На гранях памятника Ермаку вырезаны пальмовые ветви, на цоколе – венки с датами прихода его в Сибирь – и его гибели, на постаменте с западной стороны, обращенной к России, – «Покорителю Сибири Ермаку», на восточной – «Воздвигнут в 1838 году».

«А что покорил я, какую службу сослужил родине?! – он не был готов ответить. – Жизнь, прожитая впустую?!»

Смотря что покорять.

– Четыреста лошадей притянули в тридцать пятом году, в декабре, части памятника с Урала в Тобольск...

В декабре тридцать пятого. Как я разминулся с ними?

– ...но оказалось, что собрать его здесь некому.

«Я памятник воздвиг себе нерукотворный...» Мне просто собирать его будет не из чего!»

– ...на установку памятника ушло три года...

– «На установку памятника мне – времени не понадобится...»

По заведенному правилу они оканчивали прогулку молитвой – заходили в церковь, преклоняли колена, шептали благодарность Всевышнему за прожитый день, а то и сподоблялись причаститься святых тайн.

– Почтеннейший и любезнейший Вильгельм Карлович!
– интригуя официальностью, встречает их в прихожей Фонви-

зин. – Чрезвычайные обстоятельства принуждают меня обратиться к вам с вопросами сыска. – Генерал, хоть и лишенный чина, традиционно брезгал подобного рода делами: «Не пятнай армейский мундир!» Но коли такие речи, случилось нечто действительно из ряда вон! – Не знакомы ли вы с неким учителем уездного училища, племянником Жиль-Блаза–Сантиланского?

И поднимает томик «Отечественных записок»

– «О терминологии русской грамматики?» Напечатали?!

«Да» после стольких лет «нет»?!

– Да, дорогой мой! Хоть и с камуфляжем, инкогнито, но напечатали!

«Родную бы душу рядом – поделиться счастьем!»

Но рядом уже не душа – души. Раскрываются двери комнат.

Свистунов, «Педро Гривальдес», на ходу раскрывает руки:

– Рад вашей победе. Наш голос долго слышать России.

И Анненков – молодой, сильный:

– Не нам – вам надо делиться силою с нами!

Вильгельм Карлович чувствует, как убыстряется бег времени, жизнь убыстряется, летит мгновеньями.

– Александр Михайлович Муравьев!

Кюхельбекер потерял: куда направлен бег времени? Муравьев – это Урик, Восточная Сибирь. Останавливается: «Но и Вольф оттуда!» Господи боже, что происходит?!

– Все не имел случая вам представиться. Мы с Фердинандом Богданычем чуть ли не вослед вам отправились в эти пределы...

«Конечно, если Вольф, значит, и Муравьев».

Шампанское приготовлено – фужеры состукнулись.

– Обнадеживающие изменения происходят в мире. Вчера или сегодня мы виделись у Волконских? А вас печатают, Никитина дочка уже в Петербурге, в Екатерининском институте. – Муравьев в чиновничьем мундире, служит в губернском правлении. Кю-

хельбекеру это важно: служит! Самому ему службы не видеть. Александр Михайлович продолжает, гордится племянницей: – Характер у нее сибирский. Императрица, навестившая институт, спрашивает: «Почему, Нонушка, ты говоришь мне «мадам», а не называешь «мама», как все девочки?». Она отвечает: «У меня одна только мать и та похоронена в Сибири».

Вильгельм Карлович очарован мужеством маленькой Муравьевой. Их всех здесь жизнь сделала крепкими... «Янгабава – иглоукалывание, янгабава... – В голове непорядок: радование за него собрало союзников у Фонвизиных, а у него «янгабава, янгабава»... Да это же китайское «ян бай» – точки на голове, используемые при глазных болезнях. Это Акша... Анна Александровна!

«Люди меняют времена или людей время?!» Мысль споткнулась на давней заданности вопроса. Он, передумавший многое, переосмысливший, повторяет нелепый вопрос веков. Мудрец! Нет ничего совершенней времени. В лете своем, вышныривает оно из кошевы надувные шары величеств, сиятельств, громогластв, дуролепств. Не успевать, не отставать, не опережать – что просто невозможно – надо лететь со временем, то есть быть им. Нет ничего постояннее времени!

Седые волосы освобождают мысль от мелочей.

Да, Александр Михайлович, говорят, несчастлив в браке: жениться на гувернантке из дома родителей! Сварлива, цинична – бюро цен на рынке товаров, отношений и взглядов. Да! Но то, что она здесь, что-нибудь значит, стоит чего-нибудь по рыночным ценам?! Жозефина Адамовна, как все женщины, чьему примеру она следовала, – в ином временном измерении. Только чистота признается в нем, человечность, какой мы ее понимаем.

...Следующим пунктом в императорском отказе г-же Муравьевой значилось:

«З-е. Что как второй сын г-жи Муравьевой, Александр, добровольно отказался от дарованной ему высочайшей милости быть обращенным на поселение и сам просит о дозволении оставаться с старшим братом своим в Петровском заводе, то не-

минуемо должен он подвергнуться и всем тем правилам, коим подлежат находящиеся в означенном Заводе государственные преступники, а потому и не может он иметь дозволение переписываться с родными своими».

Отказывалось по всем пунктам.

Со временем этот документ попадет в руки Нонушки, на обратной стороне его она выведет: «Свидетельство жестокости и сухости сердца покойного государя Николая Павловича. Прости ему, господи, и упокой его душу! И прости, как простили мы, пострадавшие».

Древнейшая христианская молитва, чуть измененная в переложении.

Михал Александрович коснулся руки Кюхельбекера:

– Александр Михалыч у нас забредил губернаторством. Говорит, если один Александр Муравьев был им в Tobольске, почему второму Александру Муравьеву не оказаться в том же ранге?!

Вильгельм Карлович, не вникая, острится:

– Александра Второго или Муравьева – второго?!

И осекся: что же сказал? Александр Второй не исключен – он, кстати, уже побывал здесь. Но Муравьев-второй? Был ли первый? Был: Александр Николаевич, создатель первых тайных обществ, не в каторгу, на губернаторство сосланный в Сибирь... Так что Муравьев-второй возможен в Tobольске.

Хозяин и гости шутку Вильгельма Карловича приняли.

Фонвизин даже увидел в ней такое, на что счел нужным ответить обезоруживающим откровением:

– Мы все тут в меру своих способностей работаем. Я только что направил правительству проект освобождения крестьян от крепостной зависимости, но Степан Михайлович скептически относится к моим прожектам и надеждам. Может, оно и правильно.

Губернский столоначальник Семенов, Степан Михайлович, поздравления передал заочно: всем сразу собираться опасно – начальство настораживается. Опасность относительная, но все же...

– Меня теперь больше увлекают социалистические и коммунистические идеи...

– Да?! – растерялся Кюхельбекер. У него вместе с двадцатью годами жизни отнята возможность идти с нею в ногу. Признанный политик Лицея оглушен, подавлен. Он только-только еще приближается к возвращению.

– Эти умозаключения так же древни, как древен антагонизм между богатством и бедностью, – продолжает Фонвизин, – и в них не все ложь, есть и привлекательные черты...

– Не черты ли пророчества Исайи? – вставил Анненков.

Фердинанд Богданович, всем так необходимый, незаметен среди присутствующих. Незаметно его выходное платье, незаметно его появление. Он живет не своею жизнью – жизнью этих людей, растворен в них.

Вырастает гномом-лесовиком:

– Извините великодушно. Но Вильгельму Карловичу, полагаю, на сегодня достаточно.

М. А. Фонвизин. 26 марта 1846 г. И. Д. Якушкину

«Когда я в первый раз увидел приехавшего сюда Вильгельма Карловича, то с горестным чувством подумал, что он совсем безнадежен. Однако теперь ему гораздо лучше – лихорадка его оставила, и Вольф надеется вернуть зрение одному глазу...»

Дронюшка радовалась поздним возвращениям Карлуши: «Набрел-таки на своих; не каждая бродящая душа набродит. Обрадовавшись, спохватывалась: жене ли радоваться-то?! Не жене, думала, – матери. У нее трое детей: Мишенька, Юстина, Карлуша. А их надо устраивать в жизни.

Стараньями друзей они снимали домик. За малую плату.

Дети к его приходу спали.

В чистой комнатке горел молчаливый свет. «Хорошо им без меня, покойно». Руки Дронюшки ставили перед ним сковородку с рыбой неведомого названия, ворковал ласковый голос:

– Гулеванам обед на столбе, да один ты у нас, Карлуша.

Стрелы ее бровей и ресниц не яд несли в наконечниках
– страсть. От бурятских скул веяло степью...

Вольф с Бобрищевым-Пушкиным варили травы, поили его отварами, закапывали в глаза зелено-коричневые капли, но он кашлял и кашлял, зрение не восстанавливалось, не рассасывались бельма.

Дети росли при нем – без него. Он любил их жалостливой любовью.

Тая сокровенное, говорил Мишеньке:

– Вырастешь, доктором станешь.

Пытался обучать его латинскому языку, но, слепой, – с голоса:

– *Amat victoria curam*, – произносил фразу. И переводил:
– Победа любит старание.

– *Amat victoria curam*, – неуверенно повторял Мишенька.
– Победа любит старание.

– *Aguila non captat muscas* – орел мух не ловит.

– *Aguila non captat muscas* ...

XXIX

День переполнен солнцем.

Окруженный заботой друзей, причащающийся философии, искусства и Бога, пользующийся Вольфом – имеющий все, чего недоставало в Кургане – Вильгельм Карлович возрождает в себе убеждение: каждая жизнь да служит к украшению мира земли! Пока от губ не отлетело дыхание, смыслом жизни пусть будет жизнь. Рассуждения шатки, безотносительны: ему надо, во-первых, удержать ее!

Натальи Дмитриевны хватает на все: на обсуждение мод сезона, последних политических новостей, на богослужения, составления гороскопов.

Солнце. Березы. Синее небо.

Они ходят между надгробий Завального кладбища – погоста, места вечного успокоения, вынесенного за городской вал.

– Ваша планида в созвездии Близнецов, вы родились под их знаком, – проникновенная Наталья Дмитриевна на спутника не глядит, волхвует. – Как и большинство гениальных людей. Интересы Близнецов разнообразны, они любопытны, способны к языкам. Вы одним не соответствуете планиде: Близнецы легко приспосабливаются к обстоятельствам.

– Я приспособлен только к каземату, увы! Но иных условий на Руси нет.

Ей возразить нечего.

Он уходит в себя: «Кто разобьет цепи, над которыми мы занесли молот?!»

– ...при неуверенности в себе страдают маниею величия; страх перед одиночеством приводит их или в компанию самых ничтожных людей, или... – доносится до него.

«Лучше с умным в аду жить, чем с дураком в раю. От одиночества не бегут к одиночеству, но мне надо какое-то время побыть одному. Хорошо побыть...»

Неловко шутит:

– Сейчас вот споткнусь, лягу между могил и не встану.

– Ваши шутки порой дурны.

– Мне не до шуток. – Подводит ее к могилам Барятинского и Краснокутского: – Уже и место облюбовал: буду лежать между ними.

Лежать между философом, не признающим Бога, и обер-прокурором Сената, защищавшем Бога. Их посредником на том свете.

Разговору людей скорбно внимает церквушка Семи отроков, построенная в 1776 году геодезии сержантом Андреем Абариным. Сухонькой инокиней стоит она подле, поджавшаяся, сирая, для нее все одинаковы здесь – и кто в земле, и кто в

нее еще не вернулся. Внутри церквушки, как в душе, для тех и других горят свечи. Теми и другими живет она – за их счет.

В зеленой печали недвижно опустили ветви березы.

«В них все русское, но особенно – печаль. Они всюду уместны. И здесь – как души скорбящих».

В тех же зимних одеждах, только без шапки, взявшись откуда невесть, по дорожкам кладбища бродит монах-расстрига. Из разбитых сапог вылезают онучи, полы драной поддевки тащатся по земле. Кошунствуя, он срывает с могил цветы, собирает в букет. В сваленных патлах, касающихся травы, в согбенной немощи ютится лядащий вызов: «Знаю, – кошунствую, да делаю нарочи!». Сорвет и обратит безумное лицо к небу.

«Посредник между тем и этим миром?!»

Вильгельм Карлович останавливается. «Прорастающими на могилах грибами, цветами, травой дают весть о себе погребенные. Святотатственно лишать их общения с нами».

Наталья Дмитриевна прижимается к его локтю – испуганно колотится ее сердце.

Расстрига несет перед собою букет. Приближается.

– Изыди, дьявол! – расставленными пальчиками выдвинутой руки защищает она. – Изыди!

Неподвижные седые глаза под седыми бровями слепы:

– Тебе, государыня.

Она закрывает лицо рукою, прячется за Кюхельбекера.

– Изыди!

Рот расстриги ломает ехидный смешок – обнажаются десны с выкрошенными зубами, под дряблой кожей на шее натягиваются жилы:

– Поманил польститься!

Химеры мира сего всюду преследуют Кюхельбекера.

Он заслоняет собою даму.

– Я узнал тебя, барин. Ездишь с одною, гуляешь с другою.

И лица не прячешь. А вот остяк, женившись, стыдится тестя, ибо, домогаясь его дочери, выказывал греховные помыслы...

Наталья Дмитриевна шла ни жива ни мертва. Он не знал, как сказать монаху оставить их.

– ...и сноха перед свекром своим, перед старшими родственниками мужа никому до смерти лица не показывает, закрывается вокшимом.

И ворота рядом, а не дойти.

– ...думаю, оттого это у них происходит, чтоб свекор не покусился на жену сына... – и ехидный смешок.

В светлых одеждах, прохаживаясь у коляски, их поджидает Михал Александрович.

– И какой из проклятых вопросов бытия вы успели обсудить, господа? – Он светится жизнелюбием, неувядаемой силой. – Надеюсь, бытия земного, не загробного?!

Генерал сторонился религии, над приверженцами ее подтрунивал.

– Мишель! Вы неделикатны, – усаживается в коляску Наталья Дмитриевна. – Взгляните туда. – Указывает глазами на замершего в воротах расстригу. – Ужас! Выходец с того света. – Не скоро, но она успокаивается – в ней вспыхивает новый огонь. – А вы – какие вопросы?! Ставите меня в неловкое положение делать вам замечание. У каждого человека свой мир, свои границы. Генералам надлежит охранять неприкосновенность их.

Фонвизин запонукал лошадей:

– Ваши импровизации безупречны. Аргументации достойны офицера Генерального штаба.

– Вступитесь, Вильгельм Карлович! Он своей солдатчиной доканает меня. Ни одной мысли без отрыва от вытянутого носка сапога!

Кюхельбекер думает: «Счастье все-таки есть. А значит, и любовь... Анна Александровна!.. Анна Александровна!»

– Увы, – отвечает. – Я промах в делах военных. Это Государь все хочет видеть меня в офицерских чинах.

Фонвизины переглянулись. Есть разные выражения, определяющие комичность положения: «собака на заборе», «как на корове седло», однако офицерский мундир на Кюхельбекере!

Смешно. Но смеху мало.

Михал Александрович обрывает его.

– В свое время как мы переживали, читая в иностранных газетах драматические описания войны оппозиции с правительством в конституционных странах, – под изящными усами каменеют губы. Вожжи постегивают то одну, то другую лошадку. – А в нашем единоправном захолустье оппозиции нет – вырублена. У нас проще. Какие там «за» и «против»?! Кто слово правды скажет?!

Кони мерно качают крупами, серые в яблоках. Коляска легко покачивается на рессорах.

Россия недвижимой тайгою, разливом могучих рек лежит на восток и север, светлой березовой марью, ширью степей – на юг и запад. Над всеми краями света голубеет высоким небом.

По Иртышу вверх, взблескивая веслами, идет тяжело груженная лодка.

Пахнет пылью – в Тобольске мало деревьев, мало зелени.

Золотом горят купола церквей, белеют стены соборов.

Окраинная Россия.

Он начинал походить на Повало-Швейковского – слабел день ото дня. Ни жизнь, ни смерть не обманешь. Перед его глазами, перед глазами его души – мельтешенье; он ни на чем не может остановиться: лица, характеры, даты, история, мир... Он безнадежно отстал – не поспевает нога за шагом союзников.

Тесная лестничка в мезонин, где разместили библиотеку Фонвизины, слишком крута для Вильгельма Карловича. Он слаб, он пожинает плоды десяти лет крепостей, десяти лет ссыльных сибирских мыканий, убивающих медленно, изо дня в день, из года в год на глазах родины, на глазах идущих вослед поколений.

Невозможность читать не может разлучить его с книгами; поднимаясь сюда, он удовлетворяется молчаливым единением с ними.

«Отечественные записки», обошедшие запрещение, признали его достойным писателем. Он вспыхнул надеждой, раскованным увидел себя, мир раскованным, услышал свой голос в нем... Время сложило крылья надежде, радость обернулась печалью.

– Все так поздно. И так ничтожно мало!

Он стал разговаривать сам с собою.

Сидя в кресле перед книжными полками, поднимает и опускает зонтики над глазами, будто проверяет, не ошибся ли, что слеп, не ошибся ли... И с горькою остротой вдруг понимает: жизнь лишается смысла – он не может читать и писать.

Сухие тонкие губы трогает язвительная усмешка: не такая уж редкость для России слепой литератор.

Изгнанный братией за суетность мысли, монах Абалакского монастыря появляется в памяти, протараторивает ее текучею речью. Оседает одно: «Кумирам и болванам никакого служения нет».

...Книги разговаривают с Вильгельмом Карловичем голосом Натальи Дмитриевны.

«...а с ними послал воевод своих князя Семена Болховского да Ивана Глухова, и к тому Ермаку и к отаманам и козакам посла с своим государевым с великим жалованием; а к Ермаку повеле государь написать не отаманом, но князем Сибирским. И воеводы князь Семена Болховского в Сибири не стало...»

«Многих фамилий в России не стало!»

XXX

Комната узостью и полумраком похожа на склеп. Полосы незаконного света скрывают лицо Вильгельма Карловича, по случаю нездоровья не встающего с постели, вспыхивают дужками очков Ершова, Петра Палыча, – тридцатилетнего вдового инспектора мужской гимназии. С отечным лицом, рыхлый, тяжело поскрипывающий стулом, он представляется Кюхельбекеру истинным образчиком здешнего чиновничества – и все вроде бы на лице написано,

а ничего за ним, за очками не разглядишь... Петр Палыч – чиновник особенный: в тридцать лет уже не ведомствам, не министерствам принадлежит, но истории – его «Конек-Горбунок» обречен на вечную жизнь в русском народе... Кюхельбекер устал.

Он смотрит из-за полосы света на Петра Палыча, слушает. Разговор их серьезен – о воспитании юношества.

– Ваша статья в «Отечественных записках», – говорит Ершов, – удовлетворяет меня главным: есть люди, кровно озабоченные состоянием изучения родного языка, состоянием преподавания его, вообще состоянием педагогической науки. Внушительен и тщателен перечень авторов, в особенности немецких. Ныне появляются сотни статей по теме нашего разговора, это хорошо, плохо то, что в спор вступают люди мало сведущие, часто лишенные духовной дисциплины, а их слово преподносится как последнее... Темна вода во облацех. Наломать дров сверху, а мы расхлебывай.

«Похвальбы мне поздны, – думает Кюхельбекер. Он тяжело недомогает сегодня: с утра кашель и кашель, щеки сжигает жар. – Знатоками я всегда буду понять».

Говорит:

– Так уж повелось: один глупый бросит в море камень – а сто умных не вынут.

– Именно.

«Обременен детьми, долгами, невзгодами, – закашливается в своем полумраке Вильгельм Карлович, – обременен службой, но искра Божия теплится в душе, не дает покоя. Искра Божия – правда, которой внимает народ как откровению Всевышнего. Только власть предрежащим она противна, и, христиане, они не дают ей права быть услышанной паствою. Просвещенный ум на Руси обречен чувствовать себя находящимся посредине тоннеля, в котором нет дороги назад, ибо там его убеждения, он несет их в себе, но и впереди мрак, которому те убеждения ненавистны. Потому не веселия ищет на Руси просвещенный ум в водке, но забвения, – додумывает он грустную мысль, – и

оно на него снисходит, увы, не столько на него, сколько на его жизнь: человек оказывается в забвении. Застоялый воздух империи губителен для всего живого».

– Memento mori, – наставлял меня свеаборгский пастор, – садится в постели Вильгельм Карлович. – Помни о смерти. Но я заклинаю всех: «memento vivere!»

А у самого перед глазами – расстрига, привидение с Завального кладбища.

– Помни о жизни! – переводит Ершов. – Она – наши воспитанники. – Он помнил о жизни. Потому говорит: – Наше призвание испокон высоко почиталось. Ювенал освящал его именами богов: они хотят, чтобы учитель заступил место отца. Цицерон утверждал: воспитание и обучение юношества – вот величайшая заслуга перед государством.

Кюхельбекер подался вперед, голова оказалась в потоке света – серебряная, лицо в морщинах, под черными зонтиками горят слепые глаза; для него не вновь изречения древних.

– Да! Государственная ответственность учителя!

Петр Палыч заскрипел стулом. Убогость педагогической практики в их гимназии приводит его к горькому откровению:

– Увы, наш вертеп сглазили черти. Преподаванием мало кто интересуется – все в беге за чином, он же редко когда соответствует педагогической подготовленности, чаще – наоборот. «Та сторона умения в понимании тех или иных помещений в аспекте недозанятости их вниманием господина инспектора отклоняется в сторону непонимания дисциплины учащихся...», – говорит наш директор.

– Тупо сковано – не наточишь; глупо рожено – не научишь, – говорит Вильгельм Карлович, но мысль его уже оторвалась от тобольской действительности, он видит Россию. – ...А сверху тоже педагог, не его сиятельство министр просвещения, выше...

– О чем и сказ...

– Дидерот переписывался с Екатериной Великой, был любезен в письмах, а что думал о России? «Великим несчастьем

для страны был бы справедливый, непреклонный, просвещенный деспот; еще хуже два или три подобных благодетеля подряд. Народы, не разрешайте вашим так называемым владыкам делать против вашей общей воли даже добро...» А у нас таких-то подряд столько и есть...

И закашлялся, острым подбородком тычась во впалую грудь.

В сентябре, еще не зная о случившемся в одиннадцать часов пополудни одиннадцатого августа, Трубецкой напишет Бригену:

«Известия твои о Вильгельме Карловиче Кюхельбекере подтверждаются письмами из Тобольска. Он, кажется, не жилец на сем свете; и я полагаю, что его убивает поэтическая страсть его. Если бы он имел частицу прозы своего брата, то был бы здоровее. Поэты с горячими чувствами долго не живут. Долго жили Гете, Вольтер, люди холодные».

XXXI

В фонвизинском доме звучит фортепианная музыка, отвыкшее ухо ловит полузабытые звуки пиес Гайдна, почтительные голоса: «Ваше высокоблагородие», «Ваше превосходительство» – чиновники, офицеры, губернатор в гостях у Фонвизиных.

Чувствующий себя лишним среди здоровых, веселящихся снизу людей в блестящих мундирах, во фраках, сшитых петербургскими портными, в блеске украшений и обнаженных плеч женщин, он удаляется в одинокую библиотеку, но и там не в силах разобраться с собой. Нужда, постоянно преследующая его нервическую натуру, заставляющая жалеть о тюремной камере, даже в тобольской благорасположенности давила и угнетала... И он в горячности мелко, несправедливо начинал упрекать друзей, чей удел был посноснее, в забвении ими порывов юности. Жанно Пущин в ответ на неожиданные обвинения в последнюю бытность его, Кюхельбекера, в Ялуторовске прислал сюда неторопливое, умное письмо: во всех положениях есть разница состояний, во всех положениях она, может быть, влияет на отношения, но в их положении богат только тот, кто сам может производить

и отдавать, а в этом смысле он, Кюхельбекер, много богаче их всех. Он готов согласиться, но эта музыка, забытый свет и светские разговоры вокруг!.. Разница в их состоянии несоизмерима; его курганская избушка – как опрокинутая лодка перед Зимним дворцом в сравнении с домом Фонвизиных. Волшебный Гайдн, светское общество, за садом ухаживает садовник, выписанный из Петергофа. А князь Барятинский, светлейшей души Александр Петрович, о котором некогда говорили, что он ассигнациями раскуривает трубку, перед самой кончиной своею униженно, Христа ради, просил у сибирского генерал-губернатора князя Горчакова выдать ему двести рублей денежного пособия из каких-либо казенных сумм... В одиннадцать рублей три копейки оценили судебские оставшееся после него состояние.

«Мир праху опередивших нас!»

За окнами проклятые дали Сибири, темная Россия со светлыми лужайками детства и отрочества в купавках остзейского местечка и мест уединения царствующих особ. Все течет, все изменяется. В одну и ту же реку не войти дважды... В противополоственном для него сословном тщеславии Вильгельм Карлович выпрямляет плоскую спину: не виси рока над судьбами их семьи, его имя могло бы быть среди титулованных особ государства Российского – приди на месяц-другой позже смерть к императору Павлу, быть бы в Гербовнике новой графской фамилии. Но Карл Иванович Кюхельбекер увидел своего благодетеля у врат вечности раньше, чем тот успел подписать указ.

Он опускает зонтики над глазами, откидывается в креслах. К нему приходит дремота. А вместе с нею Пушкин, Александр Великий: стоит у барьера с пистолетом в руке и говорит секунданту его, Кюхельбекера: – Дельвиг, встань на мое место, тут безопасней! – Он, Вильгельм Карлович, взрывается от неслыханного уничтожения, берет прицел и отворачивается, чтобы не видеть безразлично спокойного взгляда противника. Жмет на спусковой крючок – и простреливает цилиндр на голове рядом стоящего Антона Антоновича, лишь по известной лени не поспешившего на зов Пушкина.

Из полузабытья его возвращает не эта стрельба, мысль: как он мог поднять руку?! Лишь иностранец мог пойти на такое...

То ли чье-то колкое слово, то ли что-то подспудное собственное шевельнулось далекой обидой в душе, но не всплыло, не выявилось.

– Кто я?!

Это-то главное.

Фамилию хозяина дома на великой Руси с писарской непогрешимостью продолжают писать «Фон-Визин», но для русского человека она уже со времен его дяди Дениса Ивановича слышится «Фонвизин» – как будто и не пахла запахом иностранным. А он, Кюхельбекер, беспризорен, жалок, нищ, его корни обрублены в Германии и не пущены в России.

Время неумолимо. Четыре года назад он дивился тому, что не может постареть душою, несмотря на все претерпенное – его сердце горело любовью к кроткому ангелу в образе пятнадцатилетней девочки, последним безумьем после дней страсти горело. И безответно. Где она, Анна Александровна?! Да, он стар. Лечь бы и уснуть. Окаменевшее сердце давно не отвечает слезами на уход из жизни даже близких душе людей, утешается христианскою верой, что в небесную отчизну возвращаются существа, слишком совершенные для русской земли, погрязшей в пороках, стыдных для нынешних дней человечества.

В дремлющем сознании сумрачный лодочник Харон перевозит его на тот берег Леты, реки Забвения, остается на этом только теряющийся голос Татьяны Лариной, так поздно и так далеко встретившейся с Ленским. Неужто Ленский – единственное, что останется от него, Кюхельбекера, – единственное, увековеченное хоть и пером друга, но все же чужим пером?!

Пленительный Гайдн сменяется балльными танцами.

Фонвизинский дом дышит офицерской молодостью среди обступившей сердце Вильгельма Карловича темноты.

В зеркале, встроенном между шкапами, отражен разрушенный временем и невзгодами старец. Длинный нос над запавшим

ртом и выступающим подбородком, черные зонтики над глазами: уродливый старик, одною ногою стоящий в могиле.

– Старый брюзга!

Слова сорвались неожиданно, громко. Он вытирает непроизвольно выступившие слезы, ему хочется вернуться в счастливое время своей неудачно сложившейся жизни.

«Пушкин, Пушкин! Дорогое, вечно тревожащее душу имя. Оно приходит в нужное время. Пушкины – утверждение жизни, они призывают к оружию, оно само тянется к ним. Левик Четырнадцатого Декабря стоял в заградительной цепи князя Одоевского с палашиом, отнятым чернью у жандарма... Но и Мишенька Глинка был на площади...»

– Дросида Ивановна?! Сейчас позовем.

Она приходит за ним к Фонвизины. Он ощупью сходит с крутых ступенек лестницы мезонина,

– Дронюшка, что бы я без тебя делал?!

Она не отвечает, берет его за руку – которую неделю с ним поводырем ходит, а ему все Фонвизины да Фонвизины, будто своих книг мало: все едино неймут глаза, только что разве в руках подержит. Плох, ох, как плох Карлуша, но душой не смиряется, тянется к своим, да забыл: мужу нужна жена здоровая, брату – сестра богатая. Рука, держащая горячую руку Вильгельма Карловича, холодеет: «Не сама ли худо накаркала?! Он так был счастлив в тот день в Кургане, когда поминали Александр Сергеича, а она: к нашему берегу не пристанет дерево. Вот и не пристаёт, уплывает... А куда она без Карлуши?! Одна, с детьми... С детьми?! – Притягивает его к себе, становится на цыпочки, целует. Он изломанно теряется, но губы ее находит. Вскольхивается останавливающаяся кровь – ярко вспыхивает свеча перед тем, как погаснуть.

Размягченная слабость – ноги отказываются идти...

А у нее неотступное: «Без детей, одна. Куда? В Баргузин?! А там... Або что батька, да хуже свекра... От одного берега оторвалась, не пристала к другому. Авось – вся надежда наша».

Ему говорили – летние ночи в Тобольске так же белы, как в Санкт-Петербурге, но глаза устали смотреть на этот мир, потому заволклись бельмами: ему все равно, какие ночи в Тобольске. Он в прошлом и настоящем одновременно. «Все во времени и пространстве соединимо» – не дает покоя неотвязная, настойчивая мысль... Над всеми из них, Кюхельбекеров, распластан черными крыльями фатум, заставляющий делать то, чего делать не надо, помнить то, чего нельзя помнить. До конца дней Карлу Ивановичу Кюхельбекеру, отцу, часто виделись наяву ноги государя императора в белых подштанниках, по колена выглядывающие из камина, где он пытался спрятаться от убийц, виделся шарф на спинке кровати, слышался крик человека, этим шарфом лишаемого жизни. И взблеск табакерки...

У самого порога все срывалось у них, Кюхельбекеров, низринывалось в тартарары, смущало разум. По наследству покровительство их фамилии перешло к великому князю Михаилу Павловичу. Именно в него, в великого князя, пытался стрелять на Петровской Вильгельм Карлович: отец в трагические мгновения выказывал решимость спасти самодержца, сын – с не меньшей решимостью пытался стрелять в самодержавие. Пистолет дал осечку. И в том, что была осечка, что целился он в покровителя семьи, многие видели одно из звеньев в цепи бестолковых выходов, сопровождавших его всю жизнь. Вот и Дронюшку Жанно воспринимает как одну из причуд лицейского товарища. А что бы он без нее делал?! Пусть она не всегда понимает его, не всегда права, он отдаст справедливость ее человеческим достоинствам, позволяющим ей воспитывать детей, содержать их и его...

Ночь шелестит листвой, всплеск весел доносится с Иртыша. Прелью болот отдает запах хвои. Он слышит, чувствует ночь – не видит.

Черная белая ночь.

Родная Дронюшкина рука мягка. «Дронюшка, Дросида Ивановна!»

Он ей не читает стихов – они ее недруги.

Но стихи – его жизнь, его сердце.

XXXII

Переписчик подносит свежие листы с его стихами.

Он просит сына взглянуть – ладно ли? И благодарит обоих. Он готовится в дальний путь и земные свои дела хочет привести в порядок.

В печатании ему отказано. Но чем иным, уходя, он может обеспечить семью?

Единственный человек услышит и поймет его – Жуковский.

Старательное перо семилетнего Мишеньки, носящего веленую Императором фамилию Васильев, выводит на почтовой бумаге слова непривычно спокойного отца:

« ...дни мои сочтены: ужели пушу по миру мою дорогую жену и милых детей? Говорю с поэтом, и сверх того полуумирающий приобретает право говорить без больших церемоний: я чувствую, я убежден совершенно, точно так же, как убежден в своем существовании, что Россия не десятками может противопоставить европейцам писателей, равных мне по воображению, по творческой силе, по учености и разнообразию сочинений. Простите мне ... эту гордую выходку. Сердце кровью заливается, если подумаешь, что все, все мною созданное, вместе со мной погибнет, как звук пустой, как ничтожный отголосок...»

Дронюшка укладывает его в постель, укутывает лоскутными одеялами и уходит. Ни он, ни она не знают, как далек и горек будет ее путь. Она вернется в свои края, оставив детей друзьям и родственникам Вильгельма Карловича на воспитание, будет существовать на государево пособие, но, влекомая сердцем туда и к тому, где и чем жил когда-то муж, ненадолго окажется в Казани и по выходу в свет сочинений Карлуши узнает истинное значение его, и через сорок лет после его ухода отправится вослед за ним в пресветлой столице империи Санкт-Петербурге.

Горсть земли первым на крышку ее гроба бросит князь Михаил, сын Волконских.

Офицер русской армии с университетским образованием Михаил Вильгельмович Кюхельбекер, несущий на себе славу

отца, а в сердце – завидующую память о нем, покинет мир в сорокалетнем возрасте, не оставив потомства и памяти о себе.

Юстина Вильгельмовна перекричит воды Леты, вызовет голос отца с берега Забвенья – издаст его стихи и поэмы.

Ему спалось дурно, урывками. В смене сновидений он являлся себе то восторженным лицеистом, читающим стихи царскосельским паркам, то секретарем камергера двора его величества, выступающим с лекциями в надменном Париже... Но, мерцая казенными пуговицами, издалека надвигалась и надвигалась, вырастая, фигура рыжего унтера, пока не застила горизонт и пуговица не вспыхнула перед глазами слепящим солнцем. Он падал в бездну, больно ударяясь о ее каменистые бока. Но оказывалось, что лежит он на полу парижского зала, где, увлекшись доказательствами, размахивая руками, сбил с кафедры лампу, графин с водою и рухнул к ногам хохочущей публики.

Седой человек с острой бородкой помогает ему подняться, говорит:

– Поберегите себя, юноша! Вы нужны своей родине!

Но у него уже не седина, а черные, как сибирская ночь, волосы, узки и раскосые глаза, у него нет бородки, есть черные висячие усы.

Вильгельм Карлович понимает – перед ним не старый якобинец, но царь Кучум.

Повелитель Сибири поднимает лук, прищуривает узкий глаз.

Кюхельбекер хватается за сердце.

В разверзшейся тишине только слышно, как звенит тетива...

Утро застало его сидящем в постели.

Он претерпел много, но всегда утешался мыслью, что его главное дело – литература – всегда была с ним: ее не отняли ни тюрьма, ни ссылка. Он готов еще раз повторить свой путь – только бы она оставалась с ним.

Но вспомнившиеся во сне слова старого парижанина обожгли сердце гордою мыслью, новым светом осветили несклад-

ную жизнь. Пусть гибнет все, что он написал, пусть остается забытым. Главным в его жизни был Декабрь, он Декабрем, более чем всем остальным, причастен России как родине. У людей Двадцать пятого года – одна судьба. И все они равны перед нею. Человек в «Атенее» предвидел его судьбу:

– Поберегите себя, юноша! Вы нужны своей родине!

«О СМЕРТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕСТУПНИКА ВИЛЬГЕЛЬМА
КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Его величество изволил читать 4 сен. 1846.

г.-л. Дубельт

Состоящий в должности Тобольского гражданского губернатора уведомил меня, что поселенный в Курганском округе, Тобольской губернии, и находившийся временно, для излечения глазной болезни в Тобольске, государственный преступник Вильгельм Кюхельбекер 11 числа Августа умер».





**РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ
ЭССЕ**

Хан

I

О нем знают все, его мало кто знает.

Тяжелый мех лисьего малахая закрывает уши и шею, узкое лицо бело и продолговато. Для здешних мест хан необычен видом – Бухара его родина. «...очи же его кровавы, аки зверя-человекоядца, и велики, аки буйволы». Хан несуетен, прост:

– И ныне похочешь миру, и мы помиримся, – говорит он в письме Ивану Грозному, – а похочешь воеватися, и мы воюемся.

В Великой степи перемещаются роды и племена, в дальних странах неверных всходят на престол новые люди, отходят старые – он зорко прищуривается, делает выводы, сделав, взмывается в седло, обнажает саблю.

«Ныне хвалится де сибирский царь Ишибана идти на Пермь войною». – Жалуется Грозный.

Ишибана жесток: даже его держит в беспокойстве. Мудр и коварен: турецкая армия вкупе с крымской ордою идет в поход на Москву, но терпит поражение – хан спешит с поздравлением и подарками к государю всея Руси, в Посольском приказе пишут: хан просит, чтоб царь и великий князь взял его в свои руки, а дань со всей Сибирские земли имал по прежнему обычаю. Государь велит дьякам изготовить золотую печать, привешивает ее к грамоте с текстом присяги и отправляет в Сибирь. Но крымские татары опять

идут на Москву, дотла сжигают ее – хан, поддерживая ордынцев, подбивает на восстание Казань и черемисов, посылает своего родича Маметкула опустошать поселение по Чусовой. Тот переходит за Камень – и льется кровь.

Каков хан, такова орда.

II

Сибирский царь Ишибана. Кто он?

Кучум.

Мавераннахр называется междуречье Амударьи и Сырдарьи, там его корни, в песках, где вода – только в фонтанах дворцов, в прудах:

*Ветерок выписывает на ней круги, похожие
на отполированные кольца кольчуги...*

В 1451 году здесь появился на свет Шах-Бахт Муххамед Шейбани, не прямой, но потомок Чингисхана и Батыя, тот, кто положил начало государству узбеков. Он был поэтом и следовал древнему постулату:

*Трем играм сопутствуют ангелы:
забавам мужчины с женщиной,
Конским бегам и состязаниям в стрельбе.*

Он любил острые ощущения: в 1498 году на милость его сдалась крепость Шираз, в 1500 году сложили оружие Самарканд и Бухара, в 1503 – Ташкент, в 1504 – Фергана и юг Мавераннахра.

У него было много жен и детей, он любил верховую езду: то киргиз-кайсацкие степи видели его скачущим, то Мангышлак, то Хорезм. Он имел широкую душу – раздавал родственникам города и земли, пока однажды не обнаружил, что у него ничего не осталось. Обнаружив, объявил войну всем – и родственникам и соседям. Не войну – точнее, разбой, грабеж.

Но пошел за голову – и свою неси: персидский шах Исмаил Первый в одной из схваток разгромил его войско, пленил и обезглавил полководца – любителя и сочинителя стихов, а из

его черепа сделал чашу, чтобы сила и мудрость побежденного перешла к победителю.

Потомки Шейбани назывались шейбанидами, на языке Грозного – Ишибана.

Шейбанид Кучум кочевал далеко от праотчих краев – в верховьях Иртыша, Ишима, в степях Барабы и Алтая: своего надела в Мавераннахре у него не было – не досталось.

III

В то самое время, когда Шах-Бахт-Муххамед Шейбани писал стихи, завоевывал и дарил города, великий князь и всея Руси самодержец Иван III Васильевич в походах против своих врагов-русичей, братьев по крови и оружию, «грабиша и плениша, токмо мечи не секоша», собирал Русское государство. Они оба и думать не думали, что когда-то потомки их встретятся, скрестят оружие, но после станут служить одному царю и одному Богу.

Куликовская битва, 1380 год, она показала лишь силу Руси – дань же она платила по-прежнему, по-прежнему князья ее ездили в Большую Орду за ярлыками на княжение.

В воскресенье 23 июля 1480 года Иван III, предводительствуя главными силами, вышел из Москвы для последнего сражения с Ордой, для встречи с конницей хана Ахмата, идущего на Русь большим походом.

Они встретились на реке Угре, неподалеку от Калуги.

К тем и другим подходили подкрепления. Видя равенство сил, обе стороны придерживались оборонительной тактики. Началось «стояние на Угре».

Ахмат требовал прихода к нему великого князя: «Жалую Ивана, пусть он придет бить челом, как отцы его к нашим отцам ездили в Орду». Требовал покорности и выплаты дани – «выходу не дает девятый год». Ему во всем отказали.

Надвигалась зима, бескормица. 8 ноября Ахмат отступил по морозу и снегу. 1480 год – не просто отступление Ахмата – крушение ордынского ига.

Иван Васильевич возвратился в Москву с победой. И возрадовавшись все людие радостию велиею зело.

Границы Русского государства стали стремительно расширяться. Летом 1483 года воеводы Иван Салтык Травин и князь Федор Курбский Черный дошли до Оби, спустились до ее устья. Местные князья признали вассальскую зависимость от России.

Однако русские появились здесь за несколько веков до этого похода. Уже в XI столетии оборотливые новгородцы, промышленные люди из других краев заводили торговые отношения с югричанами и обдоруо. Новгородские летописцы упоминают, например, о посылке сюда в XII веке с купцом Гурятой Роговичем своего отпрыска, упоминают о возврате из Югорской земли в 1364 году воевод Александра Абакумовича и Степана Ляпы, ходивших для присмотра новых земель и сбора дани. В 1465 году ходил за Казань Василий Скроба.

Следствием похода Салтыка Травника и Курбского Черного было то, что Иван III включил в свой длинный титул звание князя «Югорского, Кондинского и Обдорского».

IV

«Из давнишних лет Сибирское государство было вотчиною прародителей наших блаженныя памяти великих государей русских царей, как еще на сибирском государстве был дед твой Ибак-царь, и с сибирские земли великую дань давали нашим прародителям великим государям-царям; а после деда твоего Ибака-царя были на сибирском государстве князья Тайбугина роду: Магмет князь, после него Казый князь, после Казыя Едигер князь, и те все князи... с сибирския земли дань давали», – писал Кучуму сын Грозного – Федор Иоаннович.

...Ахмет отступил в степи, распустил по зимовьям своих мурыз с войсками и жестоко поплатился за это. Тюменский царь

Ибак воспользовался оплошностью собрата, вкупе с ногайцами ворвался в его ставку, разрушил до основания Сарай, самого хана пленил и по древнему обычаю отрубил ему голову.

Иноземных купцов, случившихся быть при этом набеге, всех отправил в Тюмень, в ее столицу Чимги-Туру.

Времена далекие, представления смутные.

Междуречье Туры и Тавды в среднем течение Тобола площадью побольше иной волости, но иного уезда поменьше, в XIV веке образовалось здесь Тюменское ханство, иначе Великая Тюмень. В оврагах речки Тюменки в нескольких саженях от места ее впадения в Туру разместила свои землянки столица ханства Чимги-Тура.

Ибак-царь вынашивал тщеславную мысль объединить под своей властью три ханства: Астраханское, Казанское и Тюменское, однако не смог удержать в повиновении собственные улусы: около 1495 года местные князья из рода Тайбуги восстали и лишили его жизни, объединили татарские улусы на Тоболе, Иртыше и основали там свою столицу Кашлык, население которой разговаривало на половецком языке. Ханство стало называться Сибирским. Чимги-Тура опустела.

В 1555 году тайбугин Едигер прислал в Москву послов поздравить русского царя с покорением Казанской и Астраханской орд, просил принять в подданство Сибирскую землю и обещал платить дань с 30700 своих черных людишек по соболю, да данщику по белке. Царь просьбу уважил, иностранным послам было объявлено: «Сибирский князь Едигер бил челом государю нашему, чтобы царь государь Сибирскую землю держал за собою и дань с сибирских людей брал, а их бы с сибирской земли не сводил».

Но в 1563 году в пределы ханства во главе узбекских, ногайских и башкирских сотен вторгся киргиз-кайсацкий повелитель Ишибана, разбил войска Едигера, пленил его самого и в память о своем деде Ибаке отрубил ему голову – поднятая на пике, она долго висела над входом в ханский шатер.

Внизу текла и шумела большая вода Иртыша.

Ночью в лоне ее появляются звезды,

ее можно принять за небо,

Рыбы плавали в ней, как птицы в воздухе...

На родине хана воды мало, она святая, ее нельзя ни купить, ни продать. Поэты слагают о ней стихи:

Гонцы воды стремительны, как кони,

Рванувшие от стартового каната,

Будто чистое серебро стекает с мчащихся

По дорожкам копыт.

В Москву шли грамоты: «Вольный человек Кучум царь соглашается признать Белого царя своим братом старейшим».

V

Деревянные стены Кашлыка давно прогнили, осели, осыпался земляной вал, но с реки городок смотрелся грозно, тем более что имел собственную артиллерию: казанский хан прислал сибирскому хану пушки для войны с русскими.

Внизу шумит Иртыш, живут черные люди, разводят лошадей и овец, ковыряются в земле, а севернее охотятся и рыбачат – чтобы ханский стол не был пустым.

Он научил их строить глинобитные жилища, обрабатывать металл, приучил к домашней работе – ткачеству, изготовлению гончарных изделий.

Хан запретил вогулам и осяткам платить дань московскому царю, его воины зорко следили за исполнением запрета. Укрепляя положение свое в сибирском мире, он женит сына Алея на дочери князя Большой Орды, за ногайского князя Уруса выдает дочь. Однако к бухарскому князю Абдулле по-прежнему обращается «Ваше высокостепенство», потому что остается его вассалом, исполняет ханскую волю – обращает подданных в магометанство: Абдулла трижды отправляет в Кашлык шейхов и сеидов под охраной воинов. Старая вера на новую заменялась сложно, кровью. Пропо-

ведь мусульманства имела успех лишь в узком кругу татарской знати.

Неумолимо время – Кучум стал стар.

А тут известие: идет войною казачий атаман Ермак, не только идет, но уже близко. Хан разослал гонцов во все концы с вестью о войне, – из улусов и стойбищ к Кашлыку потянулись воины. Чтобы не пустить Ермака к столице, на подступах к ней, на Чувашском мысу, сделали засеку, наверху разместили артиллерию. Верный Маметкул возглавил оборону Кашлыка.

«У реки Иртыша на берегу под Чувашеею быть с татарами первой бой октября в 26 день...». Поваленные деревья не смогли сдержать штурмового натиска казаков, артиллерия – отказала: ни одна пушка не смогла выстрелить, их обе столкнули навстречу атакующим – не задев никого, они упали в воду.

Ермак вошел в Кашлык и отправил в Москву с Матвеем Мещеряком и Черкасом Александровым да станицей известие о приобретении под государеву руку нового царства. Государь пожаловал казаков «многим жалованьем – деньгами и сукном». «А Ермаку указал государь быть на Москве».

В феврале, аки слуга христов пернат перелетев, прискакал из Москвы царев человек с вестью, что новое царство милостию принято, что на помощь атаману готовится к отправке отряд ратников.

А у Ермака начинался голод, припасы хлеба и соли, взятые с собой, кончались – пищу приходилось добывать мечом.

Кучум наблюдал со стороны, с берегов Иртыша, как боролся за жизнь пришелец, удовлетворенно думал: «Голод и волка из лесу выгонит». Однако и то он знал, что голодный волк сильнее сытой собаки, потому был осторожен, отбивать столицу не торопился, а выйдут неверные малым числом в лес – их перерубят ногойцы, отправятся на рыбную ловлю – их вырежет Маметкул: ныне все под его рукой – хан сдал, не по силам ему набеги и сечи.

Да вот и саблю из рук выбили: по подсказке завистливого мурзы выследили неверные Маметкула, и теперь он в плену.

Почувствовав поживу, зашевелились князья Тайбугина рода, стали сниматься с дальних становищ, приближаться к Кашлыку.

Кучум откочевал в Ишимские степи.

VI

«Не грешно, что дано, что силой взято – не свято».
– Хану дорога эта мысль: сибирская земля дарована ему Аллахом, казак Ермак посягнул на волю Всевышнего, гяур, смерть ему должна быть возмездием. Хан по-прежнему держал в осаде Кашлык, но уже на дальних подступах: не пропускал через Ишимские степи торговые караваны из Бухары, по прадедовской привычке громил и грабил земляков-единоверцев.

Кроме Бухары, с Сибирским ханством никто торговлю не вел.

Ермак возвращался Иртышом из военного похода в устья рек Ишима и Тары, когда пал ему в ноги бухарский гонец: защитить, мол, от ханского произвола. Атаман повернул струги к Вагай-реке. Начавшаяся гроза принудила заночевать в пути. Опытные воины – не год-два, а десятилетия в воинской службе, казаки разбили стоянку не на берегу, но на острове в устье Вагай, где и заночевали.

Только бухарский гонец не гонцом был – ханским лазутчиком: навел кучумовских воинов на казачий ночлег.

И пала грозная в боях,

Не обнажив мечей, дружина.

Это случилось 6 августа 1585 года.

Точнее, этого не случилось. Мечи были обнажены; на остров высадилась сотня, с острова на стругах ушло более девяноста человек. Остались на нем, «кровь свою пролиша Яков, Роман, Петра два, Михаил, Иван, Ермак». Те, кто прикрывал отход товарищей к стругам.

Гибель предводителя удручающе подействовала на русских, на казачьем кругу они дружно прокричали «Любо!» за оставление Кашлыка, вообще Сибири, загрузили струги немудрящими пожитками, сами погрузились и оставили Кучуму его столицу – полусгнивший деревянный городок, обнесенный земляным валом – ушли Иртышом на Обь, чтобы северским путем вернуться на родину.

Хан в столице не стал задерживаться, передал ее под руку сына Алея и откочевал в свои степи.

Но властью в Сибири завладел хан Сейдяк (Сеид-хан по-правильному) из старой династии, свергнутой Кучумом, табуны которого не успели скрыться за горизонтом, как он напал на Кашлык, принудил Алея бежать, в скоротечном бою погибло семь кучумовичей, а сам Алей в скором времени окажется в стане отца.

Кашлык стали называть Искером.

VII

По берегам сибирских рек уже стояли Тюмень, Тобольск, Пелым, Березово, Тара. Московские приказы советовали завести торговые и всякие иные сношения с народами Сибири и Средней Азии, предписывали: «ежели Бухарские и Ногайские купцы приедут в город Тару с товарами, лошадьми и рогатым скотом, то тамошним жителям иметь с ними свободный торг, обходясь с ними дружески... Ежели которые из них пожелают ехать с товарами и со скотом в Тобольск или Тюмень, то сие им тоже позволять». И действительно предлагалось Кучума-царя вконец истеснить.

Тарский воевода князь Андрей Елецкий отправляет вверх по Иртышу разведчиков проведать, где стоит хан, а у того одна забота: как избежать встречи с казаками. То его находят за рекою Омью, то за Ишимом, то за другими реками, окружившим стоянку телегами, – каждый раз разбивают, берут полон, а Кучум неведомым образом исчезает, уходит. То же самое происходит

при другом Елецком – Федоре: настигают, бьют кучумовскую рать, а он уходит – и в 1596 году, и в 1598 – через 11 и через 13 лет после ермаковской гибели. Воевода Воейков доносит: «...И пришел я, Государь, холоп твой, на Кучум-Царя в 20 день, на солнечном восходе и бился с Кучум-Царем до полдень; и Божиим милосердием и твоим государевым счастьем Кучума-Царя побил, а детей его царевичев и цариц его поймал и брата Кучумова...»

Самого хана не обнаружили; «в Оби-реке утоп», – говорили одни, другие, что «в судне утек за Обь-реку».

Это случилось 2 августа 1598 года.

VIII

30 апреля 1598 года в Кремль торжественно въехал, выслушал в Успенском соборе службу и поселился во дворце с царицей и чадами новый царь Борис Годунов. В сентябре ему приносят донесение Воейкова: «...И пришел я, Государь, холоп твой, на Кучум-Царя в 20 день...» А по росписи видно, что при окончательном побитии Кучума были взяты в плен пять его сыновей с Асманаком царевичем во главе, 8 кучумовых жен и 8 же дочерей, жена Алея с сыном и дочерью, жена Каная – дочь ногойского князя Уруса с двумя дочерьми, не считая прочих лучших и черных людей... И вот уже семейство хана останавливается у одной из московских застав.

В вынужденных скитаниях по степи без возможности грабить торговые караваны семейство хана изнищало в нитку. Годунов, повелел пленников мыть в бане, одежду же сжечь, да так, чтобы смрад не шел на Москву.

Нешуточные силы стояли против выбора Бориса Федоровича Годунова на трон великого государя. Литовские лазутчики доносили своему двору: на Москве некоторые князья и думные бояре, во главе же их особенно князь Бельский и Федор Никитич Романов со своим братом, и немало других. А кое-кто стоял за избрание Симеона – касимовского хана Саин-Булата, коего Иван Грозный,

наскучив кровавыми зрелищами, обратился в великого князя всея Руси под именем Симеона Бекбулатовича, а сам ушел в монастырь. Всей великой Руси со бояр, дворяне и холопы нанес самый оскорбительный удар. Называя себя лишь московским князем, писал Симеону из монастыря: «Государство, великому князю Симеону Бекбулатовичу, Иванец Васильев со своими детишками с Иванцем да с Федорцем челом быют. Государь, смилуйся, пожалуй...» Хватило этой забавы Грозному на два года. Вернулся в Кремль, крещеному касимовскому хану дал в удел Тверь, которой тот в скором времени тоже лишился, прозябая в мелких поместьях. Борисовы противостоятели о нем подумывали: не заявит ли на трон хан, ежели он уже был под ним. «Царская кровь» и благоволение Грозного давали Симеону преимущества перед худородным Годуновым.

Не мог Годунов показать москвитянам да послам иноземным пленников приобретенной земли в жалком виде: если в изрядные одежды будут облачены, тем и другим подумается, что они из богатой страны пред их очами явлены.

Торжественный въезд кучумовской семьи в Кремль состоялся 17 января 1599 года. Во главе поезда шествовали победители сибирского хана: Савин Васильевич Воейков, за ним по два ряда боярские дети Илья Беклемишев, Федор Лопухин, казацкие атаманы Казарин Волнин и Третьяк Жаряной, за ними шли девять человек литвы, одиннадцать конных тобольских и тарских казаков, шесть казаков пеших.

Позади всех в расписанных санях, запряженных цугом, следовали пленники и пленницы. На Асманаке надета только что сшитая ферязь: «сукно багрец червчат на корсаках (то есть на лисах), завязки шолк ал и зелен, на черевех на лисьих, кафтан казылбашский озямской камчат, шапка лисья черна, сапоги сафьяновые желты, рубашка».

На старшей царице Салтаным красовались «шуба адамашна рудожолта, на кунницах опушена атласом с серебром, петли шолк черен, пуговицы корольковые». На другой царице Суюд-деджан: «Шуба камка адамашна бела на пупках на собольих,

опушена атласом золотым, круг ея кружево и по швам шолк червчат да черн с золотом, пуговицы серебряные».

Одеждою одарена вся ханская семья, вся свита.

Взрослые члены семьи едут порознь, малые при матерях или по двое.

Лошадей под уздцы ведут проводники в собольих шубах, «а которые едут с царицами и тем всем шубы надеть выворачивая подпоясывая – а всех будет их в шубах 50 человек».

IX

При ремонте одного из старинных домов в городе Ялуторовске в 1935 году под плахой, на которой стояла печь, была обнаружена бутылка темно-зеленого стекла с длинным фигурным горлышком. Оно было залито воском, к пробке присоединялась шелковая нить с привязанным на конце ее письмом. Бутылку вскрыли, письмо прочитали: «По преданиям этот дом построен в последних годах царствования Екатерины II Егором Прокопьевичем Белоусовым. В 1838 году по кончине Егора Прокопьевича этот дом был куплен государственным преступником Матвеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом. В 1839 году Муравьев поднял и переделал совершенно этот дом. В 1849 году из сеней сделана комната и печь, под которой Муравьев кладет эту записку.

Князь Сибирский, генерал-кригс-комиссар, который был послан Павлом I в последний или предпоследний год его царствования за то, что Преображенский полк явился к разводу в новых мундирах, которых сукно было слишком светло – или темно-зеленого цвета. При восшествии на престол Александра – сына Павла – князь Сибирский был возвращен в Россию. Князь Сибирский жил в этом доме. Комнаты снутри им оштукатурены. Муравьев это слышал от самого покойного Белоусова... Для пользы и удовольствия будущих археологов, которым желаю всего лучшего в мире, кладу эту записку 18 августа 1849 года».

Генерал-кригс-комиссар – это должность в центральном военном управлении русской армии. Он ведал снабжением армии вещевым и денежным довольствием, расходами на содержание войск, созданием материальных средств и тому подобное: отсюда и упоми-

нение о цвете мундиров Преображенского полка, вызвавшее неудовольствие императора. С князем Сибирским любопытнее.

Белый царь не рубил голов пленным военачальникам – делал их своими приближенными, одаривал некоторыми привилегиями при дворе, не отнимал званий и титулов.

Потомки сыновей-кучумовичей до 1716 года величались царевичами Сибирскими, кроме ветви Хансюра Алеевича, еще в первой половине XVII века имевших лишь княжеский титул. С 1716 года все стали именоваться князьями: царевич Василий Алексеевич был замешан в деле царевича Алексея Петровича. Последний был умерщвлен, а первый сослан в Сибирь – все-таки именовался Сибирским да и все-таки на родину предков.

Но стены в доме Матвея Ивановича Муравьева-Апостола штукатурил не он, а его внук Василий Федорович. При Александре Первом, вернувшись из Сибири, он стал сенатором, а его внук князь Александр Александрович Сибирский – известным археологом нашего отечества, князь Иван Андреевич Сибирский в те же годы – вторая половина XIX века – читает в Московском университете лекции по общей патологии и терапии.

Дом, в котором была найдена бутылка с запиской Муравьева-Апостола, ныне это «Дом декабристов». Кстати, на поле Бородине рядом с ними сражался и вызывал восхищение Кутузова генерал-майор князь Сибирский.

А что касается хана Кучума, то о нем говорили, будто он был убит калмыками, когда пытался отогнать у них табун лошадей, но оказалось, что это сделали не калмыки, а ногайцы в своих кочевьях в 1601 году.

Последние годы жизни Кучума – его постоянное бегство от преследования царскими «воинскими людьми», обращение к царю с просьбами вернуть ему «Иртышский берег». Это призывы Бориса Федоровича, Белого Государя, перейти на службу к нему, даже стать царем Сибири, однако под рукой Москвы. Но глухой и слепой хан метался по степи и жаловался ему на свою судьбу. «А от Ермакова и по ся места пытался есмя встречно стояти, а Сибирь не азъ отдал, сами естя взяли...»

«И пеше, и конно, и лыжно, и стружно...»

Шестого декабря 1582 года атаман Иван Черкас Александров сотоварищи именем Ермака бил челом царю Иоанну Грозному новым царством Сибирским.

Никаких кольчуг, никаких шуб со своего плеча при том Иван Васильевич никому не дарил, лишь сказано было, что Ермаку можно быть на Москве. Сие означало, что сибирскому герою прощались прежние прегрешения.

Было Ермаку Тимофееву во время оно лет 45-50, а может быть, побольше. «Вельми мужествен и разумен, и человечен, и зрачен (пригляден), и всякой мудрости доволен, плосколиц (узколиц), черн бradoю и волосами кудряв, возраст (рост) средний и плоск (сухощав), плечист...» – таким видела его дружина.

Люди, пришедшие с Ермаком, стали первыми сибирскими казаками, и назывались они тюменскими, с заложением Тобольска появились казаки тобольские, ими стала ермаковская «старая сотня». С появлением новых городов, новых острогов появлялись новые казаки – сургутские, обдорские, березовские, томские, кузнецкие. По мере отхода русских границ к югу появлялись новые крепости, казаки, населявшие их, стали называться крепостными казаками – ишимские, тарские, бийские, семипалатинские; станичные казаки появились позднее.

Кроме подразделения на конных и пеших, в давние времена казаки, служащие при пушках, назывались пушкарями; охранявшие острожные и крепостные насыпи, входы и тыны,

следившие за их исправностью, — назывались воротниками и затинщиками, хотя часто эти обязанности приходилось исполнять одному человеку.

В середине семнадцатого века обращается старый казак к властям за вспомоществованием: «... и был я, Государь, во всех твоих службах и службишках и в пешей, и в конной, и в лыжной, и в стружной, и в пушкарях, и в затинщиках, и у строения острогов, и у проводывания новых землиц, и у сбора Твоего, Государь, ясака, и в толмочах, и в жожах, и у подведения неверных под твою высокую руку...»

Прошли столетия. Имена многих и многих людей забылись, в архивной пыли проступают немногие. «...Велено в Тюмени дворянам и детям боярским, конным и пешим казакам раздать жалованье на 1734 год по бригадам всем налицо: сыну боярскому Федору Молчанову — 9 рублей 59 копеек, конному казаку Михаилу Голенецкому, десятнику Ивану Понорину — 7 рублей 26 копеек...». В документе далее идут фамилии казаков: Мерилов, Русенин, Гречишников, Евтюхин, Собянин, Бусыгин, Мещеряков, Бузолин, Бологов, Сабянин, Козырев, Кокшаров, Беднягин, Шелупов, Солнышников, Друганов, Метелев...». Последние две фамилии повторяются во многих документах. Деревни Друганова и Метелева под Тюменью — некогда загородные их заимки. В списках этих лет появляются фамилии аристократических семей России: Гагарин, Чеглоков, Карпов-Лыков, Прево... В продолжении документа встречается конный казак десятник Михаил Иванов сын Хмелев, отец которого десятник Ивашка Хмелев сорок лет назад бил челом Престолу о пожаловании ему по бедности доимки в 1 рубль 14 алтын.

В противоположность вольному казачеству в России, пополнявшемуся по вольной воле всякими беглыми и недовольными, сибирское служивое казачество комплектовалось исключительно по царскому указу и воеводскому наказу не только подбором нужных людей, но и прямою ссылкой в Сибирь преступников, пленных. Состав служилых людей был переполнен

иноземцами, большую часть их составляли «черкасы» – украинцы, «литва» – поляки, немцы. Черкасы и поляки составляли особые команды казаков литовского списка. Оставаясь здесь навсегда, они превращались в Литвиновых, Поляковых, Запорожских, Черкасовых, Французовых и Францевых. Принимая православие, Ян Березуцкий превращался в Ивана Березовского, Иозеф Кобылинский – в Осипа Кобылина, Грицко Негода – в Григория Негодина... Казаки служили постоянно и бессрочно, куда могли нести службу, жалование их было незначительным, продовольственное снабжение скудным.

В те времена многим городам и острогам приходилось быть в «великом бережении»: отсиживались за крепостными стенами и гонялись за изменниками в 1605 году кетские казаки, в 1606-м – сургутские, в 1609 году пытались разрушить Тюмень татары, вогулы и остяки, в 1612-м вогулы осаждали и поджигали Пелым.

Защищать новые границы России сибирским казакам приходилось постоянно. Для сибирского служилого человека самой тяжелой повинностью были так называемые дальние командировки, или дальние посылки – служба в удаленных крепостях, острогах: казаки уходили за тысячи верст от своих семей на несколько лет, а иногда навсегда, ибо обретали там новые семьи, но иногда – и по другой причине. «Васка Алимпиев... в Мангазею послан с хлебным запасом, и на Лене убит якуты... – значится в документах. – Гаврило Микифоров послан в Енисейский острог с хлебным запасом, и из Енисейского послан на Лену, и на Лене убит...»

Сибирские казаки уходили далеко на восток, и за ними вставали города, кроме Тюмени в 1586-м, Тобольска в 1587-м, Томск – в 1604-м, Енисейск – в 1619-м, Красноярск – в 1628-м, Якутск – в 1632-м, а в 1647-м казачий десятник Семен вошел в устье реки Охоты и заложил здесь город Охотск – и пеше, и конно, и лыжно, и стружно казаки прошли за 60 лет путь от Уральских гор до Тихого океана.

Правительство России проводило политику не притеснения коренных народов. Указы предписывали селить русских людей на пустых местах, достоверность незаселенности которых должны были подтвердить соседи. «...людем, которые у ясачных людей угодыя пустошат, за то воровство наказание... бить кнутом нещадно, чтобы иным неповадно было... ясачным людем в звериных промыслах не чинить поруху...». В 1678 г. у митрополита Корнилия отобрали захваченные им земли ясачных людей. Коренное население несло несколько меньшую тяжесть податного обложения, чем русские. В семнадцатом веке появились даже ясачные русские люди, различными путями добившиеся перевода в это сословие.

С начала XVII века по конец XIX коренное население Сибири увеличилось в 4 раза.

В девятнадцатом веке сплочение разбросанных по разным западносибирским городам и крепостям казаков закончилось формированием из них десяти конных казачьих полков и двух артиллерийских батарей, образовавших «сибирское линейное казачье войско», переименованное в 1871 году со включением в него остатков тобольских, томских и сургутских городовых казаков в «Сибирское казачье войско».

Забайкальское, Амурское, Уссурийское казачьи войска, Иркутские и Енисейские казачьи дивизионы своим рождением обязаны существованию тюменских и тобольских казаков.

Ярковские командоры

I

Деревня Маранская – 9 дворов, Боровая – 22, Южакова – 14... В декабре 1781 года в Тобольскую духовную консисторию поступило требование из губернской канцелярии о подаче сведения «в здешнем г. Тоболске и Тобольской губернии в городах и их уездах какие имеются по званию... соборные и приходские церкви и сколько... счисляется приходских домов...».

При Богоявленской церкви села Гилевского Тобольского уезда значилось 24 деревни: Караульный Яр – 16 дворов, Березовый Яр – 23, Плеханова – 9, Бакчанская – 23, Яркова – 26...

Родная деревня краше Москвы.

За двести прошедших лет не знамо сколько их осталось в живых, деревень, над реками и озерами, среди лесов и полей. И помнят ли тех, кто жил в них?

II

В деревне Ярковой в 1705 году, а может быть, годом раньше, может быть, позже, родился крестьянский сын Емельян Софронович Басов. Басов как Басов, но мало найдется книг о Тихом океане, о Командорских островах, городе Охотске, в которых не упоминалось бы его имя. Точнее, фамилия, потому что имя поминается не всегда, а порой упоминается в обратном порядке – Софрон Емельянович... Что неверно.

В 1726 году Емельян Басов поверстан в казаки и отправлен из Тобольска на службу в Якутск, где быстро произведен в начальники и во главе 30 человек отправлен к морю по реке Лене для проведывания пути в Камчатку... Полторы тысячи верст

пройдено по реке Лене в трудах и веселости души, а в устье речонки Сиктях – в четырех ста верстах от моря – в ненастье казаки разбивают судно о берег...

Эту беду можно с хлебом съесть: из обломков его собирают три шитика и плывут дальше. Шитик – речное судно, крытое округлой палубой, лодка с нашитыми бортами, поднимающая до одной тысячи пудов груза.

Пришли казаченьки в устье Лены, около двух лет проводывали, откуда, куда возможно впредь морскими судами иметь плавание. И не думалось Емельяну Басову, что эти годы не приближают его к деревне Ярковой, но отдаляют: по возвращении в Якутск в 1733 году в команде начальника Охотского порта он произведен в сержанты, а в Тобольском уезде вдоль рек Тобол, Тура и Пышма грустили о нем деревеньки: Артамонова – 24 двора, Соколова – 7 дворов, Падина – 2 двора, Камлюгинская – 20, Пинжакова – 6, Антонова – 13, Горубнова – 5...

Он собирал ясак на Камчатке, в Якутске наблюдал за доставкой в Охотск провианта и припасов, а также команд, назначенных для службы и заселения нового морского порта России, находился под непосредственным управлением первого командира сего порта Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева, любимца Петра Первого, и капитан-командора Беринга. Но любимец одних не обязательно должен быть любимцем других. Жалует царь, да не жалует псарь. В свое время Григорий Григорьевич был отстранен от должностей директора Академии и обер-прокурора Сената, лишен орденов и чинов и сослан в Сибирь, в Жиганское зимовье. Однако через пять лет уже оказался в Якутске в должности командира Охотского порта, со рвением занялся достойным делом, но не добился расположения якутского воеводы, который не только не споспешествовал делу быстрейшего становления Охотска, но даже отстранил Григория Григорьевича от должности. Беринг ни одним словом не заступился, хотя порт был нужен ему в первую голову. Григорий Григорьевич посылает своего человека в столицу, в Сибирский приказ, с бо-

гатыми дарами — с собольими и лисьими мехами — хлопотать о заступничестве, возвращении в должность. Этим человеком был Емельян Софронович Басов. И что столица? Обычно: с переднего крыльца отказ, а с заднего — милости просим. Когда казак вернулся в Якутск, Скорняков-Писарев уже был командиром порта.

III

По дороге туда и обратно Басов побывал в своей деревне. За семь лет, пока он странствовал по свету, в ней многое изменилось, главное же — родители покинули сей мир. С собой в Якутск он прихватил младшего брата, однако долго задерживаться в сем городе не думал, ибо в Сибирском приказе уговорился идти на Курильские и даже неизвестные острова за товаром и приведением жителей тех земель в российское подданство. Указ с разрешением на сие предприятие он вез с собой. В Иркутске ему выдали порох, ружья и подарки для предполагающихся новых обитателей Российской империи, в Якутске он нашел новую команду, отправляющуюся в Охотск: людей было много, потому что вышло правительственное постановление о распределении ссылаемых в Охотск людей по прежним их состояниям, записывая купцов в купеческое звание, мастеровых в цехи, а крестьян в крестьянство с назначением им земель для хлебопашества — и Басов присоединился к ним вместе с братом. В Охотске, однако, дела застопорились. Перед заступлением в должность Скорняков-Писарев получил правительственную бумагу: «Приехав в Охотск, иметь тебе над оным местом команду, и чтобы завезть и пристань с малою судовою верфью, также несколько мелких судов для перевозки на Камчатку и оттуда к Охотску казенной мягкой рухляди и купеческих людей с товарами и для других потреб сделать, дабы оное яко новое место с добрым порядком к пользе и прибыли государственной приведено было». Но когда он прибыл туда, там хозяйничал другой командир, один из участников готовящейся Второй Камчатской экспедиции, во главе которой стояли Беринг и Чириков, пребывающие пока в Якутске. Их младший сослужи-

вещ был нрава лютого, с ним прибыло в Охотск 162 плотника, 32 кузнеца – за год убежало 44 плотника и 11 кузнецов. Убежали, хотя ведомо было, что ждут их неминуемая смерть или каторга. Помимо начальнической лютой, лютость природы, необычность пищи, недружелюбность жителей здешних мест. Басов обратился к Скорнякову-Писареву со своим делом, тот отозвался похвалою об его мореплавательных замыслах, равно как и об упорстве, позволившем отхлопотать у правительства разрешение на осуществление оных. Однако в каком-либо содействии ему отказал – без него дел хватает. Но коли он сам построит судно и снарядится на собственный счет – препятствий чинить не будет.

На собственный счет!

Солдату три деньги в день, куда хочешь, туда и день.

IV

В Охотске наводнения бывали и раньше. 22 августа 1731 года острог еле устоял – были смыты некоторые здания, ясная изба в том числе. В 1736 же году наводнение наделало бед много больше: река Охота обрушила свои воды на узкую полоску песчаной кошки, на которой располагался порт, прорвала ее и нашла себе выход у самого острога, ширина нового устья составила 60 сажень, а кошка превратилась в остров, омываемая с юга морем, с севера – старой протокой Охоты, с востока – устьем реки Кухтуй. Было разрушено много новых зданий, унесен в море строевой лес, погибли семь человек... До басовских ли тут замыслов! Братья бродили по разрушенному острогу, опустив голову: тяжело жить, да и смерть не находка. А за тысячи верст от них сочувствовали в Тобольском уезде их невезенью деревенька Лисова – 14-ю дворами, Смирнова – 18-ю, Плавнова – 16-ю, Ивлева – 13-ю, Гонихина – 9-ю. В волостном селе Гилевском всеми колоколами желала им удачи Богоявленская церковь.

V

Скорняков-Писарев жил пониманием того, что он создает опору для возникновения и развития русского флота на Тихом океане. Другого мнения был Беринг:

– Никакой пользы от одного его, Писарева, поселения не будет, да и впредь ожидать нечего, кроме того, что служилые люди, живучи на таком пустом месте, претерпевать будут голод и великую нужду, – говаривал он в кругу единомышленников-иностранцев на русской службе: Шпанберга, Вакселя, Делиля де ла Кройера, Нея Гюнтера и других.

Говаривал и сколько мог задерживался с собственным выходом в море, к берегам Америки. Между этим кругом и Скорняковым-Писаревым с Чириковым происходили постоянные стычки. Чириков даже подал рапорт в Адмиралтейств-коллегию с просьбой освободить его от должности: «...предложения мои господину капитан-командору о экспедиционном исправлении от него за благо не приемлются, токмо он, господин командор, за оные на меня злобствует, что видя, опасаясь от него великих бед, которых ему делать легко в такой дальности, имея меня в полной своей власти, а предлагать ему принужден я должностию своей». После шестилетней подготовки Беринг вышел все-таки из Охотска в известное плавание, и тогда же в Охотск прибыл новый начальник граф Девиер – стараниями беринговского окружения Скорняков-Писарев был отрешен от должности. Братья Басовы оставались на прежнем месте – на берегу. Только 11 июля 1741 года они получили разрешение отправиться на Камчатку и там готовить собственный поход. Оно было дано, потому что некому было конвоировать ссылаемого туда Александра Долгорукого – правительство все сводило счеты с этим княжеским родом.

Возвращались и вновь уходили в океан корабли экспедиций, открывали неизвестные земли, иногда оканчивали на них пути своей жизни, а братья Басовы все оставались на берегу.

Сменялись на престоле цари, отзывались из тюрем и ссылки засланные туда их предшественниками люди: помилованные Скорняков-Писарев и Давиер выехали в Россию, варивший соль в 10 верстах от Охотска бывший вице-президент Адмиралтейств-коллегии, чьей волей состоялась Вторая Камчатская

экспедиция, 60-летний адмирал Федор Иванович Соимонов восстановлен в правах, и ему разрешено жить, где пожелает. Помилован князь Долгорукий. А у братьев никаких перемен.

Бедность не порок, да мало кто ее хвалит.

Послушавшись совета старожил, ходили они на Курилы, но и там для них не нашлось казенной байдари. Осенью 1742 года вернулся экипаж потерпевшего кораблекрушение пакетбота «Святой Петр», вернулся, похоронив капитан-командора Беринга на открытом им острове, и тяжело нагруженный меховой добычей.

– Нет, – сказал Емельян Софронович, – дал Бог руки, веревки сам вей.

VI

1 августа 1743 года сержант Нижне-Камчатской команды казак Басов вышел из устья реки Камчатки, держа курс на остров Беринга. Всего в шитике было 20 человек. Задолго до этого события брат Емельяна махнул рукой на его затею – подался в плотники. «Без деньги копейки, без копейки рубля нет», – сказал. И сказал к тому, что Емельяна на острова не столько государевы заботы звали, сколько собственные, к тому, что он из служивого становился промышленным. И то сказал брат, что плотническое дело вернее.

Это была первая складственная компания – неведомые земли, богатые промыслы бобров, котиков, моржей, голубых песцов манили их к себе, этих людей, решивших объединиться для общего дела. Но у них не было средств на судно: после Бога – деньги первые. Бог им помог: встретили корабельного мастера Петра Колокольникова, согласившегося построить шитик в долг с уплатой после возвращения.

Через пять дней плавания компанейцы увидели остров Беринга. Шитик прибоем выбросило на берег, но не разбило. Промышленники нашли здесь большие лежбища бобров и котиков. Среди скал, покрытых моховой тундрой, водились тысячи голубых песцов. Складские промышленники решили зазимовать на острове.

Разобрали шитик: такелаж и мачту сложили в одном месте, корпус поставили в другом, для себя вырыли землянки. «Выходившего во время великой погоды из моря зверя били палками, а на песцов ставили пасти, и случалось достать в день бобров 50, а песцов – 100 и более. Питались котами, сивучами, бобрами и морскими коровами: последних было множество, но промыслять нечем в море, а на берег не выходили». Через год, 13 августа 1744 года, они вернулись домой с грузом мехов: 1200 морских бобров, 4000 песцов... У берегового начальника рожу до шестой пуговицы вытянуло! А родина звала деревней Ярковой – 26-ю дворами...

VII

Брат был не прав: не только о наживе думал Емельян Софронич. С острова Беринга в расстоянии немногих верст виделся неизвестный остров, а иногда, в большем расстоянии, виделась великая и высокая земля, и, когда дул с той стороны ветер, море приносило рубленый лес, еловый и сосновый, рукоделия и резанных морских коров, и сердце ярковского казака ныло, звало туда, к этим землям. Через год он опять в море и поставил крест первооткрывателя на острове, который видел летось, пошел искать видимую тогда же великую высокую землю. Но через месяц плавания неожиданно оказался у острова Беринга. На этот раз он обследовал его, нашел место стоянки капитан-командора с его спутниками, могилу и вещи экспедиции, не уместившиеся на борту собранного ими из деталей пакетбота нового судна. И в Якутске, и в Охотске когда-то капитан-командор шутил, похлопывая по плечу казака, неведомо что найдя любопытным в простой истине: «Беринг из города Санкт-Петербург, Басов – из деревни Ярково!» – Может быть, то, что они вместе готовили Вторую Камчатскую экспедицию и знакомы почти столько же лет, сколько казак служит в этих местах?

И снова зимовка.

Но после нее путь не к Камчатке, а к изысканию неведомых островов.

На этот раз его компания состояла из тридцати двух человек, не очень объединенных между собою, вынашивающих мысль не о новых островах, но о новой наживе. Опять виделись многие острова и великие земли, но команда настаивала не подходить к ним... Домой они вернулись с тяжелым грузом мехов.

Разума много, да денег нет.

Деньги делались, оказывается, не в море – на берегу. Построенный на паях шитик стал принадлежать другим лицам. Басов не потерял свой пай, но во всех начинаниях был тесним купцами, оказавшимися главными совладельцами, и сам он теснил их...

Третий его морской поход был на остров Медный с зимовкой, с обнаружением меди самородной и в руде, с составлением карты острова...

Он вернулся с 50-ю фунтами меди, 205-ю цветными камнями, образчиком куриозной рыбы и с мехами – 970 бобрами, 1520 голубыми песцами и 2000 котиками.

Это 1747 год – год его последнего плавания.

Созданная им компания перешла в другие руки, построенный благодаря его воле и упорству шитик стал ходить в море без него. «Выгоды, полученные от промыслов, – вспоминают о нем, – не подняли житейского уровня Басова выше бедняков, собратов его...».

Он постоянно жил в нищете и убожестве.

Перед Рождеством 1755 года Басов отлил из меди и олова фальшивые деньги. Без греха веку не изживешь, без стыда рожи не износишь. Дело вскорости обнаружилось. Басова арестовали, отправили в Иркутск, 4 сентября 1762 года ему было «учинено на публичном месте при барабанном бое позорное наказание», а в 1763 году его отправили в Нерчинск на каторгу... Где и когда он похоронен – неизвестно.

«Не помню, как крестился, не видел, как состарился, не знаю, когда умру».

Голос Тихого океана слышен ли в деревне Ярково?

Первое Ишимское восстание

11 ноября 1735 года в Москве на Болотной площади был казнен гулящий человек Иван Тупиков, по прозвищу Замотоха. За ним тянулась долгая история.

Защищая население от набегов степных кочевников, Россия, как могла, укрепляла рубежи приобретенных за Уралом земель. На южных окраинах Тобольской губернии Ишимская оборонительная линия смыкалась с Иртышской и – по Ялуторовской дороге – с Тобольской. Пограничные деревни обносились рогатками, надолбами и заплотами высотой в сажень с четвертью, крестьянам предписывалось ходить в поле не по одиночке, но «кумпаниями при ружьях», дабы иметь всегдашнюю от неприятельских воинских людей предосторожность.

В первой половине восемнадцатого века эта вооруженная граница по нынешним меркам выглядела жалко: в слободе Фирсово, например, в возрасте от 16 до 50 лет было всего 28 мужских душ и имели они 6 ружей, в слободе Коркиной – 107 мужских душ при 37 ружьях, в слободе Безруковой – 37 при 24, то есть она оказывалась самой значительной огневой силой на этой линии, хотя центральным укреплением ее была Коркина слобода – нынешний город Ишим.

Управление слободами осуществлялось комендантами, которые чаще именовались приказчиками. Они ведали сбором налогов, судом и расправой, то есть судом низшей инстанции.

Содержание коменданта возлагалось на крестьян, годовой сбор в его пользу составлял 10 рублей, 20 четвертей ржи и овса на слободу. Однако, как повелось издревле, коменданты брали для себя с крестьян ровно столько, сколько хотели, да еще приторговывали со степью хлебом, солью и мягкой рухлядью, курили вино.

Между началом февраля 1714-го и началом февраля 1921 года расстояние в 207 лет, а разговор идет об одном и том же событии – об ИШИМСКОМ КРЕСТЬЯНСКОМ ВОССТАНИИ. Оно и тогда, и в двадцатом веке началось в одном и том же месте: в Орлово-Городище, и вызвано было той же причиной – правительственным грабежом.

В далеком том феврале комендант Семен Немчинов, только что собравший с крестьян 661 рубль налога, объявил о новом сборе – на пленных шведов, на провиант для них, на одежду и пристанище.

Законопослушные ишимцы возмутились, собрались на сход и решили: собранные деньги у коменданта отнять, с жалобой на него обратиться в Тобольск. Пришли на государев двор – двор коменданта и объявили, что отказывают ему в должности и требуют возврата собранного налога. Немчинов подчиниться диктату отказался, смутьяны «из государева двора его збили и учинились ослушны, и набранных солдат ис караулу рпустили, и угрожали ему смертным убивством».

Немчинов дал тягу, ослушники его жену и детей посадили под арест, налоговые деньги изъяли, забрали «подголовок» и кой-какие вещицы, открыли амбары, опорожнили бочки с вином, а хлеб разделили между собой.

Служилые люди, размещенные по слободам, сопротивления не оказывали. Капитан Боровский на призыв о помощи жены Немчинова не отозвался, а драгуны Бутус, Змеев, Поротников, Белый присоединились к бунтовщикам, которые тем самым обзавелись оружием и боеприпасами.

Крестьян подняли на восстание их лучшие люди и старосты: Лузин, Ведерников, Вертков и гулящий человек Иван Тупиков-Замотоха – тотемский посадский человек, около двадцати

лет назад ушедший из родного города «от хлебной скудности» и живший по Ишимским слободам портным мастерством.

Для ареста зачинщиков и сбора провианта Тобольск посылает в Орлово-Городище – нынешнее Викулово – полковника Нефедьева с отрядом драгун. Он прибывает 5 марта и сразу приступает к исполнению возложенных на него обязанностей. Однако «вышеписанных слобод и городища крестьяне, собрався многолюдством, взятых к розыску пуших заводчиков и в остроге заперлись».

Пушие возмутители Ведерников да Замотоха, взяв из казны порох, «пушку заряжали и пришед к Съезжему двору претили ему, Нефедьеву, и ис слободы выслали с невежеством».

Тобольск решил покончить дело миром. Немчинов был отрешен от должности, 20 апреля на его место направили Матвея Городничего. Через полтора месяца в столицу Сибирской губернии от него пришло сообщение: крестьяне противны, и во всем ему отказали, из слободы выслали.

В Ишимские слободы с крупным отрядом драгун идет полковник Парфеньев. В сентябре Тобольск содрогается от его сообщений: «Ведерников и Замотоха с крестьяны собрався многолюдством, заперлись в острог и били в набат, к розыску не пошли». А потом «пушку набили и с огненным ружьем и с луком ходили и хотели по нем и драгуны стрелят, и от платежа податей отказали, и учинили превиликий бунт, и разослали в разные слободы и деревни, чтоб все крестьяне шли в собрание с ружьями».

Первое вооруженное восстание ишимских крестьян длилось девять месяцев – почти столько же, сколько и второе – 1921-го года. Следствие по тому и другому растянулось, точнее, продолжалось несколько лет. В восемнадцатом веке его начал полковник Парфеньев, допросивший на месте около 160 человек. «Пушие заводчики» были арестованы и отправлены в Тобольск.

Оказалось, восстание началось «с совету всех слобод крестьян». Изгнав Немчинова, они выбрали собственных начальников, создали собственный орган власти – Судебную избу; ее возглавили Замотоха и Ведерников. В Судебной избе хранились

документы и деньги, отобранные у коменданта, его «подголовок» с «крепостями». Сторонников прежней власти ослушники лишали свободы действий. Некий Т. Дорогин «держан был под караулом у старосты Зудилова в остроге за то, чтоб Нимчинову вестей никаких не подавал».

На следствии в Тобольске Замотоха со товарищи показали на Немчинова много: на якшанье его со степью, на приторговывание мягкой рухлядью и солью, хлебное воровство... По всему по этому для дальнейшего расследования они были отправлены в Петербург. Смутившись их долгим отсутствием, слободские крестьяне, собрав 60 рублей, туда же отправили своих челобитчиков, среди которых был и староста Иван Лузин. В Петербурге ходоков немедленно арестовали, а в Ишимские слободы для расследования был послан стольник М. Ртищев. Он потратил год на допросы, повальные обыски, очные ставки. Крестьяне Орлова-Городища 2 января 1718 года принесли ему повинную челобитную: 222 человека признали себя виновными, на Немчинова впредь соглашались не бить челом, прогоны и судебные издержки брали на себя. 28 января с покаянной челобитной к нему пришли крестьяне Абатской слободы...

Замотоха и Лузин просидели под арестом в Санкт-Петербурге 10 лет – до осени 1728 года и по сложности обвинений, предъявленным им, по запутанности показаний, для решения их участи были отправлены обратно в Тобольск. Там без лишней волокиты их приговорили к битью кнутом и ссылке: Лузина – в Березов, Замотоху – в Нерчинск «на серебряные заводы в вечную каторгу».

По дороге в Нерчинск Замотоха бежал. Через шесть лет – в 1734 году – с подложным паспортом его задержала в Томске полиция. Не дававшую никаких показаний подозрительную личность отправили в Москву. Тайная канцелярия свое дело знала, и Замотоха вскоре признался, кто он, и что находился под судом по делу ишимских крестьян.

В мае 1735 года – через 21 год после восстания – он был приговорен к смерти; 11 ноября того же года жизнь его оборвалась на Болотной площади.

Долгие годы

Документальный рассказ

I

– ...Покой, Господи, душу раба твоего Степана, отпусти ему вся прегрешения...

Голос священника певуче поднимается к потолку, шепотно опускается долу.

Еще вчера днем Семенов был здоров, а ночью послал за доктором.

Пришел не Вольф, другой, увидел Степана Михайловича чрезвычайно страждущим, потерялся: думал помочь одними рвотными да слабительными – не назначил ни кровопускания, ни пиявок...

II

Эту диссертацию, ее защиту долго помнили многие: так она была не по времени!

«Монархическое правление есть самое превосходное из всех других правлений». Диссертант усугубил свое положение добавлением в докладе: «в России необходимое и единственно возможное!»

Вольнодумцы, воители – на языке университета отцы-сенаторы, – студенты-умники бросились в немедленное сражение: не монархия, республика – идеал государственного устройства! И всю историю – в доказательство.

Диссертант дрогнул и покинул кафедру.

– Господа! Выставляете нам, как пример, Римскую республику, но не забывайте, что она не один раз утверждала диктаторство! – пытался спасти положение декан факультета.

Но тут с холодной мерной речью поднялся студент Семенов:

– Медицина часто прибегает к кровопусканиям и еще чаще к лечению рвотными, из этого нисколько не следует, что людей здоровых, – его лицо надменно вытянуто природой будто исключительно для сего случая, – необходимо нужно подвергать постоянному кровопусканию или употреблению рвотного!

Он назвал вернейшие средства медицины, но декан взорвался – не нашел ученых слов для ответа:

– На такие возражения всего бы лучше мог ответить московский обер-полицейский, но как университету приглашать его было бы неприлично, то я, как декан, закрываю диспут!

Деканом не то напропорочена, не то накликана судьба своему студенту.

«Господину директору канцелярии министра внутренних дел. Флигель-адъютант полковник Адлерберг покорнейше просит уведомить, в какую именно из сибирских губерний определен на службу вследствие высочайшего повеления титулярный советник Семенов. Сведение сие необходимо нужно Следственной о злоумышленном обществе комиссии».

III

У друзей Степана Михайловича за спиною Отечественная война: Бородино, Березина, Париж, а его формуляр мирный: *«По выключении указом священного Синода от 24 мая 1810 года из духовного звания и по окончании наук в Орловской семинарии вступил в Императорский Московский университет в число своекоштных студентов и в оном по надлежащем испытании удостоен в 1814 году степени кандидата и в 1816 – магистра нравственно-политического отделения наук».*

Формуляр мирный, но повеление императора коменданту Петропавловской крепости сурово: «присылаемого Семенова содержать на гауптвахте, где угодно, но строго содержания».

– В чем заключалась ваша обязанность по обществу и какое оказывали вы содействие в предприятии одного? – задавали ему вопросы следователи.

Из задуманного не исполнено ничего, а гибель вот она – только сознайся:

– В случае первой удачи что предполагалось употребить противу священных особ царствующей фамилии?

Он молчал три месяца.

«Титулярного советника Семенова заковать и содержать на хлебе и воде», – поступает в крепость повеление императора.

Друзья стараются в преуменьшении его значимости в делах:

– Отношение Семенова к обществу совершенно различно от прочих. Был связан с членами общества узами благодарности за оказанные ему услуги по бедному состоянию, он не мог отказаться от участия в содействии к цели одного, – пояснял комиссии князь Оболенский. – Он в течение восьмилетнего со мной знакомства единым жалованьем своим содержал мать, брата и все огромное семейство... Степан Михайлович преуспел в службе: в 1819 году из университета переведен в Департамент духовных дел, через год становится столоначальником, исполняет секретные поручения государя, удостоивается ордена Анны 3 степени, переводится в Гражданскую канцелярию Московского генерал-губернатора.

Барон Штейнгейль в объяснительной записке свидетельствует: «...Вот точные слова его при разговоре со мной в Москве: «Да если правда, как говорят, что у некоторых взяты бумаги, то доберутся и до меня, потому что я... был секретарем всех этих тайных обществ: Союза Благоденствия – и мало ли их там было!». Эти последние слова он сказал смеючись, точно в том тоне, как обычно говорится при воспоминаниях минувших происшествий юности».

Он начал говорить, когда Следственной комиссии о нем стало известно все через показания других.

В апреле государь повелел:

– Титулярного советника Семенова расковать.

А в июне того же 1826-го:

– Семенова, продержав еще четыре месяца в крепости, отправить в Сибирь на службу, но без повышения чина.

IV

«Действительный статский советник фон Фок честь имеет ответить на записку, что 15 июня прошлого года предписано было господину генерал-губернатору Западной Сибири в силу высочайшего повеления определить титулярного советника Степана Семенова на службу в Сибирь по собственному своему усмотрению. Ответа по сему предмету не получено и неизвестно, в которой из подведомственных ему губерний он поместил Семенова».

Это 1827 год.

1 февраля омским областным начальником Семенов назначен на должность окружного судьи в Усть-Каменогорск – далеко вверх по Иртышу, в степь. Она недавно разделена на округа во главе с ага-султанами.

Ага-султан – старший султан. Какому бию не хочется стать старшим?

– Сереке из простолюдинов сделали ханом! – распаляют они друг друга в белых юртах. – Надо вытащить его из чужого седла!

И мстят барымтой – угоном табунов выскочки.

Ага-султан при стечении народа кричит угонщику:

– Эй, Мынжасар, происходящий из безухих, верни мои табуны!

Но Мынжасар спокоен, не моргнет глазом:

– Из мира ушли прежние люди, он стал скуден на хороших людей. Ты говоришь о нашем, мы расскажем о твоём происхождении: Жарлыгап, твой родоначальник был раб, выигранный в бабки!

Закипает гордая кровь – в ход идут ножи, пики, сабли.

К месту службы Степан Михайлович приехал не судьей – канцеляристом: генерал-губернатор, узнав о его назначении, выговорил областному начальнику:

– Семенов послан в Сибирь в наказание, а наказание не иначе облегчается, как по заслугам.

V

Летом восемьсот девятого в Россию прибывает всемирная известность барон Гумбольдт, естествоиспытатель. Его влекут Урал, Сибирь и Алтай. Петербург указывает Омску: приставить к барону Гумбольдту сопровождающего из чиновников, знающих французский либо немецкий языки...

– Ваше Величество, не поручайте мне управление краем, – упрасивал царя генерал-лейтенант де Сен-Лоран, назначенный на должность Омского областного начальника. – Не имею познаний по части гражданской администрации.

Император не внимал доводам:

– Василий Иванович! Я тоже командовал дивизией, когда вступил на престол, и могу сказать, что не хуже другого управляю государством, поверь, что наша военная часть мудрее всякой другой.

Старый генерал сдался. Но чиновники в Омске – кто не годился в помощники, кто не хотел годиться. Он тщился приблизить их, устраивал званые ужины, но канцелярское отродье только вводило его в конфуз:

– Изнуждались в нитку, не откажите в щедротах...

– ...поминаючи божественное писание, яко дающего рука не оскудеет...

Получив указание из столицы, Сен-Лоран воздает хвалу Господу и себе – не отступился в поисках помощников, наткнулся на формуляр Семенова: в семинарии учился различным языкам, философии, истории и другим наукам, в университете – тем и другим, а также государственному хозяйству.

– Государственному хозяйству! – воскликнул он и повелел вернуть Семенова в Омск.

– Он под надзором полиции! – напомнил шепотом канцелярист.

– А теперь под моим будет! – урезонил одного генерал.

VI

У Гумбольдта знакомств – по всему свету, но он, похоже, знает, о ком вспоминать:

– Тургенев рассказывал мне в Париже о временах своего студенчества. Особенно часто – об университетском театре.

– Я тоже играл в нем роли, – отвечал Семенов. – А до меня – Грибоедов, до нас с Грибоедовым – Жуковский.

– О! – восторгался барон.

Тургенев – один из первых основателей тайных обществ в России. Заочно приговорен к вечной каторге, но не спешит к приготовленным ему кандалам и тачке. На парижских приемах защищается от любопытства дам русским юмором:

– Сорок недель в тюрьме сидел, два года на виселице висел.

Семенов с Тургеневым разошелся в университете годами: поступил тогда, когда Николай Иванович уехал в Геттингенский. Встретились в Петербурге – он ввел их в другой театр.

Степь колышет белесые ковыли, зеленые березняки придвигает, стелет голубые озера, а все нет ей конца: все синеют и синеют даль и небо, все – Россия. И состоящий в свите всемирной известности крепостной Демидовых инженер Фотий Швецов, окончивший высшую горную школу в Париже, – тоже Россия.

Экспедиция числом подвод, экипажей, сопровождающих лиц – будто выезд августейшего лица. Города встречают ее оркестрами, балами. Фейерверками, торжественными заседаниями – тем, к чему барон равнодушен.

Он, шестидесятилетний Гумбольдт, пятьдесят три раза переправлялся через различные реки, только через Иртыш

– восемь раз, два раза через Обь, проехал четырнадцать тысяч пятьсот верст, сменил 12244 лошади. И предстал пред всероссийским Его Величеством с восхищенным рассказом о красоте Сибири, об европейски образованных людях, живущих там...

– Кто сопровождал Гумбольдта? – спросили из Петербурга.

– Семенов, из причастных к делу 14 декабря, – ответили из Омска.

– Употреблять в службу в отдаленном месте без права выезда! – повелели.

VII

Сен-Лорен не успел выполнить столичного повеления – при объезде области умер внезапной смертью. Само собой вышло, что Степан Михайлович вступил в исполнение его обязанностей...

В Третье отделение полетели доносы:

– Он вредным своим умом и хитрыми происками снискал общую благосклонность...

– Он подобрал себе шайку областных чиновников и уже несколько месяцев действует самостоятельно.

Восприемника не было долго.

Он появился, и Степан Михайлович отправился в отдаленное место – в город Туринск: не к югу от Омска, но к западу.

Один городничий, четыре квартальных надзирателя, заплечный мастер. Шлагбаум при въезде, караульни при магазин-нах, две будки – по числу будочников.

В далекие времена на этом месте стоял Епанчин-юрт – столица остяцкого князя Епанзы. Ермак Тимофеев разогнал его войско, вошел в городок, а потом спалил в устрашение. Вокруг непроходимые болота, дремучие леса.

Неделями, месяцами у Семенова нет дел: коротает время за Туринскими хрониками. «В 1793 году по необъявлению капитала из купеческого сословия исключены 26 из 59 купцов... В 1803 в уезде жило 953 человек посадского населения, 9239 крестьян мужского пола, 18433 ямщика...». Такая планида.

И все-таки судьба благосклонна к нему – мог бы быть много дальше мест, в коих обитал ныне. Следственная комиссия располагала увлекательным документом: *«Когда вы получите сие письмо, все будет решено. Мы всякий день вместе у Трубецкого и много работаем. Нас здесь 60 членов. Мы уверены в 1000 солдатах, коим внушено, что присяга, данная императору Константину Павловичу, свято должна наблюдаться. Случай удобен: ежели мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов! ... Прощай, вздохни о нас, если... Успех в руках Бога!».*

Письмо Степану Михайловичу в Москву писал из декабрьского Петербурга Иван Иванович Пущин.

VIII

У Степана Михайловича новая должность. И новый чин – коллежский асессор восьмого класса, причисляющий к дворянскому сословию.

«В Омске дружеское свидание со Степаном Михайловичем. После ужасной бесконечной разлуки не было конца разговорам – он теперь занимает хорошее место, но трудно ему, бедному, бороться со злом, которого на земле очень, очень много. Непременно просил дружески обнять тебя: он почти не переменился, та же спокойная веселая наружность, кое-где проглядывает белый волос, но вид еще молод. Жалуется на прежние свои недуги, а я его уверяю, что он совершенно здоров. Трудится сколько может и весьма полезен...».

У друзей Степана Михайловича кончаются каторжные сроки. Они разъезжаются по разным городам и весям Сибири. Это письмо – тоже руки Ивана Ивановича, но уже из Туринска, оставшемуся в прежних местах Оболенскому.

О молодости Степана Михайловича – преувеличение: ему пятьдесят. А место хорошее – столоначальник Главного Управления Сибири. Уместной воспринимается на мундире Анна 3 класса, не то, что в Туринске. «Широк в плечах, да залез в лузу!» – подкладывали ему там на стол записочку господ канцеляристы.

– Вы вступаете в разговор и понимаете инородцев, – разговаривал с ним генерал-губернатор, глядя в формуляр, – поэтому я назначаю вас советником в пограничное управление сибирских киргизов...

В 1713 году императрица Анна Иоанновна подписала грамоту о принятии в подданство России хана Младшего жуза Абулхаира – великая степь припадала к великому соседу, ища спасения и защиты от джунгар: их постоянные набеги обескровливали, опустошали землю.

Прежде с просьбою о принятии обращался к Петру Первому Тауке-хан. Но государь вел войну со шведами, не мог отвлечься для других дел. Актабан Шубурында – Всенародное Горе (застигнутые врасплох набегом калмыцкой конницы почти все казахские роды, оставив земли, скот, юрты со всем имуществом, бежали на север) – принудило опять обратиться за русской помощью.

Советник Семенов выезжает в степь.

– Во времени подождать – у Бога есть что подать, – в давнем Усть-Каменогорске напоминает ему о прошлом квартирный хозяин.

– Есть что, – соглашается он с хозяином, – а как у вас?!

Степь третий год исходит кровью восстания: Внутренний жуз пошел за Исатаем Таймановым против биев и хана.

– У нас так, – отвечает казах-хозяин и звонит в колокольчик.

Входит сын степи с домброй, раскланивается, усаживается на пол. Высокий голос заполняет пространство комнаты:

*Как я хотел, свой меч обнажив,
Груды увидеть мертвых голов...*

IX

Он осторожен даже в двух-трех словах, не читаем его почерк: маленький, замысловатый. Он сжигает письма друзей, со своими просит поступать так же. Над ним подтрунивают.

Кучумово городище в двадцати верстах от Тобольска: высокие кедры, высокий берег.

– Ты эвот ее, эвот, – наставляет непьющий Иван Иванович кулинару, мол, надо бить бутылку ладонью по донышку. Поворачивается к соседям фон Визину да Семенову.

– Сей прием издревле употребляется, дабы пробка исшла и внутренность винную обнаружила для беспрепятственного одного нектара потребления желающими.

– Вот оно как! – восхищены желающие. – Что значит Лицей!

Широкий ковер разостлан на поляне, расставлены яства и питья.

Солнце в блеклой синеве июльского неба потихоньку поднимается выше, мужские и женские голоса перекликаются в праздничном лесу. Фон Визин гурман, от вдохновенного стола не отнимешь. Ему сегодня исполняется шестьдесят два. Он выехал сюда всем двором: повар, няньки. Воспитанницы, их подруги и дорогие гости, среди них особенно дорогой Иван Иванович Пущин, потому что редкий: оказался в Тобольске случаем – едет лечиться в прежние места, в Восточную Сибирь.

Они все люди в возрасте: Семенову – шестьдесят.

Политикуют.

– Что с нашими будет в Венгрии? – хочется знать Ивану Ивановичу.

– Революция должна победить, – уверен фон Визин. – Венгрия более чем Россия подготовлена для восприятия демократических свобод. Наши уйдут.

В давние годы Степан Михайлович о том же разговаривал в Москве со Штейнгейлем: Россия не готова к быстрому перевороту, внезапная свобода даст повод к безначалию, беспорядкам, неотвратимым бедствиям.

Они в тех же, что и десятилетия назад, заботах: почему в упадке святорусская земля, почему одиноко в ее пределах здравому человеку?

– Наверное, не тому Богу молимся, который милует...

– ...тому, который карает?

Застолье шумно и долго.

Он незаметно уходит на берег, стоит над Иртышом в неизменном строгом мундире – аккуратный, седой, спокойный.

Сквозь нынешние голоса проходят и окружают его голоса из прошлого.

Правительственные войска в степи теснят повстанцев, они поодиночке разбегаются по аулам.

Квартирный хозяин поднимает взгляд над столом:

– Человек возвращается туда, где родился, пес – туда, где был сыт.

А в углу звучит домбра:

Тяжеск рабства позорный плен!

Оскорбляют отца и мать.

По лбу бьют коня подо мной –

Шлю проклятья жизни такой.

На Севере, в низовьях Оби, в тот год с ватагой ненцев и остяков водил кровавый хоровод Ваули Пиеттомин.

Воспоминания кольнули давней обидой: и двух недель не прошло службы его в управлении сибирских киргизов, как ему предписывается немедленно выехать в Тобольск – к новому месту службы.

Князь Горчаков письменно наставляет Тобольского губернатора: «При первом случае отступления его от порядка или когда что в поведении его замечено будет, доносить непременно и немедля и в случае надобности доносить об его поведении непосредственно мне. Затем ни по каким делам не командировать его в округа».

Что так напугало и ожесточило генерал-губернатора?!

«Бир аллага аян-ды! – говорит он самому себе. – Все известно одному создателю.»

– Степан Михайлович необыкновенный человек, – разговаривают о нем за столом.

– Мы все чем-то обязаны Степану Михайловичу...

«Мы все люди замечательные, – думает он, слыша. – Но почему мы здесь?»

Х

Он, строгий, ходил по тобольским улицам: в управлении строго спрашивал службу, но был ровен со всеми, доброжелателен. Круг частной жизни его ограничивался старыми знакомствами. Зайдет к Свистуновым, полюбуется их малыми детьми; в который раз признается Петру Николаевичу: когда тот, больной, сорокалетний, женился на семнадцатилетней Татьяне Александровне, ему, Семенову, ничего хорошего в этом браке не виделось, а теперь он не может нарадоваться их счастью.

Зайдет к Анненковым, зайдет к Вольфу, дорогому доктору (он в 1814 году закончил Московскую медико-хирургическую академию).

– Как это нам в Москве не удалось встретиться?! – в который раз спросит Фердинанда Богдановича.

– Потому что всякая встреча на пороге нехороша, – в который раз услышит в ответ.

Он умер 9 июня 1852 года. Похороны состоялись двенадцатого. «...Смерть Степана Михайловича уменьшила ваш круг, мы о нем тоже поплакали», – из Иркутска написал фон Визину Трубецкой.

Его земные пути

Александр Сергеевич Пушкин давно принадлежит миру, не только России. Жизнь его в потомках продолжена на всех материках, они разговаривают на всех ведущих языках планеты, имеют разный цвет кожи. Мы ведем разговор о Предтече, о Пушкиных, подготавливающих явление Александра Сергеевича, точнее, о тех из них, в чьих судьбах имела место Сибирь.

Семнадцатый век

На старорусском языке слово «пушка» означает человека, который громко разговаривает. Поэтому неверно предположение Н. Я. Эйдельмана: «...Любопытно, что при пушках в XVIII веке состояли очень многие Ганнибалы и Пушкины: не исключено, что «артиллерийская фамилия» во многом определила военную специальность, но, как знать, не родилось ли еще в XIV–XV веках прозвание «Пушкин, Пушкины» у лиц, склонных к этой новейшей технике?» Нет, не родилось. Скорее, наоборот: от человека на орудие «перешло прозвание».

I

Фамилия определила наследственную черту характера Пушкиных, сам Александр Сергеевич определил ее так: «Упрямства дух нам всем подгадил». Пушкины – громкие люди. «Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории. В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал царя Ивана Ва-

сильевича Грозного, историограф именует и Пушкиных. Григорий Гаврилович Пушкин принадлежит к числу самых замечательных лиц в эпоху самозванцев. Другой Пушкин во время междоусобицы, начальствуя отдельным войском... сделал честное дело. Четверо Пушкиных подписались под грамотою об избрании на царство Романовых, а один из них, окольный Матвей Степанович, под соборным деянием об уничтожении местничества (что мало делает чести его характеру)...». Эти строки «Начала автобиографии» Александра Сергеевича написаны наспех, потому вместо Григория Гавриловича надо читать Гаврила Григорьевич и знать, что утвержденную грамоту подписали не четверо, а семеро Пушкиных. Они и позже подписывались под документами государственной важности: Соборное Уложение 1649 года, например, подписано тремя: боярином и оружничим Григорием Гавриловичем (не во время самозванца появляется он, а сорок лет спустя!) и двумя окольными – Степаном Гавриловичем и Борисом Ивановичем. Это XVII век, похоже, он был временем наибольшей активности Пушкиных в русской общественной жизни. Может быть, и в другие времена активность их была высока, но посты были много ниже.

Вы помните, что такое местничество, за стояние против которого упрекает Александр Сергеевич далекого предка? Это чтобы тебе не давали должность ниже, чем была у твоего отца, не ставили в положение ниже, чем было у него. Местничество – дело нешуточное. Летописцы повествуют: «А которые бояре царю свойственные по царице, и они в думе и у царя за столом не бывают, потому что им под иными боярами сидеть стыдно, а выше невместно, что породю невысоки».

В 1830 году Александр Сергеевич в «Моей родословной» пишет:

*Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские порой
Меня зовут аристократом:
Смотри, пожалуй, вздор какой!*

И смиренно замечает:

*Понятна мне времен превратность,
Не прекословлю, право, ей:*

*У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней...*

Предок же его, Степан Гаврилович, чувств смирения не испытывает и почти за двести лет до этих стихов в 1611 году бьет челом царю Алексею Михайловичу: «В нынешнем, Государь, во 160 году декабря в 17 день в передней при тебе, Государь, боярин князь Юрьи Алексеевич Долгорукий лаял отца моего и всех родителей наших и называл нас перед собою худыми людьми». Но Пушкины – громкие люди. Степана Гавриловича не перекричишь, доводы у него основательные: «...Родители, Государь, наши, как и пошла наша лествица от Григорь от Пушки и от сына ево от Константина Григорьевича и по се время не токмо у архиепископов и у удельных великих князей ни один человек нашей лествицы не служивали, а служивали все вам государем и великим князем московским и всеа Руси». Что было в ответ сказать боярину князю Юрию Алексеевичу, если его предки «были у архиепискупа у Новгородцова в детех боярских?!».

«Детьми боярскими» в те времена назывались мелкопоместные дворяне, живущие военной службой.

Гордость за свой род – это тоже наследственная пушкинская черта.

II

Александр Сергеевич называет свой род мятежным. В год основания Тюмени, в 1586-м, за слабоумного царя Федора Иоанновича государством Российским правил царский шурин Борис Годунов. Дабы отстранить его от власти, князья Шуйские, заручившись поддержкой московского посада и старомосковского дворянства, подали челобитье о разводе царя с неплодной Ириной Федоровной в надежде, что это поможет им отстранить Годунова от власти. Церковь оказалась на стороне Шуйских: челобитную поддержали глава церкви Дионисий и архиепископ Крутицкий Варлаам Пушкин.

Годунов мятежников успокоил быстро: кого посадил в тюрьму, кого отправил в ссылку в разные места, а Варлаама Пушкина – на Северную Двину, в Антониево-Сийский монас-

тырь. Тема Сибири в судьбах Пушкиных начинает звучать через пятнадцать лет после основания Тюмени, в 1601 году:

«Того же году, в феврале 2 день, послал царь и великий князь по городам в сибирские города; в Тобольск воевода Федор Иванович Шереметев да Остафей Михайлович Пушкин...».

Остановим строки летописи.

В «Борисе Годунове» Афанасий Пушкин (под этим именем выведен как раз «Остафей» Михайлович) в ответ на тревожную реплику Шуйского при известии о появлении самозванца, что если эта весть дойдет до народа, «то быть грозе великой», отвечает: гроза будет такой, что царю Борису вряд ли удастся «сдержать венец на умной голове»:

*И поделом ему! он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).
Что пользы в том, что явных казней нет,
Что на колу кровавом, всенародно
Мы не поем канонов Иисусу,
Что нас не жгут на площади, а царь
Своим жезлом не подгребают углей?
Уверены ль мы в бедной жизни нашей?*

А дальше самое-самое то, что пережито не только родом, но и самим Александром Сергеевичем:

*Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы.*

Он сам в 1820-м мог оказаться в Сибири, только заступничеством друзей перед императором оказался не в наших отдаленных местах, а на юге, и не в ссылке, но переведенным по службе.

А летопись продолжает: «в Пелыме воевода князь Василей князь Григорьев сын Долгорукий да Гаврило Пушкин...».

Вот он где, Гаврила, вторым воеводой в Пелыме, через восемь лет после основания городка.

«В Тюмени воевода князь Александр князь Данилов сын Приимков да Федор Пушкин...».

То есть первый город Сибири одним из первых увидел на своих улицах Пушкиных: через пятнадцать лет после возникновения Тюмени в ней второй воевода Пушкин, Федор Семенович.

III

«А послал царь Борис в Сибирь Пушкиных Остафея с братью за опалу, что на нево на Остафья доводили люди ево Филиппка да Гришка Петров в прошлом во 108-м (1599-1600) году. А Левонтий да Ивашка Пушкины в то же время сосланы были в Сибирь за то, как они били челом на князь Андрея Елецкого в отечестве, и оне царя Бориса челобитьем своим раскручинили, и царь Борис на них опалу свою положил – сослал их в Сибирь, а поместья и вотчины у них велел отписать и животы их распродать». При Борисе Годунове Пушкины пострадали всем родом. В Сибири оказались Савлук Пушкин и сын Евстафия Влука – вторым воеводой в 1601-1602 гг. в Мангазее, в 1601 году по делу Романовых в Сибирь был сослан Василий Никитич Пушкин, племянник Евстафия. Сам Евстафий умер и похоронен в Тобольске, на смену ему был послан его брат Никита Михайлович.

Истинную причину гонений Степан Гаврилович Пушкин объяснил царю Алексею Михайловичу: «И родители, Государь, наши при царе Борисе Федоровиче в то время все были в опале разосланы за вас, государей, что говорил дядя мой Остафей с отцом моим и иными братьями своими: «Как де царя Бориса выбрали на Московское государство, и он де в те поры передо всем народом клялся, что ему другу не дружити, а недругу не мстити, а ныне де почал разсылати в заточеньях таких великородных и ближних людей – деда твоего государева блаженные памяти великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Руси з братею – и за то де ему и Бог потерпит... И за то, Государь, царь Борис Федорович на отца моево и на дядей моих опалу свою положил и разослал их по городам...».

И говорил далее Степан Гаврилович, что после ссылки, даже если кто и претендовал на высокий пост, «сыскав розряды, всем поворот бывал...».

К 300-летию царствующей династии была издана книга «Россия под скипетром Романовых». В ней Пушкины, не простившие обид Годунову, не обойдены вниманием.

13 апреля 1605 года царь Борис после обеда почувствовал себя дурно и через несколько часов скончался. Он пользовался малым доверием войска, оно полностью перешло на сторону самозванца Димитрия. Первого июня в Москву прибыли два посланца его, одним из них был Гаврила Григорьевич Пушкин, он, как только позволили обстоятельства, оказался в стане лже-наследника русского престола.

Посланцы прибыли «с прелестными грамотами сперва в Красное село и собрався с мужики, пошли в город, и пристал народ многой, и учал на Лобном месте грамоты честь... народ возмутился и учили Годуновых дворы грабить... И Гаврила Пушкина Рострига за то пожаловал, что назвался у него к Москве и государств Московское смутил, пожаловал сокольничеством и в Думу».

Он присутствует при возведении на престол Михаила Федоровича. И не только присутствует, но и местничает. С кем бы вы думали? С тем, кто собрал и повел против самозванца Земское ополчение. «Тово же дни пожаловал государь в бояре столника князя Дмитрея Михайловича Пожарского, а сказывал боярство думный розрядный дьяк Семен Зиновьевич Сыдавной-Васильев. А у скаски велел государь стоять думному дворянину Гаврилу Григорьевичу Пушкину, и Гаврила на князя Дмитрея бил челом государю в отечестве, што ему у скаски стояти и менши князя Дмитрея быти невместно...».

Может быть, оттого «невместно», что женат Гаврила Григорьевич был на дочери шестой жены Грозного Василисе Мелентьевой? Иль по чему иному?

Опальные Пушкины в Сибири задерживались недолго: год-два, реже три-четыре – и возвращались в Москву. Не вернулся только Евстафий Михайлович – лег в тобольскую землю. Дольше пребывали здесь Пушкины, исполняющие иной служебный долг, они прошли с казаками через всю Сибирь до самого Тихого океана. «Писали к нам прежние воеводы Василий Пушкин со товарищи: в прошлом во 156 (1648 г.) году писал к ним в Якутский острог ясачный сборщик служивый человек Семейка Шелковник... а в отписке его писано «в прошлом же де 155 году пришел он Семейка на Охоту реку и зи-

мовье поставили...». Душа Александра Сергеевича, наверное, была удовлетворена свершениями предков. Но Пушкины не очень старались упоминать о Сибири, даже вымарывали это слово в семейных бумагах, как вымарывали кое-что из касаемого Смутного времени.

Восемнадцатый век

I

С Сибирью связана и судьба прадеда Пушкина по материнской линии – Абрама Петровича Ганнибала.

В «Арапе Петра Великого» (1827 г.) и в «Начале автобиографии» (1834 г.) Александр Сергеевич из воспоминаний стареющей родни, не весьма расположенной к рассказам о прошлом своем восемнадцатом веке, из якобы иностранных – «немецких» – документов («...Он был родом африканский арап из Абиссинии, сын одного из могущественных богатых и влиятельных князей, горделиво возводившего свое происхождение по прямой линии к роду знаменитого Ганнибала, грозы Рима...») и немногих семейных бумаг собирает сведения и выводит на страницах своих трудов предка представителем древнейшей аристократии – более 2000 лет роду! Пунические войны, Карфаген – все до Рождества Христова.

Время раскрывает архивы, приоткрывает тайны.

Многочисленными исследователями ныне с большей полнотой и достоверностью восстановлена истинная картина жизни черного родича Пушкина.

Граф Петр Андреевич Толстой – прапрадед Льва Николаевича и предок обоих Алексеев Толстых – через два года после назначения посланником в Османскую империю по повелению Петра Первого заполучает и отправляет в Петербург с финансовым агентом и купцом Саввой Лукичом Рагузинским-Владиславичем, сербом по происхождению, двух арапчат, которые «лучшие и искуснее». Государь, любитель всяких редкостей и курьезов, и прежде держивал «арапов», ими его не удивишь – это он решил удивить, вознамерившись показать российским

недорослям, что к делам и наукам способны даже чернокожие. Одного из них он отдает в общую дворцовую службу, вероятно, не обнаружив в нем «лучшеши», – тот через двенадцать лет после прибытия из Стамбула оказывается гобоистом Преображенского полка, женатым на крепостной... Судьбы другого арапа – Ибрагима, что одно и то же, что Абрам, – счастливей и выше. «Начало автобиографии»: «...Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707 году, с польской королевой, супругою Августа, и дал ему фамилию Ганнибал. В крещении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом...».

Не в 1707 году крестили его в Вильне, а в 1705-м, и польской королевы при этом не было: ни она, ни ее венценосный супруг вообще никогда не бывали в этом городе. И фамилии своему крестнику государь не давал – только имя и отчество, фамилия образовалась сама собой: чей он? – Петров. Так что никакого Ганнибала – просто Петр Петрович Петров. Однако его называли Абрам Петрович, и сам себя он называл так – не хотел расставаться со своим первым именем.

Расхождений много. Дальше будет еще больше.

Черный неопит при особе государя находился постоянно, спал в его комнате, в его токарне, то денщик, в документах той поры упоминаемый наряду с шутком Лакостой, то камердинер, то секретарь. Ни в походах, ни в сражениях Петр не отпускает от себя крестника: Полтавская битва (1709 г.), морская баталия при Гангуте (1714 г.) ...А в 1716-м он не «послан был в Париж» («Начало автобиографии»), но вместе с государем в составе его свиты отбывает туда, где и остается для обучения в военно-инженерном училище.

За шесть лет, проведенных за границей, Абрам Петрович завершает школьное образование, становится офицером французской армии, принимает участие в испанской войне, где получает ранение в голову. (В «Арапе Петра Великого» – сколько невероятные, столько невозможные амурные подвиги его в высшем парижском свете...). Перед самым наступлением нового 1723 года

в свите русского посла в Париже князя Василия Лукича Долго-рукова в Россию отправляется «отставной капитан французской армии Абрам Петров», двадцати шести лет от роду.

Набравшегося наук и боевого опыта крестника государь зачисляет инженер-поручиком (не капитан-лейтенантом, как в «Начале автобиографии», а чином ниже) бомбардирской роты Преображенского полка, в которой сам числится капитаном.

II

Спустя два года императора Петра Первого не стало.

На престол взойшла его супруга Екатерина Первая Алексеевна, урожденная Марта Скавронская. Взошла с помощью давнего любезного друга князя Меншикова и гвардии. И поцарствовала недолго, однако Абрам Петрович уже был в партии «недовольных возвышением Меншикова, который, опасаясь его влияния на императора Петра Второго, нашел способ удалить его от двора. Ганнибал был переименован в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с поручением измерить Китайскую стену...» («Начало автобиографии»).

«Измерить Китайскую стену» – это, разумеется, иносказание: на что только не идут сильные мира сего, чтобы избавиться от неудобных или опасных.

«...Перенести город Селенгинск на новое место...» – говорят другие источники. И это ближе к истине: в Русском государстве того времени такое случалось часто. Власти слали воеводам переносимых городов подробные наставления. Например, в указе о переносе Нарыма говорилось, что должен быть сделан чертеж «новому городу и городовым всяким крепостям, и пашенным землям, и всяким угодьям». Последующие указы наставляли: «да в котором месте вверх или вниз по Оби место, где острог поставить и посад устроить отыщешь и тебе тому месту велети чертеж начертить, как будет и посад, и какие крепости и по какую сторону Оби реки».

И уточняли: «нужно обыскать место, где бы поставить острог, чтоб у Оби на берегу или по самой нуже в полуверсте к речкам или с Конским протоком для судовой пристани и к селитьбе было ужоже и в крепком месте, чтоб было впредь постоянно». И еще одно требование: «...не велети плотникам город рубить и делать наспех, а делати им город образом, как пригоже...».

Нарым Нарымом. Но Селенгинск! От Петербурга до Иркутска 5821 верста, от него 295 верст до Верхнеудинска (г. Улан-Удэ), от которого еще 110. Итого 6226 верст.

В донесении казачьего головы Осипа Васильева указана дата возведения Селенгинского острога: «...в нынешнем во 174 (т. е. 1665—м г.) сентября в 27-й день». Острог был квадратным в плане, «кругом мерою... шестьдесят сажень печатных» (около 127 м), с четырьмя угловыми и въездной башнями. А «для осадного времени ров выкопали и во рву чеснок (т. е. частокол), и около острогу надолбы построил». Рядом с острогом выросла церковь с тремя престолами: во имя Нерукотворного образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Михаила Архангела и Николы Чудотворца. В 1685-м году Селенгинск рублен как город.

Инженер-поручик – не майор, как в автобиографии – Абрам Петров пробыл в Сибири около трех лет.

Ехать сюда ему хотелось не очень. 29 июня 1727 года он из Казани уничижительно бьет челом Меншикову: «Не погуби меня до конца... и кого давить такому превысокому лицу – такого гада и самую последнюю креатуру на земли, которого червя и трава может сего света лишить: нищ, сир, беззаступен, иностранец, наг, бос, алчен, жажден, помилуй, заступник и отец и защититель сиротам и вдовицам». Меншиков отослал его в Казань под благовидным предлогом – осмотреть тамошнюю крепость, а потом повелел отправиться на край света. И слезной мольбе не внял.

В конце XVII – начале XVIII вв. Русское государство всерез занялось укреплением южной границы на всем ее протяжении; в Сибири и Дальнем Востоке вблизи нее возродились остроги, городки-крепости, торговые слободы.

В 1725 году в Китай для разграничения земель, упорядочения пограничных и торговых правил во главе уже с графом Саввой Лукичом Рагузинским-Владиславичем отправляется внушительное посольство, в состав которого включен и строитель Омской крепости полковник Бухгольц.

Граф энергично взялся за дело, в короткое время с представителями Китая был заключен Буринский договор о границах, подписан Кяхтинский трактат, устанавливающий новые условия товарообмена между двумя государствами. Формирование казенных караванов, отправляемых в Китай, осуществлялось в Селенгинске. Этот город не удовлетворял Савву Лукича ни как оборонительный пункт, ни как торговый центр. «Селенгинск ни город, ни село, ни деревня, – докладывал он в столицу, – понеже в оном токмо 250 дворов и строек на месте ни к чему годным и ко всяким набегам опасным ничем не огорожен, к тому ж оной за низостью места повсегодно водою реки Селенги разлитием затопляется».

В 1726 году последовал указ о переносе крепости на новое место – «городовой камень», выход горных пород на противоположном, левом, берегу. Возведение крепости возлагалось на полковника Ивана Дмитриевича Бухгольца.

В январе 1728 года для возведения «фортеций в г. Селенгинск» прибыл униженный и оскорбленный Абрам Петров. (А в декабре 1727 г. в Березов прибыл его гонитель князь А. Д. Меншиков с фамилиею).

Естественно, и граф Рагузинский, и Абрам Петрович обрадовались друг другу – бывший «подарок» Петру Первому и бывший доставщик его из Стамбула в Петербург, и оба столь долго находившиеся при особе императора.

Естественно, арап пожаловался на судьбу, а Савва Лукич пообещал заступничество и слово сдержал, о чем свидетельствует его сочувственное письмо Сибирскому генерал-губернатору князю Михаилу Федоровичу Долгорукову, хранящееся в

Омском государственном архиве. И слово сдержал, и самому гонимому посоветовал обратиться с челобитной к юному императору, что и было осуществлено. «В прошлом 1727 году мая 15 день в бытность мою в Питербурхе при дворе Вашего императорского Величества князь Меншиков поимея на меня, последнего раба, безвинно отлучил от двора... и бесприменно выслал меня со своим партикулярным письмом в Тобольск и писал к сибирскому губернатору тайному советнику Долгорукову, чтобы он меня послал в сибирский крайний город Селенгинск». А в конце – «лейб гвардии Преображенского полку от бомбандер порутчик Абрам Петров апреля в 5 день 1728 году руку приложил».

Таких челобитных несколько.

«Начало автобиографии»: «Ганнибал пробыл там несколько времени, соскучился и самовольно возвратился в Петербург, узнав о падении Меншикова и надеясь на покровительство князей Долгоруких, с которыми был он связан».

Несколько не так. Справедливо считая свое появление в этом краю следствием козней личных врагов, арап отказался «сочинять тому строению чертеж». И в 1729 году у него было велено отобрать бумаги и содержать под арестом в Томске, выдавая ему ежемесячно по 10 руб. В январе 1730 его назначили майором в Тобольский гарнизон, а в сентябре перевели капитаном в Инженерный корпус, в Петербург, где он и служил до увольнения в отставку в 1733 году. Никакой Миних не спасал арапа, «отправляя его тайно в Ревельскую деревню...».

А Селенгинск все-таки перенесли на левый берег реки, но через сто с лишним лет – в 1840-42 гг.

В «Ревельской деревне» – на хуторе Карьякула – в 30 верстах от Ревеля Абрам Петров жил отнюдь не тайно, напротив, часто напоминал о себе правительству, «императрице претрашного зраку» Анне Иоанновне, просил ее, например, об увеличении пенсии. Тем временем на Соловках отрубают голову князю

Василию Лукичу Долгорукову, в свите которого он возвратился из Франции в Россию.

В ночь на 25 ноября 1741 года гвардия возвела на российский трон дочь Петра Великого Елизавету Петровну. Евангельскими словами: «Помяни мя, егда приидише во царствие свое» – напомнил ей о себе Абрам Петрович. И сорокапятилетнего отставного офицера судьба подняла на уровень, которого он был достоин: в 1741-м возводится в бригадирский чин, назначается ревельским комендантом в 1742-м, награждается имениями, и далее – генерал-майор, действительный камергер, в 1752 году возвращенный в Инженерный корпус, он назначается заведовать разграничением земель со Швецией. Опыт у него есть: в Омском архиве сохранились десятки рапортов на его имя от комендантов сибирских крепостей о работах на пограничных линиях. В 1755 году назначается главным командиром «канал-доков» на острове Котлин, то есть в Кронштадтской крепости, здесь ему деятельно помогает инженер-капитан И. М. Голенищев-Кутузов – отец великого полководца. Он возводил крепость в Рогервике (ныне г. Полдиски), прокладывал Ладожский канал, возводил бастионы крепости в Выборге. Генерал-аншефом в 1762-м уходит в отставку, а в 1781-м оставляет сей мир, не «на 93 году своей жизни», а на 84-85-м, потому что родился он или в 1696, или в 1697 г.

Но когда Абрам Петрович Петров стал Ганнибалом? После возвращения из Сибири. Известно, что Петр Первый не очень почитал родовитость, деловитость у него была в чести, но это, увы, вело к забвению исторических заслуг угасавших родов. После утверждения Табели о рангах и попытки упорядочить положение с дворянством в России началось придание гербов знатым родам. Знатность надо было доказывать, однако семейные бумаги имелись не у всех, архивы оставались за семьей печатями, хранились не только в государственных учреждениях, но и во многих монастырях, соборах. Тут и началось сочини-

тельство родословных – около двух третей русского дворянства оказалось «иноземного» происхождения. В это время и называет Абрам Петрович себя Ганнибалом, для него это явление престижного порядка. Возведенный Елизаветой в генерал-майоры, он тут же подает прошение о выдаче ему диплома на дворянство и закрепление за ним герба: «Родом я низайший из Африки, тамошнего знатного дворянства, родился во владении отца моего, в городе Лагоне, который и, кроме того, имел два города». Отправив прошение, заказал себе печать с гербом: в центре щит со слоном, на нем почти в размер туловища слона изображение великокняжеской шапки – той, которую в гербоведении принято связывать с именем и временем Александра Невского. Герб в поколениях много раз перерисовывался, но смысл оставался тем же: что Африка – поскольку слон, что Россия – поскольку Александр Невский. И, тем не менее, в резолюции Псковского дворянского депутатского собрания писалось: «...чтоб предки сего рода принадлежали к какому-либо особому классу... это покрыто неизвестностью».

Современные герольдмейстеры установили, что понравившийся Ганнибалу герб принадлежал в свое время петровскому адмиралу Францу Лефорту.

Узаконить эту печать Ганнибалам так и не удалось, и только в 1843 году род их был внесен в шестую книгу «древних благородных дворянских родов».

Такова нехрестоматийная судьба.

В скобках заметим: может быть, не последнюю роль в выборе Абрамом Петровичем фамилии сыграло его знакомство в Ревеле с морским офицером Сципионом – действительным прямым потомком более чем двухтысячелетнего рода Сципиона Африканского Старшего; это он в 202 г. до н. э. в битве при Земе наголову разбил войска Ганнибала. Адмирал Флота Советского Союза И. С. Исаков в юности, перед самым октябрьским переворотом 1917 года, служил на одном корабле с потомком того Ревельского Сципиона.

Девятнадцатый век

Предки великого соотечественника имели прямое отношение к освоению нашего края. Девятнадцатый век с Сибирью связал имя поэта именами его друзей, и не только Кюхельбекера.

Илличевский

I

Не столько восшествием на престол императора Павла Первого завершался восемнадцатый век, сколько кончиной императрицы Екатерины Второй. Участник ее дворцового переворота Михаил Алексеевич Пушкин, за денежные махинации позже приговоренный к смертной казни, но помилованный ею вечной ссылкой в Сибирь с повелением «зваться бывший Пушкин», в эти же годы оставил земную юдоль в Тобольске. Александр Сергеевич за родню его не считал. Его новой родней стали обитатели «Лицейской республики», а среди них Алексей Демьянович Илличевский, по прозвищу Олосенька – сын томского губернатора.

Директор лицея, Егор Антонович Энгельгардт, так живописал своего воспитанника: «...подобно избушке на куричьих ножках, верхом толст, а низом щедровит (то есть хиловат). Он был остроумен, но вспыльчив, задорен, сварлив и себялюбив...». Профессор Кошанский знал Олосеньку подольше: «Алексей Илличевский также из числа немногих воспитанников, соединяющих счастливые способности памяти и понятливости с сильным воображением и начитанностью книг. В нем приметно больше пылкости, нежели основательности. Его прилежание, возбуждаемое честолюбием, и стремление отличиться чрезвычайны; почему и отличными успехами он не уступает первым воспитанникам». Характеристики директора и профессора объединяет и дополняет гувернер: «вспыльчив», но в прочем усерден, услужлив, опрятен, весьма бережлив, откровенен, щедр, крайне прилежен, имеет особенную страсть к стихам».

Олосенька хороший товарищ, заводила мальчишеских игр. Отечество воюет, лицеисты ведут свои «боевые действия», верный Олосенька ходит у них в «генералах от инфантерии».

В лицейской программе тема обязательного сочинения определена длинно, но зато четко: «Строгое исполнение должностей доставляет чистейшее удовлетворение» – лицей готовит чиновников для службы в правительственных учреждениях. Илличевский не из тех, кто стоит на дороге и дороге спрашивает, он в сочинении раскрывает свой идеал: «Чья участь завиднее участи человека, исполняющего свои обязанности? Безмятежный в душе своей, почтенный в кругу своего общества, он служит на земле зеркалом добродетели и образом того высочайшего существа, которое без всякой пользы для себя творит блаженство миллионов людей...». Он чиновник по крови и духу.

II

Но «имеет особенную страсть к стихам». В лицейской иерархии поэтов он на первом месте, он для них второй Державин, Пушкин лишь второй Дмитриев. Лицеисты в день рождения своего кумира сочиняют и вручают ему, произносят панегирик:

*Слава, честь лицейских муз,
О, бессмертный Илличевский!
Меж поэтами ты туз!*

.....
*У него все подмастерья,
Мастеров он превзошел!*

С уважением к дару одноклассника относится и Пушкин: в «Пирующих студентах» он восклицает:

*Остряк любезный, по рукам!
Полней бокал досуга!
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга.*

При выпуске пишет ему в альбом:

*Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.
Не властны мы в судьбе своей,
По крайней мере, нет сомненья,
Сей плод небрежный вдохновенья,
Без подписи, в твоих руках
На скромных дружества листках
Уйдет от общего забвенья...*

Россия – страна духа, лирическая страна, два-три человека в лице не пишут стихов. Начальство на первых этапах запрещало сочинительство, опасаясь, что оно отвлечет воспитанников от изучения наук естественных. Кроме двух-трех, они искренне ненавидят математику, а вместе с нею и преподающего ее профессора Карцова, по прозвищу Черняк. Школяр Илличевский посвящает ему четыре приятных строки:

*Могу тебя измерить разом,
Мой друг Черняк!
Ты математик – минус разум,
Ты злой насмешник – плюс дурак.*

Нет, он не против Карцова – он беспомощно опускает руки перед его Уранией, музой чисел и астрономии:

*О Ураньи чадю темное,
О наука необъятная,
О премудрость непостижная,
Глубина неизмеримая!*

Он не один с этим «О!». Карцов вызывает к доске Пушкина, задает алгебраическую задачу. Мученик переступает с ноги на ногу, пишет и пишет какие-то формулы. Карцов не выдерживает: «Что же вышло? Чему равен x ?!». Пушкин, улыбаясь, отвечает: «Нулю». Карцов улыбается тоже: «У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи».

Илличевский, в отличие от лицейских собратий, ставит Пушкина много выше себя. В начале 1812 года он откровенни-

чает перед другом: «Что касается до моих стихотворных занятий, я в них успел чрезвычайно, имея товарищем одного молодого человека, который живши между лучшими стихотворцами, приобрел много в поэзии знаний и вкуса... и, читая мои прежние стихи, вижу в них непростительные ошибки. Хотя у нас, правду сказать, запрещено сочинять, но мы с ним пишем украдкой». Со школьных лет Алексей Демьянович Илличевский верил в высокую поэтическую звезду своего друга. «...Он пишет теперь комедию в пяти действиях, в стихах, под названием «Философ», – сообщает Олосенька другу. – План довольно удачен и начало, то есть 1-е действие, до сих пор написанное, обещает нечто хорошее, стихи и говорить нечего, а острых слов – сколько хочешь! Дай только Бог ему терпения и постоянства, что редко бывает в молодых писателях (конечно, «в молодых»! Илличевский на год старше Пушкина). Дай Бог ему успеха – лучи славы его будут отсвечиваться в его товарищах».

III

Июнь 1817 года. Лицей окончен. «Судьба на вечную разлуку, быть может, породнила нас». Илличевский уезжает в Сибирь, на службу в Тобольский почтамт. Он такого назначения не ожидал и растерялся. Однако отцом все было предусмотрено: для ознакомления с родом занятий его оставляют на неопределенное время при Главном Департаменте. Он человек способный – ознакомился быстро.

Старинный русский ямщик обещал «ямскую гоньбу гонять с прежними ямскими охотниками в ряд, а на кабаке не пропиваться, и зернью и в карты не играть, и никаким воровством не воровать, и никуда не бежать, и ямской гоньбы жеребьев своих в пусте не покинуть...».

– Глядит, ровно семерых проглотил, восьмым поперхнулся, – с ревнивой ехидцей указывают глазами в библиотеке Департамента на девятнадцатилетнего титулярного советника повидавшие всякого на своем веку чиновники рангом ниже.

«Сибирская почта Москва-Нерчинск введена в 1698 году, – записывает Олосенька в своей тетради. – За лето почтальон

проделывал этот путь трижды... В петровском указе о сибирской почте сказано: «Велеть отнюдь ни чьей грамотки не распечатывать и не смотреть, чтобы всяк, заплатя достойную заплату, был обнадежен...». В 1782-м учрежден Почтовый департамент, ямские дворы переименованы в почтовые станции...».

Илличевский в Тобольске пробыл недолго, вероятным следом его пребывания здесь было обращение вскоре после его отъезда Сибирского почтамта к генерал-губернатору с планом создания для детей почтовых служащих училища, в котором обучение и содержание приравнялось бы к таковым в военно-сиротских заведениях.

Тобольская действительность смутила Алексея Демьяновича, генерал-губернатора Пестеля уже десять лет нет по месту службы: в свое время он арестовал в Тобольске по ложному обвинению генерал-майора Куткина, заведовавшего провиантской комиссией, двух губернаторов и восемь лет гнал их по инстанциям от земского суда до Государственного совета, что давало ему право все это время находиться в Петербурге.

Олосенька исправно служит, изучает мир и делает обоснованные выводы: «Одному здесь не устоять, надо перебираться в Томск».

В год приезда в Тобольск Илличевского из него убыл в Томск для руководства строительными работами инженерный поручик Гавриил Степанович Батеньков. «Три короба наболтал я об укреплении берега реки, теперь занимаюсь проектом моста, и хочется построить оный аркою из железа на каменных быках», – пишет он в Москву другу. Железному мосту и каменным быкам противятся петербургское начальство и местное – губернатор Демьян Васильевич Илличевский. Поручик строит деревянный «по образцовым чертежам» мост. Олосенька у отца служит по другому ведомству – финансов, оно, как и почтовое, все же не к стихам, к презируемой им математике ближе, сие обстоятельство не тяготит безупречного чиновника. Лицейский друг Антон Дельвиг в обширнейшем послании к нему откровенничает, вечно сонный ленивец: «Я

благодарности труда еще, мой друг, не постигаю! Ленишься, говорят, беда – а я в беде той утопаю и, пробудившись, забываю, о чем заботился вчера...».

Конечно, лежебоке Дельвигу, что Департамент соляных дел, что Департамент финансов – его никакая муха не укусит, а в Сибири переполох.

В марте 1819 года Сибирским генерал-губернатором назначен Сперанский. «Чем далее спускаюсь я на дно Сибири, – пишет Михаил Михайлович из Томска, – тем более нахожу зла, и зла почти нестерпимого. Если бы в Тобольске я отдал всех под суд, что и можно было бы сделать, то здесь осталось бы уже всех повесить». Капитана Батенькова тайный советник Сперанский берет к себе в штат, а коллежский асессор Алексей Илличевский оказывается советником губернского правления во Владимире. В январе 1822-го майор Батеньков пишет в Москву друзьям из Петербурга: «Через три дня приедет к вам некто Илличевский... знакомый мне по Сибири, сын томского губернатора, который едва меня не выжил со свету. Но как впоследствии искал помириться со мною, то я прощаю его совершенно и все, что мне сделано, выгнал из сердца, желал бы истребить и из памяти...». Будущий декабрист отходчив, великодушен: томский юноша в Москве принят с должным уважением, а через несколько месяцев отец его был предан суду.

В Петербурге Алексей Демьянович появился чиновником Министерства государственных имуществ. Через четыре года лицейские из Петербурга рассказывают лицейскому в Польше: «Илличевский как путешественник, наблюдатель, марширует по Петербургу с золотыми очками, без которых ничего не значили бы его проницательные очи. Представлен к Владимирскому кресту, а ему очень хочется быть кавалером разных орденов. Честолюбия у Алексея Демьяновича довольно, мы это с тобой давно знаем».

В зиму 1828-го первый выпуск Лицея сотоварищи два раза в неделю собирался на квартире у Дельвига в доме, в котором снимала квартиру и Анна Петровна Керн – непременная участница этих собраний. Увлечения ею не избежал и

господин в золотых очках. Учтив и язвитель, он развлекал собеседницу замечательными стихами, обращаясь к ней:

*Сердец царица,
Горчицы мастерица,*

потому что у ее отца была горчичная фабрика. Но сквозь строки пробивалось и истинное чувство:

*Близ тебя в восторге нем,
Пью отраду и веселье.
Без тебя я жадно ем
Фабрики твоей изденье.
Ты так сладостно мила.
Люди скажут небылица,
Чтоб тебя подчас могла
Мне напоминать горчица.
Без горчицы всякий стол
Мне теперь сухояденье;
Честолюбцу льстит престол,
Мне ж – горчицницей владенье.
Но угодно так судьбе,
Ни вдова ты, ни девица,
И моя любовь к тебе –
После ужина горчица.*

Легкое перо Илличевского во все годы оставалось легким. Анна Петровна рассказывает: стоит отчего-то захандривший Пушкин в гостиной у камина, заложив руки назад, к нему подходит Олосенька и говорит:

*У печки, погружен в молчанье,
Поднявши фрак, он спину грел
И никого во всей компанье
Благословить он не хотел.*

Экспромт развеселил Александра Сергеевича: лицейский приятель на ходу пародировал строки из его «Демона».

*Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел –*

*И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.*

Вскоре коллежский советник и кавалер издает сборник своих стихотворений «Опыты в антологическом роде», друзья прочитали – и ахнули: Олосенька со своими стихами остался в его и их лицейских годах. Александр Сергеевич отозвался: «Стихи посредственные, заметные только по некоторой легкости и чистоте мелочной отделки».

Илличевский никогда не думал избрать поэзию жизненной стезей. В «Эпиглоге» он признает: «Счастлив, кто на чреде блестящей, водимый гением, трудится для веков; но змеи зависти шипящей тлетворный точат яд на лавр его венков. Я для забавы пел и вздорными стихами не выпрошу у Славы ни листка...».

Он был образованным, талантливым человеком, смотрел на мир пронизательными глазами сквозь золотые очки. В «Совершенном человеке» он говорит:

*Другого мысль проникнуть сразу,
Себя уметь скрывать всего,
Смеяться, плакать по заказу,
Любить и всех и никого,
Льстить и обманываться век –
Вот что зовется совершенный
В понятии светском человек.*

В 1829 году Иван Киреевский в «Обзоре русской словесности» в большом перечне писателей, но на первом месте упоминает Илличевского. «Что сказать об этих писателях? Многие уже знакомы нашей публике, другие вышли еще с белыми щитами на опасное поприще стихотворной деятельности. Во многих, может быть, таится талант и для развития силы ждет только времени, случая и труда...».

Двадцатипятилетие лица – 19 октября 1836 года – Алексей Демьянович Илличевский в кругу однокашников праздновал вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным.

Он родился годом раньше него, умер в один год с ним.

Большой Жанно

I

При открытии Лицея им было по 10-13 лет.

(Из тридцати воспитанников, правда, трое имели по 14, а один даже 15 лет – Иван Малиновский, сын директора Лицея).

За шесть лет безвыездного совместного житья чего они только не наговорили, не напридумывали друг о друге, каких только прозвищ не надавали. Один из четырнадцатилетних именовался Стариком, девически хрупкий Володя Вольховский за мечты о воинских подвигах ходил под именем Суворочка, а еще Разумница, потому что первенствовал по оценкам, Мясоедов превратился в Мясожорова, Тырков – в Кирпичный Брус, Данзас – в Медведя, Иван Малиновский – неукротимый драчун – в Казака... В те времена представителей мужского пола до 15 лет именовали отроками. Средний рост лицейских отроков составлял 160-164 см по-нынешнему, а Иван Пущин имел 184. Потому и звался Иван Великий – как большая колокольня в Московском Кремле, но чаще Большой Жанно, то есть Большой Иванчик.

Общим прозвищем для себя они взяли скотобратцы, придуманное из вызова. Протокол встречи лицеистов первого выпуска 19 октября 1828 года писан рукою Пушкина: «Собрались на пепелище скотобратца Курнофеуса Тыркова (по прозвищу Кирпичный Брус) 8 человек скотобратцев, а именно: Дельвиг – Тося, Илличевский – Олосенька, Яковлев – Паяс, Корф – Дьячок Мордан, Стевен – Швед, Тырков – (смотри выше), Комовский – Лиса, Пушкин – Француз (смесь обезьяны с тигром)...».

Они представлялись и называли себя номерами комнат келей, в которых жили: 13 – Пущин, 14 – Пушкин. Две цифры рядом, имеющие противоположное значение: тринадцать – никуда не годное, четырнадцать – лучше некуда. Проще – несчастливое и счастливое числа. «14» – много лет спустя подписывает иног-

да свои письма Пушкин. «13» – в Лицее, № 14 – в Петровском Заводе» – подписывается Пущин. «С мнением № 8 не согласен» – значит с мнением Корфа.

Игра потеху любит. Но с жизнью шутками не отыграешься.

Любви, надежды, тихой славы

Недолго тешил нас обман.

Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман.

Пущин: «Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцов, Павел Колошин и Семенов. С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком...».

II

Леди Вильямс приехала в Сибирь из Лондона, разговаривала на прежнем – дореволюционном русском языке, просила:

– Если будете рассказывать о нас, пожалуйста, не останавливайтесь на некоторых частностях истории нашего рода.

Мы успокоили ее:

– Мария Лаврентьевна, мало ли простолюдинок входило в родовитые семьи? В вашей тайне – ничего особенного.

– Но все-таки Пущин и Кюхельбекер – лицейские приятели, а моя прабабушка – вдова Вильгельма Карловича...

Не судите, да не судимы будете.

Иван Иванович – Большой Жанно – два аршина восемь вершков ростом, карие глаза, смуглое лицо, густые темно-русые волосы. Он и далеко за сорок – видный мужчина.

А женщины что: вдовы да бесталанные, да в глуши людской и всяческой.

У него двое детей, и оба внебрачные.

От одного из них тянется линия леди Вильямс.

Все же даль дальняя – середина девятнадцатого века. «Глаза карие, смуглое лицо, волосы темно-русые» – это жан-дармское описание внешности. «Он был красив, – повествуют об Иване Ивановиче другие люди, – голубые глаза смотрели весело». И еще, что у него светлые волосы, светлые усы, лежащие выгибом. Кто же прав, каким нам представлять Ивана Ивановича? На портрете кисти Николая Бестужева – единомышленника-каторжника, глаза у него голубые, волосы светлые, а усы – куда светлее волос.

Мария Лаврентьевна брюнетка.

Ни в беседах, ни в письмах ни словом не обмолвился он, кто мать его первого ребенка.

После каторги и тюрьмы Пущин на поселении в Туринске. Он не только после каторги и тюрьмы, он после Восточной Сибири, он из величественности гор и рек, из объемного пространства. Здешние плоские места наводят на него тоску.

К тому же на другой день после его приезда пошел снег, и душа вовсе расстроилась: опять холод, зима, ветер.

Город можно пройти за десять минут, но он все ходил и ходил – искал пристойное пристанище для себя.

В конце концов снял три комнаты, нанял юношу пятнадцати лет для мелких услугений, старуху для приготовления пищи. Изменил образ жизни: стал больше гулять и не пить перед обедом водки, хотя по общим правилам принято, что она необходима для людей его возраста. Признал за благо вместо нее выпивать стакан кваса и определил такой поря-док навсегда.

Квартира не нравилась: низкие потолки, низкие двери, за-бывал каждой кланяться – стучался лбом. «Ради развлечения», – отшучивался.

В скором времени распустил нанятых, отправился искать новую крышу над головой.

III

В Туринске их четверо – людей 14 декабря. «Вообще, я недоволен переходом в Западную Сибирь, не имел права отказать родным в желании поселить меня поближе, но под Иркутском мне было бы лучше. Город наш в совершенной глуши и имеет какой-то свой отпечаток безжизненности. Я всякий день брожу по пустым улицам, где иногда не встретишь человеческого лица. Женский пол здесь обижен природой, все необыкновенно уродливы».

Ой, ли, Иван Иванович, не слишком ли?!

Всякий родится, да не всякий в люди годится. Иван Иванович у союзников непререкаемый авторитет, общий любимец. Женщины в него влюбляются с первого взгляда.

Басаргин – туринский сотоварищ – строг, честен, в отзывах о нем:

– В Чите и Петровском он только и хлопотал о том, чтобы никто из его товарищей не нуждался. Присылаемые родными деньги клал почти все в общую артель и жил сам очень скромно, никогда почти не был без долгов, оставаясь иногда без копейки и нуждаясь часто в необходимом...

Николай Васильевич в этом месте речи делал паузу, а на письме начинал новый абзац:

– Нельзя сказать, чтобы он не имел своих недостатков. Мнение света слишком много значило для него, и нередко он поступал вопреки своему характеру и правилам, чтобы заслужить одобрение большинства. Кроме того, у него была еще одна слабость: это особенное влечение к женскому полу.

Николай Иванович был женат вторым браком на дочери поручика местной инвалидной команды, двое других союзников тоже были женаты, но на француженках, приехавших к одному на каторгу в Читу, к другому – в тюрьму Петровского Завода. Чита стала продолжением романтической истории корнета Кавалергардского полка Ивана Анненкова и Полины Гёбль, Петровский Завод – ротмистра того же полка Василия Ивашева и Камиллы Ле Дантю.

– Базиль, – сказала она Ивашеву в Туринске, видя метания Ивана Ивановича, – Пущин ищет то, чего здесь нет. Пусть он живет у нас.

– Пусть живет, – ответил Базиль.

За восемь лет супружества у них трое детей. Их пестовать – холить помогает матушка Камиллы Мари-Сесиль, по-русски Марья Петровна.

Иван Иванович оказался под надежной крышей трехэтажного собственного дома Ивашевых и за готовым столом.

Это позволило ему заняться запущенным главным делом – ведением объединительной переписки с собратьями по каторге, их родственниками, знакомыми в России и за пределами ее.

Мари-Сесиль обосновалась в России в конце восемнадцатого века. Старшая ее дочь, вдова, была замужем за сибирским помещиком Григоровичем, их сын Дмитрий воспитывается в Главном инженерном училище, где водит дружбу с кадетом Федором Достоевским. Им обоим быть не военными инженерами – писателями.

Младшему сыну Мари-Сесиль быть прадедом известного русского художника Михаила Васильевича Ле Дантю (революции разгоняют людей по белу свету на века).

На рождественском празднике в Зимнем дворце поручик лейб-гвардии конной артиллерии Пущин через месяц после производства в сей чин получает резкое замечание от великого князя Михаила Павловича за не по форме повязанный темляк, вспыхивает и подает в отставку: он равный среди равных – унижать себя не позволит.

Он равный среди равных, да не очень. Принадлежность к высшему свету навсегда обозначена в нем манерой говорить.

– Что за жалкая привычка изменять своему благородному характеру и вертеться возле этих господ генералов! – выговаривает Иван Иванович Пушкину в театре, когда тот отходит от их превосходительств, а они, снисходительно улыбаясь, повторяют его остроты и шутки.

Пушкин выслушивает и бросается тискать, щекотать выговаривающего, как обыкновенно делает, когда теряется.

IV

– Я думала: Ялуторовск – глушь, оказалось, современный город.

Мария Лаврентьевна от избытка чувств, а может, от сострадания – на исходе двадцатый век, а тут еще девятнадцатый не закончился – льстила, высказывала признательность молодым женщинам – сотрудницам музея, разыскавшим ее в туманах Альбиона, позвавшим на родину предков.

В музее-доме Муравьева-Апостола – в бывшей гостиной в углу стоял клавесин, за соседним фортепиано сидел человек, профессионально всплескивал руками и закрывал глаза.

За столиками, накрытыми за скудный музейный счет и безалкогольными по случаю горбачевского сухого закона, сидела местная и приезжая творческая интеллигенция.

Рядом с фортепиано страдала скрипка.

Танцевала пара: она – в белом, он – в черном. Он с явными восточными чертами лица, она – не без них, но очень похожая на Марию Волконскую – тоже смуглую, тонкую, с утомленным взглядом.

И полтора века назад в этом доме были фортепиано, скрипка и Мария Волконская.

В сентябре 1852 года Иван Иванович писал Матюшкину: «...моя Аннушка большие делает успехи на фортепиано – теперь учится, ходит к учителю, своего фортепиано нет. Хочется мне ей подарить хороший инструмент. Следовательно, если ты можешь купить фортепиано и послать зимними обозами в Тюмень, то мне сделаешь великое одолжение».

Иван Иванович по праву, исходатайствованному сестрой, давно проживает в Ялуторовске, Аннушка воспитывается в семье Муравьевых-Апостолов и приучена называть Матвея Ивановича папаша, его супругу – мамаша, родного отца – дядя.

Девочка дышит их воздухом.

«Скажи мамаше большой поклон, поцелуй ручку за меня, а папаше скажи, что я сейчас узнал, что Черношвотова поймали в Тюкале и повезли в Петербург, – писал Иван Иванович Аннушке из Тобольска, где был на очередном лечении, – я думал про него, когда

узнал, что послали кого-то искать в Красноярске по петербургскому обществу, но, признаюсь, не полагал, чтобы он принадлежал к комюнизму, зная, как он делил собственность, когда был исправником. Как ты все расскажешь, маленькая моя дырдашка?!».

Письмо писано 19 июля 1849 года (это для заострения внимания!).

Петербургское общество – петрашевцы.

Черносвитов арестован 3-го июля, 21-го заключен в Петропавловскую крепость, а 19-го, за три дня до события, Пущин кое о чем этом в Сибири пишет из Тобольска в Ялуторовск. Видно, связь в те поры работала хорошо.

Аннушке что – всего-то семь лет девице! О Черносвитове она рассказывать не будет: еще раньше Иван Иванович написал Матвею Ивановичу: «...не понимаю, каким образом комюнизм может у нас привиться». Из чего следует, что товарищ Ленин не совсем справедливо причисляет господина Пущина к своим предшественникам. Мнения последующих друзей Ивана Ивановича еще больше утверждают в сем убеждении.

Его превосходительство адмирал Матюшкин великое одолжение делает, и через полгода Пущин благодарит друга: «Фортепиано в Сибири будет известно под именем лицейского и теперь всем слушающим высказывают то, что отрадно срывается с языка. Аннушка вместе с музыкой будет на нем учиться знать и любить старый Лицей! Теперь она лучше прочтет нашу лицейскую песнь, которую знает наизусть».

Ничего удивительного: песня есть песня, само собою заминается:

Простимся, братья. Руку в руку!

Обнимемся в последний раз.

Судьба на вечную разлуку,

Быть может, породнила нас!

Аннушка за свою жизнь успела окончить девичий институт в Нижнем Новгороде, выйти замуж и умереть в 21 год.

Она не имеет никакого отношения к происхождению леди Вильямс.

V

Их здесь пятеро из 1825 года. Художник Знаменский – сын местного священника, изобразил их всех за игорным столом. Они не то чтобы заядлые игроки – просто потакают своему товарищу Тизенгаузену, который стар и глух, для него зеленый стол – желанное общение.

Они обособлены, сближения с местными чиновниками не ищут, но близки с одним из купцов: он с радостью выписывает для них газеты, книги – безо всяких препон, чинимых государственным преступникам то Тобольском, то Омском. Они живут жизнью духовной: возводят школы, обучают детей грамоте, ремеслам. Даже огород полковника Тизенгаузена – духовное поприще: жители города Ялуторовска в большинстве своем крестьяне. Василий Карлович учит их выращиванию плодов и овощей, о которых они и слыхом не слыхивали...

Пушин и Муравьев-Апостол в родстве, уходящем в глубину веков, их роды пошли от одного корня – от братьев Есипа Пуши и Ивана Муравья. Все дворяне Муравьевы – родственники: двоюродные, троюродные, восьмьюродные... «Муравейник» называют их. Пушины не отстают, только у одного Ивана Ивановича двенадцать братьев и сестер. «Пуща» называют их род.

Иван Иванович пишет в Петербург разные письма. В них иногда бывает кое-что и о Кюхельбекере. «...Три дня проглотил у меня оригинал Вильгельм. Проехал на жительство в Курган со своей Дросидой Ивановной, двумя крикливыми детьми и ящиками литературных произведений... не могу сказать вам, чтобы его семейный быт убеждал в приятности супружества... Я не раз задумывался, слушая стихи, возгласы мужиковатой Дронюшки, как ее называет муженек, и беспрестанный визг детей. Выбор супружницы доказывает вкус и ловкость нашего чудака, и в Баргузине можно было что-нибудь найти хоть для глаза получше...».

Ивану Ивановичу вспоминается Туринск, Ивашевы. Туринск – это от Тюмени к Верхотурью. Всего-то верст триста.

Бойся не бойся, а без року нет смерти.

Идиллия ивашевской семьи закончилась непостижимым образом. Он, Пущин, не заметил, как прокатились эти полтора-два месяца его жизни в семье Василия Петровича, а тут гром среди ясного неба: заболевает нервическою лихорадкой Камилла Петровна, десять дней горит и зябнет в беспамятстве. Потом со спокойной душой благословляет детей, прощается со всеми и 30 декабря покидает сей мир – у кромки его остались стоять ошеломленные, ничего не понимающие родные и близкие.

Но драма не закончилась этим. Через год на 30 декабря Ивашев заказывает в кладбищенской церкви обедню-поминки, а сам 27-го на глазах у всех неожиданно умирает – его хоронят в день смерти жены. Будто сам по себе заказывал обедню.

VI

– Мария Лаврентьевна, мы могли бы быть с вами однофамильцами.

Она удивленно поднимает голову, выжидательно смотрит.

В Туринске на руках Ивана Ивановича остались дети Ивашевых и престарелая Мари-Сесиль. Только через полгода после смерти Василия Петровича они были вывезены к родственникам в Россию. Только через год после смерти Кюхельбекера были вывезены из Ялutorовска его дети: Дросида Ивановна после кончины Вильгельма Карловича решила отправиться в родные края, в Баргузин, и на время остановилась у Пущина, чтобы дожидаться приезда сестры Кюхельбекера за его детьми. Думала задержаться ненадолго, но задержалась на три года. Причиной тому, похоже, стало то, что Иван Иванович изменил на время мнение о Дросиде Ивановне, отчего у них появилось на свет дитя по имени Ваня, то есть второй Иван Иванович.

Однако записан он не был Ивановичем, но Николаевичем. Он родился 4 октября 1849 года, крестным его отцом стал Николай Васильевич Басаргин, декабрист. В честь него новорожденный носил и отчество, и фамилию – Иван Васильевич Васильев.

Если бы ему не вернули фамилию отца, он так бы и остался Васильевым, такой бы в девичестве была и фамилия леди Вильямс.

Большой Жанно был не очень рад его появлению: он столько раз уверял себя и друзей, что никогда не вступит в связь с женщиной, которая по эту сторону Камня, а тут второе явное доказательство. Хотя он, конечно, имел в виду узы Гименея, но все-таки...

Но все-таки что-то было в Дросиде Ивановне!

В январе 1850 года она оставляет сына Пушину, возвращается в свои бурятские дали. В Иркутске останавливается у Марии Волконской. В тамошнем Управлении жандармский генерал читает письмо заботливого Ивана Ивановича: «Прошу принять со свойственной доброю этот обломок Кюхельбекерова корабля».

VII

Мария Лаврентьевна приехала в Россию с дочерью Елизаветой, точнее, Элизабет: она по-русски едва знала несколько слов. А выглядела совершенно русской: румяное округлое лицо – открытое и улыбчивое, она казалась пшеничной, утренней в своем ситцевом мятом-перемятом костюме: блузке и брюках в маленький красненький цветочек на розовом поле.

– Вы где работаете? – спрашивали ее.

Она долго не могла понять, о чем идет речь. Когда поняла, отвечала: только в благотворительных обществах и только тогда, когда есть желание.

Ничего странного – ее родители люди состоятельные. Это ее прапрадед Большой Жанно жил в стесненных обстоятельствах. «Когда в 1850 году я отправил ее в свою сторону, она, кроме Вани, вручила мне свой капитал за десять процентов в год, – писал он знакомым о Дросиде Ивановне. – В продолжение пяти лет я уже процентами уплатил ей половину капитала и делал это в том убеждении, что она беззаботна насчет своей фортуны. Вдруг она просит теперь, чтобы я ей выслал все деньги. Это прекрасно, но у меня их нет. К своим я писать не могу, потому что знаю, что и у них теперь тонко. Между тем есть русская пословица: с чужого коня среди грязи долой!».

Это о том Ване, от которого идет ветвь Марии Лаврентьевны. Его превращения из одного в другого продолжались: усыновленный братом Ивана Ивановича, он стал носить фамилию Пущин, но был записан в купечество: «В субботу привезли купчика Пущина...» – пошучивал Иван Иванович.

Он учился в известном московском частном пансионе, на медицинском факультете Московского университета. Стал военным врачом, участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., дослужившись до высоких чинов, был удостоен возведения в дворянское достоинство.

В том зале, в котором некогда художник писал сидящих за картами людей, современный художник между тем писал портрет леди Вильямс-старшей. На широком листе ватмана проступали черты женщины с тяжеловатым носом, с волосами, уложенными короной – несколько рядов косичек, как на древних греческих гравюрах.

Сложность судьбы предка будто определила сложность ее судьбы от дней младенчества до взрослых лет. Русскими в Европе не всегда было безопасно называться, родство с русскими часто ломало чью-то карьеру.

Супруг Марии Лаврентьевны – известный английский дипломат. Во время Второй мировой войны она сама – майор английской армии, военный корреспондент агентства «Рейтер», переводчик английской миссии в Австрии, в Комитете по репатриации военнопленных.

Разогнанный по белу свету русский ум служил и служит процветанию многих наций.

Иван Иванович так и не связал себя узами Гименея в Сибири, это произошло по ту сторону Камня: его женой стала вдова генерала фон Визина Наталья Дмитриевна, урожденная Апухтина.

Мадонна Пушкина

Анна Петровна Керн чудо как привлекательна – женщина редкого ума, хорошего образования, имеет широкий круг интересов и на все свое мнение. Бесспорен ее литературный дар. «Он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту, – пишет она о Пушкине. – Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописуемо хорош, когда что-нибудь приятное волновало его... Ничего не могло сравниться с блеском, остротой и увлекательностью его речи... Я была в упоении как от текущих стихов... так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаявала от наслаждения; он имел голос певучий, мелодический...». Она еще кое-что подсмотрела за ним: «Я думаю, он никого истинно не любил, кроме няни своей и потом сестры».

Вот так. А сколько любовей ему приписано! Некоторые газеты даже проводят конкурсы под девизом: «Мадонны Пушкина». То есть у Данте – Беатриче, у Петрарки – Лаура, у Пушкина – Мадонны! Записные пушкинисты всерьез цитируют «донжуанский» перечень Александра Сергеевича, вписанный им в альбом Катеньки Ушаковой в пору увлечения ею. («Эти барышни говорили такие словечки, что хоть святых выноси», – отзывалась о московских Ушаковых А. О. Смирнова-Россет. Атмосфера той компании, похоже, и подбила Пушкина на этот список, в котором, без сомнения, большей частью названы просто знакомые женщины).

Славу отечественной пушкинистики составляет обнаружение его существования у Александра Сергеевича Утаенной любви.

Без сомнения признаваемый основателем научного осмысления творчества Пушкина Павел Васильевич Анненков считал, что эта любовь – просто воспоминания о первом трепетном чувстве, испытанном им в школьные годы, сохранное впечатление о чистой, детской красоте. И в доказательство приводил выдержки из его лицейских записок: «...Я счастлив был! Нет, вчера я не был счастлив; поутру я мучился ожиданием, с неописуемым волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу – ее не видно было! Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице... сладкая минута!.. Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Б(акуниной)!». Эта дневниковая запись помечена 29 ноября 1815 года.

Цитирование Анненкова с заполнением придуманных им скобок стало исследовательской нормой, традицией, перешедшими из девятнадцатого века в двадцатый и, похоже, идущими в век последующий. Если у Пушкина в заглавии стихотворения, например, стояло просто «К» со звездочками, то пушкинисты и издатели вместо звездочек проставляли имена (чем, кстати, посягали на авторское право), а позже цитировали не Пушкина, но себя самих, пушкинистов. Тому примеров – тьмы, тьмы и тьмы. А. Гессен (1965 г.) Бакунину пишет уже без скобок. Между тем у Пушкина в дневнике: «Как черное платье пристало к милой NN ...», между тем Пушкин познакомился с Бакуниной только летом 1816 года, между тем Катенька Бакунина была смуглой и кареглазой, а в лицейских его стихах, признаваемых за посвященные ей, говорится все о «снеге ее лица» и «блеске очей небесном»...

О ком же тогда строки лицейского дневника?

Неостепененный пушкинист Кира Павловна Викторова назвала имя этой любви поэта: 28 ноября 1815 года в Царское Село приезжала «женщина высшего порядка» в черном платье по случаю смерти мужа сестры – принца Брауншвейгского.

«В начале жизни школу помню я, – писал Пушкин. – Там нас, детей беспечных, было много». Стихотворение приоткрывает тайну отроческих увлечений поэта: «Смиренная, одетая убого, но видом величаясь жена над школою надзор хранила строго...

*Ее чела я помню покрывала
И очи светлые, как небеса,
Но я вникал в ее беседы мало.
Меня смущала строгая краса
И полные святыни словеса.*

«Над школою надзор хранила» императрица Елизавета Алексеевна. Она спрашивала Жуковского, отчего Пушкин, сочиняя хорошо, ничего для нее не напишет. Пушкин написал:

*На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил...
Я, вдохновенный Аполлоном,
Елисавету втайне пел.
Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель
С ее приветливой душой...*

Анненков прав в том, что это была детская любовь поэта. Да, но он нес ее через всю жизнь. Это императрица является ему в снах во время болезни. «Выздоровление»:

*Тебя ль я видел, милый друг?
Или навверное то было сновиденье...
Ты ль, дева нежная, стояла надо мной
В одежде воина с неловкостью приятной?
И скрылась ты прелестным привиденьем!
Явись, волшебница! пускай увижу вновь
Под грозным кивером твои небесны очи...*

Ратная одежда ничему не противоречит: императрица была шефом одного из гвардейских полков.

Рукопись К. Викторовой «Неизвестный Пушкин» становится все более и более известна читателю, который уже сам находит в пушкинских строках подтверждение ее правоты. Кира Павловна утверждает, что знаменитое «Я помню чудное мгновенье» посвящено тоже Елизавете Алексеевне. О том, как это стихотворение оказалось в руках Керн, рассказывает сама Анна Петровна: в июне 1825 года перед самым отъездом ее из Тригорского пришел к ней Пушкин и подарил на прощание гла-

ву из «Евгения Онегина». В неразрезанных листках она обнаружила «вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами «Я помню чудное мгновенье». Когда она собиралась спрятать его в шкатулку, «он долго смотрел на меня, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила их опять; что у него тогда промелькнуло в голове, не знаю».

Странная манера дарить! А о чем он думал? Мог думать о том, что стихи предназначены не ей, а той, с небесными очами. О цвете же глаз Керн рассказала там же сама Анна Петровна: «Она (гувернантка) заботилась о нашем туалете, отрастила нам локоны, сделала коричневые бархотки на головы. Говорили, что на эти бархотки похожи были мои глаза».

Через два месяца по этим местам проедет в Таганрог Елизавета Алексеевна, что будет засвидетельствовано пушкинским рисунком: императрица стоит у верстового столба с надписью: «238 верст от Москвы».

Луиза-Мария-Августа, принцесса Баден-Дурлахская, в четырнадцать лет став женой великого князя Александра, будущего императора Александра Первого, была много образованнее его, тоньше, отзывчивее, что разъединило супругов – они жили каждый своей жизнью. Плохо знавшая русский, императрица стала забывать свой родной немецкий. Юные жены известных русских генералов – и Керн, и Волконская, и Фонвизина – их превосходительства – напрасно считали себя прототипами Татьяны Лариной. Она тоже Елизавета Алексеевна:

*Татьяна (русскою душою,
Сама не зная, почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму...
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалась с трудом
На языке своем родном...*

Мы принимаем версию К. Викторовой. Муза у великих поэтов одна: у Данте – Беатриче, у Петрарки – Лаура, у Пушкина – Елизавета Алексеевна.

Натали

В летописях города Калуги род зажиточных посадских людей Гончаровых упоминается со второй половины семнадцатого века. Известность и благосостояние его начинают быстро расти при основателе Полотняного Завода Афанасии Абрамовиче Гончарове: в 1718 году он – девятнадцати лет от роду – излагает перед богатым калужским купцом план постройки выгодного предприятия для производства необходимых России материалов и побуждает его к действию. В этом же году появляется именной указ Петра Первого: «Калужскому купцу Тимофею Филатову сыну Карамышеву, для делания полотен построить заводы в том месте, где приищет, с платежом за оные места и мельницы оброку, для оного заводу сколько понадобится нанимать рабочих людей и покупать всякие нужные для того припасы; продавать оные полотна в Российском Государстве и посылать также для продажи в чужие края с платежом пошлин свободно...».

Не мешкая, Афанасий Абрамович в тридцати верстах от Калуги на месте старинного погоста Взгомонье ставит полотняную и бумажную фабрики, быстро переходящие в его с компаньоном руки, но голова всему – он, Гончаров. Именно ему пишет император Российский из Голландии: «...поелику он не имеет у себя хорошего плотинного мастера, то он для него наняв искусного посылает при сем: а буде ему тягостно производить такое жалованье, то он Государь будет ему платить свое». Производство быстро расширялось, рядом вырос поселок для рабочих. Разбогатевшие владельцы построили для себя особняки, службы, благоустроили прилегающие территории. Усадьба, принадлежащая Гончаровым, со временем приобретала все более репрезентатив-

ный вид и выделялась среди прочих поместий губернии богатством и пышностью. И называлась Полотняный Завод.

Вместе с парком и фабрикой усадьба занимала около семидесяти десятин, ее полуокружала небольшая, но глубокая река Суходрев. Въездные Спасские ворота во владении представляли собой двухэтажное здание: с каждой стороны пролета стояло по три стройных островерхих колонны, под крышей – икона с лампадой. Слева от ворот – церковь Спаса с колокольной, «палатка» – усыпальница Гончаровых, далее конный двор, регулярный парк с оранжереями, справа – жилой Большой дом, он действительно большой: около двухсот окон смотрят на окружающую его красоту, далее служебные корпуса, а за всем этим – пруды, Большой и Нижний сады, в соседнем лесу содержится стадо оленей, а еще у хозяев усадьбы большая псарня и оркестр из крепостных крестьян. Правительство во всех начинаниях покровительствует Афанасию Абрамовичу. В 1760 году он бьет челом в берг-коллегию: «...в Полесском уезде, подгорном стану, вотчины Лаврентьева монастыря... людьми его обыскана железная руда, которая Песочному заводу Серпейского уезда очень способна...». Следует указ об отводе помянутой руды для песочного его завода. Покровительствует Гончарову и Екатерина Вторая. По указу 1762 года фабрикантам не дозволяется покупать деревни, она делает для него исключение и посылает ему именной указ от 17 февраля 1763 года. В 1770 году им приобретается с торгов имение княгини Одоевской, село Катунки Нижегородской губернии. Из него впоследствии дается приданое дочерям Николая Афанасьевича, между ними и Наталье Николаевне Пушкиной, Натали. Путешествуя по России и будучи в Калуге, императрица изъявляет желание посетить Полотняный Завод. Прибыла, увидела с веранды заводские корпуса и спросила хозяина: «Что это у тебя, Гончаров, куда я ни взгляну, так много каменной стройки?».

Он, семидесятишестилетний, встает на колени и говорит:

– На меня, Ваше Величество, три дня золотой дождь шел, – чем умилила императрицу, она даже заночевала на Полотняном Заводе.

В то время его фабрики и заводы были разбросаны по разным губерниям – полотняные, бумажные, чугунолитейные, число вотчин достигало семидесяти пяти.

Таковы истоки и некоторые обстоятельства, из которых вышла в жизнь Наталья Николаевна.

Пушкин в Полотняном Заводе был дважды. Впервые в 1830 году, когда вел деловые переговоры с родственниками будущей жены, и во второй раз в августе 1834 года, когда приехал погостить к своему шурину Дмитрию Николаевичу Гончарову...

Внук основателя завода Афанасий Николаевич, женатый на графине Мусиной-Пушкиной, за сорок семь лет управления огромным наследством сумел оставить после себя около полутора миллиона долгу. Он шумно и широко жил как в Полотняном Заводе, так и в Москве, где Гончаровым принадлежало несколько домов. Воспитанию своего единственного сына Николая Афанасий Николаевич уделял особое внимание: у него в гувернерах был даже родной брат Марата, носившего фамилию Будри и приехавшего в Россию еще до французской революции. Прирожденный музыкант, Николай в то же время свободно овладел французским и немецким языками, получил глубокие знания по всем гимназическим предметам, а во время коронации Александра Первого был записан в пажи и отправился в Петербург. Там в вихре светской жизни он встречается с красавицей Натальей Ивановной Загряжской, увлекается ею и в 1807-м совершается «Генваря 27 дня в С. Петербурге венчанье во дворце Зимнем в Придворной церкви». У них было много детей, обреченная на вечную славу и память Наталья Николаевна родилась в самое тяжелое время Отечественной войны 1812 года, вынудившее семью оставить Полотняный Завод (в октябре в доме Гончаровых расположился штаб Кутузова) и уехать в поместье Кариан Тамбовской губернии. Там у Натальи Ивановны и Николая Афанасьевича и появилась на свет Наталья Николаевна – Таша.

Только летом 1813 года семья Гончаровых вернулась в Полотняный Завод, где прожила недолго – в 1815 году переехала

на постоянное жительство в Москву, а любимицу деда Афанасия Николаевича Гончарова Ташеньку, вняв его просьбе, оставили в заводе – там среди парков, цветников, прудов и открывающихся с берега Суходрева полей, лугов и лесов прошли пять или шесть лет ее счастливого детства.

Родители взяли девочку в Москву – и счастье ее кончилось: отец страдал неизлечимой душевной болезнью, мать превратилась в тирана. В самом строгом монастыре не держали в таком повиновении послушниц, как трех сестер Гончаровых в отчем доме. Девочкам запрещалось пускаться в рассуждения, повышать голос и читать книги романтического содержания. Спать девушки ложились в десять вечера, вставали с зарей. В доме была собственная молельня со множеством икон и лампадок, по субботам приходской священник служил здесь всенощную. В доме постоянно обитали монахи, странники, юродивые. Глядя на худосочную бледную Наташу, одна из приживалок напророчила ей недолгий век, неподвижную инвалидность и бездетность. Она таяла на глазах: ни сурьма, ни румяна не могли скрыть бледность вечно грустного лица. Дважды за последнюю зиму перед свадьбой Наташа впадала на неделю в летаргический сон, пугая челядь и докторов, не понимающих, что с нею творится. Она то и дело падала на ровном месте, ломая то одну, то другую руку.

– Спасение у курицы в яйце! – в припадке падучей кричала юродивая Марфинька.

Постичь смысл ее слов никто не мог. Наташу отпаивали куриным бульоном, сдабривая его тертыми желтками, но ничего не помогало. Какое уж тут замужество?

Однажды к брату Дмитрию приехал приятель, штудирующий в ту пору латынь, и похвалялся недавно приобретенной за немалые деньги книгой «Канон врачебной науки», написанной великим лекарем Авиценной еще в 1024 году. По вечерам после ужина зачитывали сестрам и матушке Дмитрия поразившие его рецепты, над которыми он сам смеялся, и если смеялась матушка, смеялись и ее дочери.

– А нет ли чего у твоего Авиценны про куриное яйцо?
– поинтересовалась матушка.

– Про яйцо нет, про скорлупу – сколько угодно. «Берут скорлупу яйца, только что снесенного курицей...».

Наталья Ивановна все поняла.

Через год после приема яичного порошка ее дочь превратилась в поражающих всех своей красотой и здоровьем девушку. Остеопороз — называется ныне ее заболевание.

– Что это? – поинтересовался Пушкин, увидев, как его жена высыпала в бокал с вином из крошечной вазочки, скрытой под крупным сапфиром ее любимого кольца, белый порошок.
– Приворотное зелье, душечка?

– Секрет красоты, доверенный мне самим Авиценной...

В Москве на балу Пушкин впервые увидел красавицу Гончарову, в 1831-м она стала его женой. За шесть лет супружества у них родилось четверо детей – на балы у Натальи оставалось времени мало.

Умирая, Александр Сергеевич сказал жене: «Носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, но за порядочного человека». По линии Мусиных-Пушкиных и Загряжских жена приходилась ему еще и племянницей. Во вдовстве она прожила семь лет, лишь в 1844 году вышла замуж за генерала Петра Петровича Ланского – в этом браке у неё было еще три дочери.

Михаил Юрьевич Лермонтов после возвращения из своей первой ссылки на Кавказ служил вместе с братом Натальи Николаевны в лейб-гвардии Гусарском полку. Во время второй ссылки – в Тенгинском пехотном полку служил под началом секунданта Пушкина – Константина Павловича Данзаса. Существует предположение, что Лермонтов мог быть родственником Александра Сергеевича.

Наталья Николаевна прожила недолгую жизнь, она скончалась в 1863 году.

Без языка и колокол нем

*Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? –
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!..*

(Ответ г-на Радищева во время проезда его через
Тобольск любопытствующему узнать о нем).

Преамбула

Александр Николаевич Радищев оказался в Тобольске довольно быстро.

В конце мая – начале июня 1790 года в домашней типографии он отпечатал около 650 экземпляров своего «Путешествия из Петербурга в Москву» без указания фамилии автора, 26 экземпляров им были отданы для продажи в книжную лавку, несколько экземпляров отосланы друзьям. С середины июня весь Петербург уже говорил о «Путешествии». Двадцать третьего полиция установила имя автора. Независимо от полицейского усердия двадцать пятого книга попала в собственные ее Императорского Величества руки – Екатерина Великая читала ее до 7 июля. Радищев был арестован еще до окончания ею чтения – 30 июня. В середине июля последовал указ о предании его суду и об изъятии зловердной книги, дабы она нигде в продаже и напечатании не была «под наказанием, преступлению сему соразмерным». 24 июля петербургская палата уголовного суда приговаривает Радищева к смерти, 4 сентября Екатерина заменяет казнь десятилетней ссылкой в Илимский острог.

Ответ любопытствующему узнать о нем при проезде через Тобольск Радищев дал в декабре того же, 1790 года.

«Проезд», правда, несколько затянулся – до конца июля 1791 года Александр Николаевич надеялся, что высокие петербургские покровители добьются смягчения его участи, по крайней мере – замены Илимского острога Тобольском.

В столице наместничества он пользовался полной свободой, бывал на званных обедах, праздниках, спектаклях Тобольского театра. Он писал в Петербург покровителю и другу графу Воронцову: «Когда придешь в гости к сибиряку, то без 6 и 8 чашек чаю не выйдешь, а без пуншу здесь дружеской нет беседы».

В Тобольск к нему приехала сестра его жены, умершей семь лет назад, – Елизавета Васильевна Рубановская, привезла его двух младших детей: дочь – девяти и сына восьми лет, стала его гражданской женой и последовала с ним в ссылку.

Радищев вошел в светскую жизнь города как свой человек. Что удивило его поначалу, а потом обрадовало – в Тобольске издавался литературный журнал, почти в каждом номере которого звучали мысли, высказанные им в «Путешествии».

Журнал назывался «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». В греческой мифологии Иппокрена – ключ на вершине горы Геликон, источник вдохновения.

Но когда он забил в Тобольске?

Стоящие у истока

В июне 1744 года Мануфактур-коллегия указом разрешила тобольским купцам Евсевию, Антону и Ивану Медведевым, входящим в первую десятку богатейших купцов города, завести бумажную фабрику, для чего отводила им пустующую казенную землю по речке Суклеме – в 15 верстах от города, позволяла купить до 100 крепостных, нанимать вольных. «...На ту фабрику в мастеровые и работные люди принимать свободных с настоящими пашпортами, а не беглых, чрез письменное обязательство объявляя их Мануфактур-коллегии».

Семья купцов Медведевых освобождалась от постоев и государственных поборов, изымалась из юрисдикции местных властей, передавалась в ведение Мануфактур-коллегии.

Начинаясь русскими купцами дело замышлялось так, чтобы было во благо Отечеству и себе не в убыток. В первые 15 лет бумажная фабрика Медведевых была единственной на Урале и в Сибири, приносила владельцам шестнадцать процентов ежегодной прибыли. Но братья были больше купцами, чем промышленниками, поэтому не бросали и торгового дела: китайские товары, казенный соляной подряд...

В 1778 г. наследники Евсевия продали свою долю фабрики тобольскому I гильдии купцу Василию Яковлевичу Корнильеву и в недолгом времени обанкротились – фабрика перешла в его полную собственность. Он метил свою бумагу водяными знаками СТФВК – Сибирская Тобольская Фабрика Василия Корнильева.

Род Корнильева знатен, крепок – прослеживается в документах четырех столетий. Родоначальник фамилии – Яков Григорьевич Корнильев (1679 – 1736). Его сыновья Михаил, Алексей, Федор и Василий занимались торговлей и промышленностью: Алексей, к примеру, имел «собственным капиталом стеклянную и хрустальную фабрику», в 1792 году она переходит в собственность Василия. К этому времени он – владелец бумажной и стекольной фабрик, тобольский городской голова. Он поклонник образования, книголюб. Его большая библиотека переходит по наследству сыну Дмитрию, затем к внучке – Марии Дмитриевне Корнильевой, вышедшей замуж за учителя Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева. Через Менделеевых род Корнильевых входит в двадцатый век: дочь Дмитрия Ивановича Менделеева, великого русского ученого, сына тобольского учителя, Любовь Дмитриевна становится женой Александра Александровича Блока, поэта той же величины.

В 1789 году при своей писчебумажной фабрике Василий Яковлевич открывает типографию с двумя печатными станками. «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» печатался здесь.

Начало книгопечатания в Тобольске совпадает с промышленным и торговым расцветом города — он торгует с Китаем, Средней Азией, Москвой, Казанью, Нижним Новгородом, постоянно представляет на Ирбитской ярмарке.

Но 1789-й — это год, в котором жарким июльским летом среди толпы возбужденных и негодующих парижан Камилл Демулен, выхватив пистолет, выстрелил в воздух, выкрикнул слова: «К оружию, граждане!» — и начался штурм Бастилии...

Неспроста, читая «Иртыш», Радищев находил на его рыхлых зеленоватых страницах мысли, созвучные собственным.

Авторы

В развернутом названии «Иртыша» указывается, что это «ежемесячное сочинение, издаваемое от Тобольского Главного народного училища». Фамилии его преподавателей действительно часто мелькают на страницах журнала.

Однако душой «Иртыша», фактическим его редактором был Панкратий Платонович Сумароков.

Некоторые литературоведы полагают, что стихотворный ответ Радищева «любопытствующему узнать о нем» дан именно ему.

Панкратий Платонович Сумароков родился во Владимире, в семье мелкопоместного дворянина, племянника известного русского писателя Александра Петровича Сумарокова. Раннее детство провел в деревне, в имении отца. С двенадцатилетнего возраста воспитывался в Москве, в семье дальнего своего родственника И. П. Юшкова, где получил хорошее домашнее образование, свободно владел немецким и французским языками, хорошо музицировал и рисовал. Службу начал в лейб-гвардии Преображенском полку в Петербурге, где водил дружбу с Николаем Михайловичем Карамзиным, но вскоре был переведен в лейб-гвардии Конный полк, только что сформированный. Несчастье, случившееся с ним здесь, изменило всю его жизнь. Подзадоренный товарищем, он в доказательство своей способности воспроизвести любой рисунок скопировал сторублевую

ассигнацию, которую без его ведома и согласия тот же товарищ при покупке дорогого меха отдает за настоящую. Подлог через некоторое время обнаруживается, и Сумарокова по решению суда как фальшивомонетчика лишают чинов, дворянства и на двадцать лет ссылают в Тобольскую губернию. Причисленный к мещанскому сословию Туринска, он все время ссылки провел в Тобольске – тобольский губернатор Алябьев сочувственно отнесся к невинно пострадавшему Сумарокову и предоставил ему возможность свободно заниматься литературным трудом – и с 1789 по 1791 гг. Панкратий Платонович сотрудничает с первым сибирским журналом. Здесь им опубликовано около двадцати произведений разных жанров: басни, сказки, оды, эпиграммы.

Язык Сумарокова ироничен, глаз остёр:

*Игрушка счастья и судьбины,
С дурным посредственным смесь,
Кусок одушевленной глины,
Оставь свою смешную спесь!
Почто владыкой ты себя природы ставишь?
Сегодня гордою пятой,
Ты землю, презирая, давишь,
Но завтра будешь сам давим землёю той.*

Все его эпиграммы кратки, остроумны и хлёстки:

*Ты хочешь знать, Дамис, за что твоя жена
Желает зла тебе, как будто лиходею,
Хотя и ничего не делаешь ты с нею? –
Уж полно, не за то ль и злится так она?*

Его эпиграммы сродни польским фразкам:

*Что не видал ослов, наш Клит весьма жалеет.
Неужто бороду без зеркала он бреет?*

С прекращением «Иртыша» он издает двенадцатитомную «Библиотеку ученую, экономическую, нравоучительную, историческую и увеселительную» и первую свою книжку стихотворений в Москве. Возможно, не без содействия Карамзина.

В начале царствования Александра Первого Сумарокова освобождают от наказания, он возвращается на родину, поселяется в родовой деревне Кунеево Каширского уезда Тульской губернии, посвятив себя литературным занятиям: переводам романов, составлению экономических и врачебных книг, в частности, в 1808 году вышла его книга «Источник здоровья», через год – «Способ быть здоровым».

Полное собрание сочинений П. П. Сумарокова вышло после его смерти, в 1832 году.

Самым ярким, постоянным сотрудником «Иртыша» был тобольский прокурор Иван Иванович Бахтин, сын орловского дворянина, отставной офицер, участник осады Силистрии в первую русско-турецкую войну, он на всю жизнь сохранил боевой задор, верность своим идеалам и принципам, соответствующим духу времени. Подпоручиком артиллерии, выйдя в отставку 9 декабря 1779 года, он через шесть лет вступает в гражданскую службу и назначается стряпчим Тобольского верхнего надворного суда. Через год в той же должности оказывается в Перми, где в урочный срок становится коллежским асессором и прокурором Пермского верхнего суда. Шаги вверх по служебной лестнице в марте 1788-го возвращают его в Тобольск, но уже в кресло губернского прокурора. С 31 декабря 1791-го он – надворный советник.

Одно из первых стихотворений Бахтина датировано 1780 годом.

В печати он выступил как сотрудник журнала «Лекарство от скуки и забот» – здесь в 1786 году за подписью «И. Бах.» появились его стихотворения «Эпитафия», две «Эпиграммы» и шесть «Мадригалов». На время пребывания Ивана Ивановича в Тобольске приходится самая активная пора его творчества. Его стихотворения – это сатиры, притчи, эпиграммы, написанные простым разговорным языком.

Вспоминая свои тобольские дни, он напишет, что был тогда «величайший вольнодумец... вольтерист, и Орлеанская девица была карманная моя книжка».

Охраняя устои единоправия, он писал крамольные стихи и переводил Вольтера. Один из исследователей Сибири писал о нем: «Надо было иметь много мужества, чтобы в эпоху XVIII столетия, когда крепостничество имело наибольшее свое развитие и когда всякое обличение произвола могло тяжко отозваться на обличителе, решиться явно обнаруживать то зло, которое порождалось произволом крепостного права. Еще более надо было иметь мужества обличителю, занимавшему высокий пост в наместнической администрации...». В стихах Бахтина крестьяне пугают детей волком и барином, рисуют картины барской жестокости. В первом номере «Иртыша» Николай Смирнов, прекрасно образованный крепостной князей Голицыных, отданный повелением императрицы «в стоящие в Тобольске воинские команды солдатом» за попытку бежать за границу, чтобы завершить образование в одном из европейских университетов, публикует стихотворение «На жизнь»:

*О вы! Которые рождаетесь на свет!
Мой взор на вашу часть с жалением взирает:
И самой смерти злей собранье zdeшних бед,
В сей жизни человек всечасно умирает...*

На это стихотворение в этом же номере Бахтин публикует свое «Возражение» – с теми же рифмами:

*Я вижу, что тебе несносен этот свет, –
Но мудрый иначе на эту жизнь взирает.
Утехи видя там, где видишь ты тьму бед,
Спокойно он живет, спокойно умирает.
Ты прежде бытия хотел бы много знать
И выбрать часть себе – иметь желал бы волю;
Но что?... Здесь волею умей лишь управлять,
И будешь ты блажить стократно смертных долю.*

И еще публикует он здесь «Сатиру на жестокости некоторых дворян к их подданным»:

*А вы, что за скотов подобных вам приемля,
Ни бедных жалобе, на воплю их не внемля,
Употребляя власть вам данную во зло.
На всяк час множите несчастливых число!..*

...Не логичнее ли предположить, что Радищев адресовал ответ «Не скот, не дерево, не раб, но человек!» Бахтину?

В мае 1794-го Ивана Ивановича переводят в Новгородо-Северскую казенную палату, в декабре этого же года – в Калужское губернское правление, в октябре 1795-го – в Тульское наместническое правление. За неполных два года Бахтин сменил три места службы, а в феврале 1797-го переместился на четвертое, но теперь уже надолго: в Петербург, в Экспедицию о государственных доходах и уже в чине коллежского советника. Через год он становится статским советником, в 1802-м – переводится в департамент Министерства финансов, и в апреле следующего года его облагодетельствуют чином действительного тайного советника. Тобольский губернский прокурор, пиитический злослов носит не только генеральский чин, но и лично знаком с самим Императором. Благодарно расположенный к Ивану Ивановичу, он поручает ему расследование нескольких дел о служебных злоупотреблениях и поведении помещиков, а в 1803-м назначает гражданским губернатором Слободской Украины. Перед этим назначением говорит Бахтину:

– Выведи ты мне в Харькове местничество!

В июне 1809-го действительный статский советник Бахтин получает диплом почетного члена Харьковского университета, после – диплом внешнего члена Харьковского общества наук, в мае 1817-го – его действительного члена.

Стихотворения 1780 – 1790 гг. он издает в Петербурге в сборнике «И я автор, или Разные мелкие стихотворения». Творчество Бахтина – заметное явление в культурной жизни Сибири, вообще русской провинции.

В связи с болезнью в ноябре 1814-го выходит в отставку, уезжает в Петербург, где с конца февраля 1816 года до самой кончины служит управляющим Государственной экспедицией для свидетельства счетов. Имеет много друзей и знакомых среди высших государственных чиновников.

Современники признавали в нем «высокую честность, обширный, несколько саркастический ум, вполне достаточное по

его времени образование и особенное расположение к добру в отношении ближних».

Авторов у «Иртыша» было много. Но названные определяли его лицо.

Участие Радищева без указания своего имени или под чужим предполагается, однако пока доказательств нет.

Авторы были разные – талантливые и не очень, одни за закатом солнца ждали появления нового дня, другие – повторение теперешнего. Сколько голов – столько умов. В церквях одни священнослужители взывали к смирению, а проповедник Петр Андреевич Словцов поучал: «Тишина народная есть молчание принужденное, продолжающееся дотолы, пока неудовольствие, постепенно раздражая общественное терпение, наконец, не прорвет оно».

Разнообразие авторов, их многочисленность свидетельствовали еще об одном – о высоком уровне образования и культуры людей, живущих в сибирской столице. Биение творческой и общественной мысли требовало выхода в мир к людям – купец Корнильев понимал: без языка и колокол нем. И дал язык колоколу!

«Иртыш» зримо связал Сибирь с Европейской Россией, в нем печатаются не только тоболяки, но и москвичи с петербуржцами. Поэт и драматург Николай Петрович Николев написал стихи «На смерть генерал-майора князя Сергея Абрамовича Волконского, принесшего жизнь свою в жертву Отечеству сего 1788 года декабря 6-го дня при взятии Очакова» – они в январе 1790-го появляются в «Иртыше». И неспроста: в Тобольске живет сестра погибшего князя – Наталья Абрамовна, урожденная Волконская, жена ссыльного, а стихи обращаются к Екатерине II с призывом о помиловании: «...заслуга братнина сея достойна мзды!».

В Тобольске А. Н. Радищев много работает в губернском архиве, готовит новое сочинение, о чем слухи доходят до встревоженного Петербурга: для издания его он может использовать корнильевскую типографию!

Возможность печататься действительно была одной из важнейших причин, по которой следовало бы добиваться разрешения остаться в Тобольске. Он предпринимает отчаянные попытки для этого. В последнем письме к Воронцову Радищев пишет о богатствах Сибири, о том, какое значение для ее экономического развития имеет открытие Северного морского пути, и добавляет: «Если бы мне пришлось влачить существование в этой губернии, я бы охотно предложил свои услуги для поисков этого пути, несмотря на все опасности, обычные для предприятий такого рода».

Дело Корнильевых

«Имея свободное время, будучи ничем иным, кроме коммерции, не занят, за долг себе поставил выбрать из разных исторических и географических книг краткие, любопытство заслуживающие известия, как-то: о Сибири, Камчатке, Америке, азиатских народах, о произрастании удивительных в Китае деревьев; о разных родах зверей, рыб, птиц; о знатнейших островах, берегах и о коммерции оных, с приобщением увеселительных повестей, анекдотов, кои, собрав воедино и разделяя на несколько частей, из коих первую, равно и последующие, приемлю смелость посвятить имени вашего превосходительства. Примите, милостивый государь, сей малейший труд за знак истинного моего к особе Вашей высокопочитания, что я за особенный знак милости вашей почитать себе буду.

Вашего превосходительства, Милостивого Государя моего, покорнейший слуга Д. Корнильев».

Таким посвящением правителю Тобольского наместничества Александру Васильевичу Алябьеву открывался «Исторический журнал» – другое издание Корнильевых. А «покорнейший слуга Д. Корнильев» – это Дмитрий Васильевич, дед Дмитрия Ивановича Менделеева по материнской линии.

Дело Корнильевых разрасталось. За все время существования их типографии общий тираж отпечатанных книг и журналов со-

ставил около 15500 экземпляров, из них 7200 экземпляров приходится на «Иртыш», было издано 24 номера этого журнала.

Первой и единственной, беллетристической книгой, выпущенной Корнильевыми, было «Училище любви» – переведенная П. П. Сумароковым с английского французская повесть. Остальные книги имели целью распространение полезных сведений и знаний среди населения. Это и «Словарь юридический, или Свод Российских узаконений по азбучному порядку», и «Краткое показание о бывших как в Тобольске, так и во всех сибирских городах и острогах с начала взятия Сибирского Государства, воеводах и губернаторах и прочих чинах, и кто они именно, и в каких городах были, и кто какой город строил, и когда. Писанное в Тобольском доме Архиерейском, 1791 года»...

Расчетливые и осторожные предприниматели поставили дело так, что свою продукцию сбывали не сами, но по заказам Тобольского приказа общественного призрения за установленную плату. Например, «Нужнейшие экономические записки для крестьян, содержащие в себе подробные наставления о производстве хлебопашества и разные другие к сельской экономике принадлежащие предметы, собранные из разных экономических сочинений Николаем Шукшиным» в рукописи были представлены А. В. Алябьеву, он одобрил их, «почел весьма за нужное представить волостным судам для внушения сельским жителям». Книга была отпечатана в количестве 3000 экземпляров, разослана по волостям по 3 рубля за экземпляр.

Таким же образом была отпечатана и распродана книга тобольского штаб-лекаря, Ивана Петерсена «Сельский лечебник». У книги длинное название: «Краткое наставление, как вспомоществовать тем, кои от насильственных или внезапных случаев приходят в такое положение, что уже мертвыми кажутся. Изданное Тобольского наместничества правящим должность доктора, штаб-лекарем коллежским асессором Иваном Петерсеном». За таким названием как бы не проглядеть того, что это одно из первых наставлений по реанимации!..

Кроме книжной и журнальной продукции, Корнильевы успешно торговали бумагой, печатали бланки для различных учреждений.

Типография Корнильевых была в ту пору единственной в Сибири. Как и единственным журналом «Иртыш». Собственно, кроме него, на периферии издавался тогда еще только один журнал – «Уединенный пошехонец» в Ярославле.

В 1796 году просвещенная и свободомыслящая императрица Екатерина II Великая запретила частные типографии.

В том же году ее не стало самой.

Послесловие

Сибирский первопечатник Василий Яковлевич Корнильев умер в 1795 году – семь лет, отданных книгопечатанию, стали достойным завершением большой жизни, наполненной многими трудами. Императрица не успела омрачить ее – опоздала на год со своим указом.

В 1802 году Александр I – новый свободомыслящий и просвещенный единоправец – облагодетельствовал любезное Отечество: вновь разрешил частное книгопечатание.

Сын первого сибирского типографа – Дмитрий Васильевич – в 1804 году вновь заставил работать печатные станки, но его типография просуществовала всего 3 года, у нее появился сильный конкурент: при губернском правлении в 1807 году открылась казенная типография.

Наступили новые времена – появились новые песни.

Последней книгой, напечатанной в типографии Корнильевых, была «Истина благочестия христианского, доказанная воскресением Иисуса Христа, с математическою точностию. В трех частях. Сочинение знаменитого математика англичанина Гумфреда Диттона». Перевел ее тобольский архиепископ Антоний, и она прозвучала как заупокойная молитва.

Хирела, становилась убыточной писчебумажная фабрика, ее продали. Она переходит из рук в руки, последнее упомина-

ние о ней – Тобольской писчебумажной фабрике – в документах 1888 года.

Но род Корнильевых оставался полным жизни, проникал в иные сферы деятельности и был уважаем всюду.

Декабрист Г. С. Батеньков писал декабристу И. И. Пущину в Ялуторовск: «...отец (Иван Павлович Менделеев) был моим учителем в гимназии и впоследствии добрым другом, равно как и мать со всем ее родом... Василий Дмитриевич Корнильев (брат матери, Марии Дмитриевны Корнилевой) был верен мне всем сердцем до последнего вздоха».

Василий Дмитриевич Корнильев оставил родные пенаты – оказался в столице, стал управляющим именьями князей Трубецких. В кругу его друзей и знакомых – петербургская знать, поэты Пушкин, Дельвиг, Баратынский... В сентябре 1830 года умирает Василий Львович Пушкин – Корнильев спешит к его племяннику Александру Сергеевичу, оставляет записку: «Корнильев приезжал разделить горечь о потере лучшего из людей».

Дамская улица

Дамская улица – это Петровский завод, Восточная Сибирь, это продолжение, оно далеко от ее начала. В Петровском заводе на ней стояли один возле одного и один напротив другого дома Муравьевой и Трубецкой, Волконской и Фонвизиной, Анненковой и Давыдовой, Ивашевой и Нарышкиной...

У ее начала – много других имен.

Двенадцатый год.

Французская армия стоит у западных границ России. Призрак Наполеона витает над каждым городом и селом, над каждой дворянской усадьбой.

Империя всколыхнулась от края до края, будто от края до края забили колокола – и каждое русское сердце стало как колокол.

Его императорское величество, постигая силу духа, овладевшего его народом, воспламеняется воинской славой, покидает столицу и прибывает в Вильну, в штаб Первой Западной армии. Его походные службы оказываются там же.

Мария Дмитриевна Гурьева, фрейлина, только что ставшая графиней Нессельроде, пишет в Вильну супругу – начальнику Походной дипломатической канцелярии: «...Я никуда не выезжаю вечерами, кроме как по приглашению царственных особ. Вчера, сверх ожидания, был прием у императрицы Елизаветы. У нее давали русский спектакль – водевиль по поэме Шаховского, сюжет которого очень подходит к нынешним обстоятельствам. Он относится ко времени Петра Великого, но можно увидеть намеки на нашего императора... Мелодии арий подобраны

восхитительно — они чисто народные. Это представление расстрогало меня и доставило много удовольствия. Остаток вечера прошел однообразно и очень натянуто. После скоро поданного ужина мы откланялись. До 11 часов все уже кончилось».

Фрейлина немногословна и скупа на чувства, но состояние предгрозя передано ощутимо. Ее, может быть, сдерживают слова супруга, за три дня до этого написавшего: «...все наши письма вскрываются. Почта до прибытия в Петербург доставляется к Вязмитинову, где так просматривается, что просто восторг...».

Это еще только середина мая, дыхания войны еще не слышно, слышен лишь ее топот.

Письмо юной княгини Меншиковой из Москвы к двадцатипятилетнему супругу полковнику в начале июня уже полно тревоги, беспомощной нежности: «...Милый, любезный друг, побереги себя — это одна моя просьба, а меня ничего не может рассеять, и слухи об войне больно слушать... а маменька велела сказать, не надо ли тебе денег прислать, то пришлем. На тамошней дороговизне тебе будет мало. Лучше лишние, чтоб не иметь нужды. Еще раз тебя целую».

В ночь с 11 на 12 июня, переправляясь через Неман, без объявления войны французские войска начинают боевые действия. Русская армия отступает. «Мой милый неоцененный друг... мы здоровы... грущу крепко по тебе, моя душа. Не знаю, что с тобою. Да сохранит тебя всевышний Бог, да защитит наше любезное Отечество, о котором крепко крушусь — больно, что все отдают, — пишет супруга сорокавосемилетнему генералу Коновницину, командиру пехотной дивизии, — ...Дети здоровы и спокойны, одна я вздыхаю. Посылаю сколько есть корпии. Мужики все в унынии, все страшатся французов. Сегодня многие приходили, о тебе спрашивают, я, сколько могу, ободряю, что ты там французов не допустишь... Я за себя не трушу, Бог нас не оставит, лишь ты бы жив был. Имения всего рада бы лишиться, лишь бы любезное отечество наше спасено было. Лиза ополчается крепко — дух отечествен-

ный страшный в этом ребенке – и жалеет крепко, что не мальчик: пошла бы с радостью служить да отечество защищать, и говорит, что жаль, что братья малы, что не могут государю доброму полезны быть. Ну такой дух во всех наших, и я уже только думаю: защити Бог Отечество! Прощай, Христос с тобою, навеки тебе друг Аннушка».

Крепко ополчающейся Лизе – одиннадцать лет, через столько же она станет госпожой Нарышкиной, это ее дом будет стоять на Дамской улице в Восточной Сибири.

Русская армия отодвигалась в глубь империи, выполняла приказ и с ненавистью смотрела на главнокомандующего – генерала от инфантерии Барклая де Толли: немец, шмерц, Болтай да и Только, а может быть, и того хуже – изменник.

Князь Меншиков советовал своему юному созданию: «...Надеюсь, что ты, милый друг, не упускаешь из виду делать тайные приготовления для выезда из Москвы, буде нужда потребует, хотя я, однако же, сего нещастья не чаю, и ежели судьба оное и допустит, то, по крайней мере, не так скоро. В горестях разлуки и трудах моих одно лишь утешение есть – надежда освобождения Отечества продолжительною и священною для русского войною...».

8 августа воспоследовал высочайший рескрипт о назначении главнокомандующим Михаила Илларионовича Кутузова. Грянул Бородинский бой.

Армия утвердилась в своем могуществе, но Москва была обречена.

«Вчера я к тебе, друг мой, писал чрез курьера, отправленного Кутузовым, где уведомил тебя, что у нас было третьего дня престрашное сражение, – писал жене генерал от инфантерии Дохтуров. – ... Ты у меня спрашиваешь, душа моя, остаться ли тебе в Москве. Может быть. Бог нам поможет злодея нашего истребить, но, однако же, чтоб ты не подвергалась опасности, я советую тебе ехать в деревню...».

Первопрестольная жила напряженным ожиданием, свершением чуда, явлением Божьей милости, укрепить ее дух дол-

женствовало обещанное прибытие в скором времени государя императора.

Однако он своего намерения не успел исполнить.

По городам и весям разошлись листки Правительственного сообщения: «С крайнею и сокрушающею сердце каждого сына Отечества печалию сим возвещается, что неприятель сентября третьего числа вступил в Москву... да не унывает от сего великий народ Российский. Напротив, да поклянемся всяк и каждый воскипеть новым духом мужества, твердости и несомненной надежды, что всякое наносимое нам врагами зло и вред обратится напоследок на главу их...».

Листок рвали из рук в руки, не верили своим глазам, не принимали утешения: «Неприятель занял Москву не от того, чтоб преодолел силы наши или бы ослабил их. Главнокомандующий по совету с первенствующими генералами нашел за полезное и нужное уступить на время необходимости, дабы с надежнейшими и лучшими потом способами превратить кратковременное торжество неприятеля в неизбежную ему погибель...».

Ярославская беженка, великая княгиня Екатерина Павловна обрушит на августейшего братца – Императорское Величество – гнев народа и свой собственный: «Я не в состоянии больше сдерживаться, несмотря на боль, которую мне придется причинить вам, мой дорогой друг. Взятие Москвы довело ожесточение умов до высшей степени. Недовольство достигло предела, не щадят даже вас лично. По тому, что дошло до меня, можете судить об остальном. Вас во всеуслышание винят в несчастье вашей империи, в крушении всего и вся, наконец, в том, что уронили честь страны и свою собственную. И не какая-нибудь группа лиц, но все единодушно вас хулят. Помимо того, что говорится о характере войны, которую мы ведем, одним из главных обвинений против вас стало то, что вы нарушили слово, данное Москве. Она ожидала вас с крайним нетерпением, но вы с пренебрежением бросили ее. Создается впечатление, что вы ее предали. Только не подумайте, что грозит катастрофа в

революционном духе, нет! Но я представляю вам самим судить о положении вещей в стране, где презирают своего вождя. Ради спасения чести можно отважиться на все, что угодно, но при всем стремлении пожертвовать всем ради своей родины возникает вопрос: куда же нас вели, когда все разгромлено и осквернено из-за глупости наших вождей? К счастью, мысль о мире не стала всеобщей. Совсем напротив, помимо чувства унижения, потеря Москвы возбудила и жажду мщения.

На вас открыто ропшут, и я полагаю, что обязана вам это сказать, мой дорогой друг, ибо это слишком важно. Вам не следует указывать мне на то, что все это не по моей части – лучше спасайте вашу честь, подвергающуюся нападкам. Ваше присутствие в армии может вернуть вам симпатии, не пренебрегайте никаким средством и не подумайте, что я преувеличиваю: нет, к счастью, я говорю истинно. Сердце обливается кровью у той, которая стольким вам обязана и желала бы ценой тысячи своих жизней вырвать вас из положения, в котором вы оказались».

Армия не давала покоя неприятелю, не давал народ. И ровно через три месяца после Бородина была Березина, где Наполеон окончательно потерялся, бросил свои войска и бежал восвояси. А через четыре дня после этого генерал Коновницын писал из Вильны супруге, дорогой Аннушке: «Третьего дня здесь, ура! ура! Слава Богу и русскому войску! Вот так-то, моя душа, мы поступаем, не прогневайтесь, и нас царство Русское не бранит... Я занял свою квартиру прежнюю... Тебе писал или нет, что у меня кучер Бонапарта, умеет править с коня, я его для тебя берегу...».

Армия пронесла славу русского оружия через всю Европу, вошла в Париж победительницей. Молодой генерал-майор князь Сергей Григорьевич Волконский пишет приятелю – тоже молодому и тоже генералу-майору Киселеву из Парижа: «...Вы сообщаете мне, что в Вене картины заступили место балов. Bravo!... Я часто хожу по спектаклям, ... составляю коллекцию из всех сочинений, которые уже созданы и которые создаются против нас и в защиту нас...».

Победители возвращались домой, в родные пределы.

Дух времени соединил единомышленников в масонских ложах, офицерских артелях, литературных обществах...

Снежным днем 9 февраля 1816 года в Санкт-Петербурге родился Союз Спасения – сообщество молодых людей, поставивших целью истребить крепостное право, учредить представительное правление, ввести конституцию.

Мысль о Союзе зародилась в голове Александра Муравьева, он поделился ею с Никитой Муравьевым – тот согласился: иными способами Россию не усовершенствовать.

Их круг пополнялся новыми именами, будущий день в их рассуждениях приобретал видимые черты, страницы «Конституции» выходили из-под пера Никиты Муравьева, «Русской Правды» – из-под пера Пестеля.

«Дамская улица» продолжала строиться, тянулась через кварталы обеих столиц, через помещичьи усадьбы.

На бракосочетание фрейлины графини Елизаветы Петровны Коновницыной с полковником Нарышкиным по императорскому указу выдается 12 тыс. рублей.

Князь Сергей Трубецкой в Париже встречается с графиней Екатериной Ивановной Лаваль – она становится его женой.

Прапорщик Рылеев в глуши Острогожского уезда Воронежской губернии пленен юной дворянкой Натальей Михайловной Тевяшевой.

Основатель тайного общества Александр Муравьев женится на княжне Прасковье Михайловне Шаховской.

Молодая семья поселяется в деревне.

Основатель тайного общества все реже и реже встречается со своими единомышленниками, а потом объявляет о своем выходе из тайного общества. Якушкин заметил по этому поводу: «Жена его, бывши невестой, пела с ним Марсельезу, но потом в несколько месяцев сумела мужа своего, отчаянного либерала, обратить в отчаянного мистика...».

При встрече с прежними товарищами Муравьев советовал им последовать его примеру. Они не сделали этого – разразилось 14 декабря 1825 г.

Казематы Петропавловской крепости стали заполняться арестованными.

В личном архиве Василия Андреевича Жуковского хранятся письма его племянницы Авдотьи Петровны Елагиной. В них живут голос общественного мнения и собственное отношение «матери если не Гракхов, то Киреевских» (Герцен) к важнейшему политическому событию первой половины XIX века – восстанию декабристов. Хозяйка известного московского литературного салона, принимавшая в своем доме Пушкина, Гоголя, Герцена, Тютчева, Чаадаева, некоторых будущих бунтовщиков, она пишет поэту, человеку, близкому ко двору, – воспитателю наследника: «Я смело прошу у Вас утешения всякому страдающему, Надежды Николаевны Шереметевой зять Якушкин, Вам знакомый человек; дайте ей насчет его какую-нибудь отрадную весть...» А через четыре месяца, в апреле 1826-го: «Это письмо доставит Вам фон Визина, дочь Марии Павловны Апухтиной, Вы ее знали еще ребенком, но увидите, что и теперь она еще совершенный ребенок. Мать не может не пустить ее, ибо она таит надежду видаться с мужем... невозможно без сильной горечи ее отпускать. Говорят даже, будто он умер. Все это, может быть, и неправда, так же, как и другие дурные слухи, но Вам, бесценный друг, в доле почти утешителя страждущих поручаю ею заняться. Эта бедная молодая женщина полагает смело, что она любовью своею наделает чудеса и выхлопочет все, что ей надобно... ежели какая-нибудь злая судьба должна ее постигнуть, не сказывая ей ничего, вышлите ее из Петербурга, Вы увидите сами, какой она милый, прекрасный ребенок. Бесценный друг, может статься, что это еще не последнее поручение к Вам, но я знаю Вашу душу... что может быть выше и лучше того упования, с которым глядят на Вас ищущие отрады. Я горжусь их мнением об Вас и всех их готова отдать на Ваше попечение...

Что наш бедный Батеньков? Напишите ко мне одной об нем, если ему дурно».

Авдотья Петровна преклоняется перед умом и талантом Жуковского, перед его отзывчивостью на каждое обращение за помощью. Она хочет видеть Жуковского в роли заступника и просителя, не принимая во внимание его положение при дворе. Гавриил Степанович Батеньков – друг и однополчанин ее второго мужа, оба они герои военных 1812 – 1814 годов, но ей неизвестна тяжесть обвинения, висящая над подполковником Батеньковым. 1 мая 1826 года в Петербург летит ее просьба: «Жуковский, друг мой, письмо это отдаст Вам Василий Васильевич Погодин, которому я и муж мой поручили изъяснить Вам наше дело. Он знает его (Батенькова) коротко и по прекрасному, благородному своему сердцу принимает большое в нем участие. Вам ли, душа моя, нужно рассказывать то, что Вам для меня сделать? Если мой приезд и приезд мужа моего необходим, чтобы Вам действовать, то я, несмотря на мою болезнь...явлюсь к Вам и буду делать все, что только возможно для нашего спасения. Я говорю нашего, Вы знаете, сколько сердце мое растерзано его обстоятельствами. Неужели на милость Государя надеяться невозможно? Друг мой, употребите все Ваши силы для Вашей сестры: я Вас никогда ни о чем не просила, теперь и прошу, и требую Вашего ходатайства. Доброта Вашего сердца не может Вас скомпрометировать...»

Василий Андреевич отвечал ей реже, чем она к нему обращалась. За три дня до своего отъезда с наследником за границу он написал ей: «Что я могу в таком деле, где обращают внимание на одни действия и где постороннему говорить нечего. Здесь ходатайство помочь не может... Государь может только облегчить приговор суда... Что могу там, где никто ничего сделать не может?.. Простите. Зачем Вы возлагаете на меня такое дело, которое, при малейшем Вашем размышлении, Вы должны бы найти совершенно для меня неприступным? Зачем даете

мне печальную необходимость сказать Вам: ничего не могу для Вас сделать? В моем сердечном участии Вам сомневаться не должно. Простите. Всех вас обнимаю».

Жуковский за границей пробыл до сентября 1827 года. Елагиной в те края было отправлено только одно письмо – 24 июля 1826 года: «...Завтра царь выезжает в Москву. Я увижу Вашего воспитанника и как бы рада была радоваться! Но строгое осуждение растерзало мое сердце: кругом меня отчаяние, стон. Матери, жены, братья, все в жестокой скорби. Ничего не могу сказать Вам о праздниках, вероятно, их будет довольно, но не для всех...»

В ожидании приговора Авдотья Петровна делилась с мужем мыслями: «Надобно иметь в готовности некоторую сумму на всякий случай, авось ему (Гавриилу Степановичу) пригодится! Слава Богу, что мы дом не купили... Его хотят погубить! Боже мой! Неужели для этого сохранил его от 13 ран, от смерти за Отечество?»

Никиту Муравьева, автора проекта Конституции, арестовали в имении жены урожденной графини Чернышевой, он пишет ей из крепости: «Мой добрый друг, помнишь ли ты, как при моем отъезде говорила мне, что можно ли опасаться, не сделав ничего плохого?... Увы! Мой ангел, я виновен – я один из руководителей только что раскрытого общества...». Александра Григорьевна, мать двоих детей, ожидающая третьего, отвечает: «...В течение почти трех лет, что я замужем, я не жила в этом мире – я была в раю. Счастье не может быть вечным. Не предавайся отчаянию, это слабость, недостойная тебя... Ты упрекаешь себя за то, что сделал меня кем-то вроде соучастницы такого преступника, как ты... Я самая счастливая из женщин».

«Счастливейшей женой в свете» назовет себя Мария Казимировна Юшневская в прошении о разрешении следовать на пожизненную каторгу «для облегчения участи мужа» – бывшего генерала-интенданта.

Россия давно вписывала имена своих женщин в мировую историю, многие из них носили монаршие короны:

- Анна Ярославна – королева Франции,
- Анастасия Ярославна – королева Венгрии,
- Елизавета Ярославна – королева Норвегии,
- Евпраксия Изяславна – королева Польская...

Высоки головы у русских женщин.

Отец Полины Гёбль, полковник королевской армии, казнен в дни Великой Революции. Полина – модистка дамского салона в Москве. Ее гражданский брак с корнетом Кавалергардского полка Иваном Анненковым, отпрыском богатейшей и знатнейшей фамилии, не узаконен, Полина ни на что не претендует. Анненков оказывается в крепости – она делает все для его побега. Приходит за разрешением на оный к матери возлюбленного. Мать возмущается:

– Мой сын беглец, сударыня?! Я никогда не соглашусь на это, он честно покорится своей судьбе...

По двору Петропавловской крепости белой ночью мечется белой тенью женщина, припадает телом и выброшенными вверх руками к казематам, надрывает стоном и криком голос:

– Верните мне моего Кондратия!

ДВЕ ЛЕГЕНДЫ

Афанасий Петрович

I

Начиная с Тюмени поручику барону Розену, его спутникам ямщики и просто встречающие люди задавали один и тот же вопрос: не встречали ли они в пути старца Афанасия Петровича и красноярского купца Старцова, которых тобольский полицмейстер увез в Петербург?

Нет, таковых они не встречали. И, оказалось, не могли встретить, потому что у полицейского дома в Красноярске к ним подошел тот самый купец Старцов и предложил место для ночлега в своем доме.

За ужином шутил-приговаривал:

– Сладка беседа, да голодна! – поглядывал на барона и его спутников, покачивал головой: – Казна с голоду не уморит, но и досыта не накормит.

Если это говорилось к тому, что стол накрыт по-барски, то хозяина можно было бы заподозрить в тщеславии, если же слова относились к теперешнему положению приглашенных, то они были справедливы, ибо барон уже был не барон и не поручик – постановлением Верховного суда он лишен офицерского чина и дворянства, впрочем, как и его спутники.

Их везли в Сибирь из Петропавловской крепости.

А купцу был известен вкус казенной пищи.

Розен пытался справиться у него об Афанасии Петровиче, но старик отзывался неведением.

II

Купца звали Иван Васильевич. Он знал об Афанасии Петровиче всё.

«Всемиловейший Александр Павлович! – писал в Петербург пять лет назад Иван Васильевич. – По долгу присяги моей, данной перед Богом, не мог я, подданнейший, умолчать, чтобы Вашему императорскому Величеству о нижеследующем оставить без донесения...»

Он писал не потому, что знал: за Богом молитва, за царем служба не пропадут, а потому, что был уверен – в ихнем сибирском краю, в шестидесяти верстах от уездного Красноярска в крестьянских селениях, перебираясь из одного в другое, под именем Афанасия Петровича живет не кто-нибудь другой, а сам родитель Его императорского Величества, оный странник никакими ремеслами не владеет, к труду никакому не удобен и не учен, а на теле у страдальца между лопатками возложенный крест, коего никто из простолюдинов и дворян иметь не может.

«Если же по описанным обстоятельствам такового страдальца признаете Вы родителем своим, то не предавайте забвению, возьмите свои обо всем высочайшие меры, ограничьте его беспокойную и беднейшую жизнь и обратите в свою отечественную страну и присоедините к своему высочайшему семейству, для обращения его не слагайтесь на здешних чиновников, возложите в секрете на вернейшую Вам особу, нарочно для сего определенную с высочайшим Вашим повелением...».

Старцов писал, а рука дрожала, сердце обрывалось: правда Божия, а суд царев, как-то оно ему там вздумается?!

«...меня же, подданнейшего, за такое дерзновение не предайте высочайшему гневу Вашему, что все сие осмелился предать Вашему величеству...».

Получив письмо, государь вызвал к себе министра внутренних дел. Неизвестно, о чем с ним говорил, только министр отослал копию того письма сибирским властям, а от себя прибавил: «По слогу одного и всем несообразностям, в нем заключающимся, хотя скорее можно бы отнести к произведению, здра-

вого рассудка чуждому, но тем не менее признано было нужным обратить на бумагу сию и на лица, оною ознаменованные, внимание, тем более, что подобные толки могут иметь вредное влияние и никогда терпимы быть не должны.»

Красноярский купец Старцов письмо Государю императору писал в июле 1822-го, а в ноябре того же года тобольским полицмейстером вместе с Афанасием Петровичем был отправлен в Петербург.

(Не будь дураков на свете, не было бы и умных).

Как ни приставали с расспросами к Ивану Васильевичу господа государственные преступники, он обо всем отзывался полным неведением.

III

На каторге не бывший поручик, а его союзник, бывший полковник, кропотливо собирает сведения о старце, и не просто собирает – этот государственный преступник, фон дер Бриген, в свое время был близок к известным кругам и потому известное связывает с неизвестным – с Афанасием Петровичем. В его голове соединяются в одно слышанное и знакомое...

Екатерина, еще не Великая, еще во времена императрицы Елизаветы, родила от прекрасного Сергея Салтыкова мертвого ребенка. Что не от супруга Петра Федоровича, в скором времени нареченного Императором Петром III, – это не зорно: он слабоумный пьяница безо всякой энергии, без мужской силы, а престолу нужен наследник, другое дело – что мертвый.

В деревне Котлы под Ораниенбаумом в один день с Екатериной разрешается мальчиком молодая чухонка, называет его Павлом. К ней вдруг налетают в богатых одеждах неизвестные люди, забирают новорожденного и исчезают на быстрых конях в ночном мраке.

Младенца доставляют во дворец, население деревни отправляют на Камчатку, деревню сжигают, а пепелище распаивают сохой.

Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Рядом с Котлами располагается имение барона Карла Тизенгаузена – отца Василия Карловича, дышащего тем же сибирским воздухом, что и названные выше государственные преступники.

Так ли, не так ли было дело, но через много лет в Сибири появляется человек, весьма и весьма похожий на императора Павла Первого, но ведет шатальческий образ жизни. Может, это и не Павел, но уж, конечно, его брат, потому и прозывается Афанасий Петрович. Так писал императору красносельский купец.

Задолго до появления в здешних местах людей из Петропавловской крепости Афанасия Петровича забирали в подвал полицейские власти, которые на запросы свыше отвечали: сей поселенец представляет себя важным лицом, по поводу сего и был сыскан в комиссарстве и словесно расспрашиван, и он учинил от того отречение, никакого о себе разглашательства не делал, да и жители, в которых селениях он обращался, ничего удовлетворительного к тому не предъявляли, кроме того, что в разговорах с простолюдинами, и в особенности с женским полом, рассказывал о покойном Его Величестве императоре Павле Первом, которого он довольно, до поселения в Сибирь, видел и что весьма на него похож.

В Петербурге шаталец жаловался:

– У нас в волости полицейский начальник посадил меня на цепь и колодку, потом начал спрашивать: «Как ты смел называться Павлом Петровичем?» Я отвечал: «Я не Павел Петрович, но Афанасий Петрович» и просил его выставить тех людей, по словам которых я называл себя Павлом Петровичем. Но он их не выставил.

IV

... И пришло сибирскому начальству предписание: привезенные в Петербург сочинитель письма и тот, про кого написан, пусть будут водворены на места, где тот и другой проживали... Старцова оставить совершенно свободным, не вменяя ему ни в какое предосуждение того, что он в Санкт-Петербург был требован. Про Афанасия же Петровича было писано: не стесняя свободы его, иметь за ним присмотр. «Но буде бы он действительно покусился на ка-

кие-либо разглашения, в таком случае отнять у него все способы к тому лишением свободы». При встрече со Старцовым Афанасий Петрович, того не ведая, будто про себя пришептывал:

– Не помню, как крестился, не видел, как состарился, не знаю, где умру.

Вослед за первой бумагой в феврале двадцать третьего года пришла другая, касаемая его, дескать, во исполнение последовавшей по сему делу высочайшей государя императора воли прошу сыскать известного старца на прежнем его жилище. Для прекращения всех о нем слухов в Сибири препроводить его за присмотром благонадежного чиновника к московскому генерал-губернатору для возвращения на место родины. Но дабы не изнурить его пересылкою в теперешнее холодное время, то отправить его по миновании морозов...

Переписка тайная, но сибирскому люду известная: кто тут чего не знает?! Она укрепила веру людей в то, что старец все-таки не простой, кровей высоких: кто бы стал так заботиться о человеке низкого роду?

V

Не верил и красноярский мещанин Старцов, что Петров, возимый вместе с ним в Петербург, возвращенный обратно и вновь туда вытребованный, человек простой. Он принялся за прежнее: стал беспокоить письмами августейшее семейство, только писал теперь не Александру, но Константину.

Цесаревич поделился содержанием писем с Его Величеством братом, Александр поделился содержанием с вернейшим другом Аракчеевым: мол, присмотри, Алексей Андреевич, за этим делом.

Алексей Андреевич всё понял: написал сибирскому генерал-губернатору, мол, красноярский мещанин Иван Васильев Старцов и прежде делал и ныне продолжает писать нелепые доносы, потому надо обратить на него строгий просмотр, чтобы он не мог более как бумаг писать, так и разглашений делать, нелепостями наполненных.

Генерал-губернатор запретил Старцову вообще отправлять куда-либо письма без его разрешения, в противном случае он будет непременно наказан.

Ивана Васильевича Старцова и Афанасия Петровича Петрова в Петербурге хоть и держали в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, но в разных камерах, потому Старцов не знал многого из жизни Петрова и писал о нем только со слов других людей, по слухам.

А Петров на допросах показал и по выправкам о первобытном состоянии его нашлось, что он пересылался через Тобольск 29 мая 1801 года в числе прочих колодников для заселения Сибирского края, что ему от роду шестьдесят два года, грамоте не умеет, родился в тридцати верстах от Москвы в деревне Исуповой, около тридцати лет находился на вольных работах в Москве. Но как вольные работы и мастерство стали приходить в упадок, то он стал терпеть нужду и кормиться подаванием, за что был взят на съезжую и в 1800 году отправлен в Сибирь вместе с женой – без объявления вины и безо всякого наказания... Жена вскорости умерла, он снова стал хаживать по деревням для работы и прокормления.

Когда красоярский мещанин Старцов и подозрительный старец Петров находились в столице, государь император странствовал по заграницам, по возвращении, узнав о недавних узниках Алексеевского рavelина, повелел поселенца Петрова для прекращения всех слухов возвратить из Сибири на родину, где каждому он лично известен, чем и было вызвано появление догонного письма из Петербурга в Сибирь.

Афанасий Петрович стал жить у единственной оставшейся в живых дочери и в полицейских документах назывался всегда одинаково: возвращенный весной 1823 года и водворенный на месте своей родины Московской губернии, Подольской округи в деревне Исуповой, принадлежащей госпоже Нарышкиной, крестьянин Петров.

Но была какая-то тайна в семействе Романовых, которая продлевала существование легенды.

Розен сообщает, будто при остановке в Тобольске старец спросил у генерал-губернатора:

– Что, Капцевич! Гатчинский любимец! Узнаешь ли меня?!

Федор Кузьмич

I

Княгиня Волконская, супруга министра двора, ужаснулась тому, что увидела: это был не он. Она с детских лет обитательница Зимнего дворца: ее мать – первая статс-дама и сама она фрейлина Ее Величества императрицы Елизаветы Алексеевны.

В гробу лежал не он.

Государь император старше княгини девятью годами, она помнит его с отроческих лет, помнит его отроческие терзания и знает неотступное намерение многое изменить в русской жизни.

Она знала и правильно понимала его.

Наследником он писал своему учителю Лагарпу: «Мой отец по вступлению на престол захотел преобразовать все решительно. Его первые шаги были блестящи, но последующие события не соответствовали им. Все сразу перевернуто вверх дном...невозможно перечислить все те безрассудства, которые совершались здесь, прибавьте к этому строгость, лишнюю всякой справедливости, немалую долю пристрастия и полнейшую неопытность в делах. Выбор исполнителей основан на фаворитизме, заслуги здесь ни при чем...землепашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены: вот картина современной России».

Александр тоже задумывал многое сделать для процветания России, но все срывалось или разрушалось.

Не по себе дерева не руби.

Дворец в Таганроге – одноэтажный каменный домик с тринадцатью окнами на улицу, направо ворота, ведущие во двор, к подъезду дворца, точнее, этого невзрачного сооружения, по левую сторону – небольшой садик. Всего во дворце двенадцать комнат.

Он лежит посреди ледяной залы в цинковом гробу, обитом дубовыми досками, золотая парча с двуглавыми орлами обтяги-

вает их. За открытыми окнами ноябрьского Таганрога – тишина и разговоры о том, что в гробу не император, но совершенно другой человек – беглый солдат Семеновского полка, недавно скончавшийся в местном госпитале.

Княгиня глядит на лицо покойника и не находит знакомых черт.

Царь земной под царем небесным ходит, но зачем так жесток последний к первому?! Его не узнать. Она обращалась к батюшке, отцу Алексию, бывшему при последнем издыхании Его Величества: «Как так?!». Но батюшка был многословен и увертлив:

– Сим молитву дает, Хам пшеницу сеет, Афет власть имеет, смерть всем владеет. – И еще что-то, еще что-то.

«Высокий, с военной выправкой человек торопливо пересек залитый дождем дворик в Таганроге, около дворца, и вышел на улицу. У ворот часовой отдал ему честь, но незнакомец его не заметил. Еще миг, и высокий человек исчез во тьме ноябрьской ночи, окутавшей, словно пеленой, туманом этот южный приморский городок.

– Кто это был? – спросил сонный гвардейский капрал, возвращавшийся с кругового обхода.

– Его Императорское Величество вышел на раннюю прогулку, – ответил часовой, но голос его звучал как-то неуверенно.

– Да ты с ума сошел, – напустился на него капрал, – разве ты не знаешь, что Его Величество тяжело болен, что доктора потеряли всякую надежду и ждут конца государя на рассвете?..

Несколько часов спустя глухой звон колоколов, разносясь в воздухе на далекие версты вокруг, возвестил, что... «Александр I в бозе почил».

Княгиня Волконская, Софья Григорьевна, никогда не прочтет этих строк, потому что они написаны великим князем Николаем Михайловичем, внуком Николая I, и опубликованы в другом веке и в другой стране.

II

Протокол не безгрешен по части медицинской науки, но протокольный этикет при его подписании соблюден – в начале идут фамилии младших по чину докторов: Дмитриевского вотчинного госпиталя младшего лекаря Яковлева, лейб-гвардии Казачьего полка штаб-лекаря Васильева, штаб-лекаря надворного советника Александровича, в конце, восьмыми и девятыми соответственно фамилии лейб-медиков действительного статского советника Стоффрегена и тайного советника лейб-медика баронета Якова Виллие.

Надворный советник доктор Тарасов перечитал только что составленный им протокол – и отказался поставить под ним свою подпись.

«... и нашли следующее:

1. На поверхности тела.

...На передней поверхности тела, именно на бедрах, находятся пятна темноватого, а некоторые темно-красного цвета, от прикладывания к сим местам горчишников происшедшие; на обеих ногах ниже икр, до самых мышцелков приметен темно-коричневый и различные рубцы, особенно на правой ноге, оставшиеся от заживления ран, которыми государь император одержим был прежде...

2. В полости черепа.

...По снятии твердой мозговой оболочки, которая в некоторых местах, особенно под затылочной костью, весьма твердо была приросши к черепу...»

Его фамилия стояла под номером 5.

Он посмотрел на нее, отложил ручку и вышел из кабинета.

Он ничего не напутал, его руку остановила память. Почти два года назад император заболел рожистым воспалением на левой ноге. И когда он, Дмитрий Климентьевич Тарасов, доложил об этом лейб-медику Виллие, тот крайне встревожился: не перешло бы оно в антонов огонь! Сие опасение было справедливо, ибо, как считалось тогда, именно в этом месте была ушиблена нога Его Императорского Величества на маневрах в Бресте-Литовском.

Император, проезжая в тот раз по фронту польской кавалерии, подозвал к себе одного полковника для отдачи приказа. Получив его, полковник поворотил свою лошадь, а она взяла и лягнула – удар ее подкованного копыта пришелся в правое берцо императора.

От сопоставления сих наблюдений у доктора шевельнулись кое-какие подозрения.

Княгиня понимает: все люди смертны, у всех один земной конец, но Боже правый, Боже правый, она готова принять за истину распространяемое слухами.

Её утешает мысль давняя, вынесенная из детства, даже не мысль, а утверждение, внушаемое им, воспитанницам Благородного института священником: смертный плотью, бессмертен духом.

В первых письмах в Петербург она, как бы между прочим, пишет: «Кислоты, которые были применены для сохранения тела, сделали его совсем темным, глаза значительно провалились; форма носа наиболее изменилась, т.к. стала немного орлиной».

Через неделю, в письме к императрице-матери, в ее словах проскальзывает кое-что о тайне, сопутствующей уходу императора из жизни: «Я осмеливаюсь снова взяться за перо, чтобы передать вам, государыня, с хорошей оказией подробности, о которых я узнала во время путешествия... мой муж не знает... что я пересылаю вам, государыня, его письма, содержащие в себе сообщение, которое он никогда не подумает вам сделать ...

Всё, что связано с вашим возлюбленным сыном, представляет из себя воспоминание, которое я желала бы сохранить до моей смерти...»

Князь Волконский, супруг Софьи Григорьевны и министр двора, как будто и не подозревал о существующем с давних пор союзе супруги с императрицей-матерью. Он с самого выезда императора из Петербурга был при его особе, как и Софья Григорьевна. Она умела выведывать тайны у супруга, а их было много.

Их было много и многого они касались: оформление медицинских документов со множеством несоответствий, с подпи-

сями не присутствующих при вскрытии лиц, как, например, штаб-лекаря таганрогского гарнизона Александровича, или появляющиеся после, как подпись Тарасова, странные намеки, поступки императрицы, фрейлин, министра двора и нового императора, запретившего открыть для народа гроб в Казанском соборе. И прочая, прочая...

Жители Таганрога, распространявшие слух о чужом теле в императорском гробу, были поражены другим слухом: некий старец, весьма и весьма похожий на государя императора, вчерашней ночью вышел из города с котомкой через плечо.

III

Не нашел в себе, не сыщешь на селе. Каких только вопросов не разрешала русская пословица!

Александр I был замкнут, редко с кем делился своими переживаниями, потому оставался загадкой даже для тех, кто находился с ним рядом долгие годы.

«Сфинкс, не разгаданный до гроба», – сказал о нем князь Вяземский, поэт.

Молодой царь с первых своих государственных шагов замыслил изменить порядок вещей в империи и первым делом создать орган, который ограничивал бы его самодержавную власть. Им должен был стать Непременный комитет, другие комитеты и общество, все это было создано, но не играло никакой роли в судьбах Отечества. Когда-то он признавался своему учителю Лагарпу: «Мне думалось, что если когда-либо придет мой черед царствования, то вместо добровольного изгнания себя, я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-нибудь безумцев.

Это было бы лучшим образом революции, так как она была бы произведена законной властью, которая перестала бы существовать, как только конституция избрала бы своих представителей...» Юношеские мечты не осуществились.

Они поверялись исключительному человеку, стремительно появившемуся ниоткуда, но государственным умом сразу покорившим императора – Михаилу Михайловичу Сперанскому.

– Настоящая система правления не свойственна уже более состоянию общественного духа, и настало время переменить ее и основать новый вещей порядок, – рассуждал он. И первым делом предлагал положить в основу реформ традиционный принцип разделения властей. – Нельзя основать правление на законе, если одна державная власть будет и составлять закон, и исполнять его.

Намечаемые преобразования касались всех сторон государственного устройства: вводились гражданские и политические права, выборное начало и, главное, ограничение самодержавной власти.

Перед этим было дарование конституции Царству Польскому.

В польском сейме 15 марта 1818 года император произнес речь, изумившую современников:

– Образование, существующее в вашем краю, дозволило мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, руководствуясь правилами законно-свободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений и которых спасительное влияние надеюсь я с помощью Божией распространить и на все страны, Провидением попечению моему вверенные. Таким образом вы подали мне средство явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приурочиваю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости.

В разных слоях российского общества речь государя была воспринята по-разному – от резкого неприятеля до полного восторга. Князь Вяземский писал:

*Счастливым вождем тобой счастливых россиян,
В душах их раздалась души великой клятва,
Уж зреет пред тобой бессмертной славы жатва,
Петр создал подданных: ты образуй граждан.
Пусть просвещенная и мудрая свобода,
Обетованный брег великого народа,
Нас примет на свои священные поля.*

Великие планы были у государя Александра Первого и государственного секретаря Сперанского. Ни у того, ни у другого они не сбылись. Через двадцать лет после воцарения, летом 1821 года, Александр признался вернувшемуся из ссылки Сперанскому, что с планами реформ покончено. Тот записал в своем дневнике: «Разговор о недостатке способных и деловых людей не только у нас, но везде. Отсюда заключение: не торопиться с преобразованиями; но для тех, кои их желают, иметь вид, что ими занимаются...»

И они вид имели.

«Утомление жизнью», каковым назвал князь Меттерних, австрийский канцлер, психическое состояние тогдашнего Александра, находившегося как бы в душевном затмении, наступило не после долгих лет правления, но много раньше.

Девятнадцати лет он писал другу полные разочарования и горечи слова: «Повторяю снова! Мое положение меня совсем не удовлетворяет. Оно слишком блистательно для моего характера, которому нравится исключительно тишина и спокойствие. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен явиться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах ни гроша...В наших делах господствует невероятный беспорядок, грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду...При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившиеся в нем злоупотребления? Это выше сил не только человека одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже и гения...Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого неприятного поприща поселиться с женою на берегах Рейна, где буду спокойно жить честным человеком, получая своё счастье в обществе друзей и в изучении природы...»

Утром после убийства отца он сказал вручавшим ему корону и трон:

– У меня не хватит сил царствовать. Я отдаю мою власть кому угодно.

– Не дурачьтесь, Ваше Величество! – было ему отвечено.

За обедом в Киеве 8 сентября 1817-го, как записано любимым флигель-адъютантом императора полковником Михайловским-Данилевским, когда разговор коснулся обязанностей людей различных состояний, «равно и монархов», Александр I неожиданно произнес твердым голосом:

– Когда кто-нибудь имеет честь находиться во главе такого народа, как наш, он должен в минуту опасности первый идти ей навстречу, он должен оставаться на своем посту только до тех пор, пока его физические силы ему это позволяют. По прошествии этого срока он должен удалиться. Что касается меня, то в настоящее время я прекрасно чувствую себя, но через десять или пятнадцать лет, когда мне будет пятьдесят, тогда...

Мысль о снятии с себя короны преследовала Александра постоянно. В 1818 году он пишет графине Софии Соллогуб: «Вознесясь духом к Богу, я отрешился от всех земных наслаждений...»

После того, как на смотре в Польше его ударила в ногу лошадь, один из генерал-адъютантов выразил ему сожаление от имени жителей Брест-Литовска. На вопрос императора, от чьего именно, генерал ответил: «Всех!»

И тут государь признался:

– По крайней мере, мне приятно верить этому, но в сущности я не был бы недоволен сбросить с себя бремя короны, страшно тяготящей меня.

А пятью годами раньше в серьезном разговоре он заставил обомлеть младшего брата, Николая, сказав:

– Что касается меня, я решил сложить с себя мои обязанности и удалиться от мира, Европа более чем когда-либо нуждается в монархах молодых и в расцвете сил и энергии; я уже не тот, каким был, и считаю своим долгом удалиться вовремя...

Перед поездкой в Таганрог он доверительно рассуждал перед близкими:

– Я скоро переселюсь в Крым и буду жить частным человеком.

– Я отслужил двадцать пять и солдату в этот срок дают отставку.

IV

Последние годы императрица Елизавета Алексеевна страдала тяжкими физическими расстройствами здоровья. В конце лета 1825 года врачи настоятельно советовали ей провести предстоящую зиму где-нибудь на юге: в Италии, южной Франции или южной России.

– Не понимаю, как доктора могли избрать такое место, как Таганрог, как будто в России нет лучше другого приморского города? – писал другу удивленный генерал-адъютант князь Волконский.

И действительно, побережье Азовского моря славилось и славится своими ветрами, снежными заносами, стужами, никак не соответствующими южно-европейским зимам.

Вероятно, Таганрог был избран самим императором. Когда на семейном совете окончательно было решено провести зиму в Таганроге, государь проявил странную поспешность: отменив смотр войскам 2-й армии в Белой Церкви, назначенный на осень, он поручает князю Волконскому сопровождать императрицу и 1-го сентября, всего за два дня до намеченного отъезда Елизаветы Алексеевны, уезжает из Петербурга. Его сопровождают только начальник главного штаба генерал-адъютант барон Дибич, доктора лейб-медик Виллие и Тарасов, вагенмейстер полковник Соломко, четыре младших офицера и прислуга.

Перед отъездом у него состоялся странный разговор с князем Голицыным, министром духовных дел, высказавшим опасение, что при таком длительном его отсутствии нелегко будет сохранить в тайне такие важные документы, как акт о престолонаследии.

– Положимся на Бога: он устроит всё лучше нас, слабых и смертных.

Александр находился и в более продолжительных путешествиях, не только многомесячных, но и многолетних, однако никогда разговора об акте престолонаследия не начиналось. Почему именно этот отъезд вызвал тревогу у князя? Он что-то знал или что-то предчувствовал?

Летом 1819 года в Красном Селе после смотра 2-й бригады (1-й гвардейской пехотной дивизии), командуемой великим князем Николаем Павловичем, Александр I обедал у своего брата.

Великая княгиня Александра Федоровна, супруга Николая Павловича, вспоминала: «...император Александр, пообедав у нас, сел между нами двумя и, беседуя интимно, внезапно изменил тон, стал очень серьезным и начал приблизительно в следующих выражениях высказывать нам, что он остался очень доволен, как его брат справился с порученным ему командованием; что он вдвойне рад тому, что Николай хорошо исполняет свои обязанности, так как на нем когда-нибудь будет лежать большая ответственность, что он видит в нем своего преемника и что это случится гораздо раньше, чем можно предполагать, т.к. то случится еще при его жизни. Мы сидели как два изваяния с раскрытыми глазами и замкнутыми устами. Император продолжал: вы удивлены, но знайте же, что мой брат Константин, который никогда не интересовался престолом, решился тверже, чем когда-либо, отказаться от него официально и передать свои права своему брату Николаю и его потомству...»

Александру в тот год исполнилось 42, Константину – 40 лет, Николаю – 23 года.

Формально отречение состоялось 14-го января 1822 года, когда Константин, будучи в Петербурге, прислал императору письмо: «Не чувствую в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтобы быть когда бы то ни было возведену на то достоинство, к которому по рождению моему могу иметь право, осмеливаюсь просить Вашего Императорского Величества передать сие право тому, кому оно принадлежит после меня, и тем самым утвердить навсегда непоколебимое положение нашего государства».

Государь приехал в Таганрог 13 сентября и сразу занялся устройством, убранством дома, расставлял мебель, вбивал гвозди для картин, приводил в порядок сад – в ожидании приезда императрицы заботился о возможных удобствах для нее.

Она приехала через десять дней – 23 сентября.

«Замечательно, что императрица, которой слабое здоровье и изнурение сил едва позволяли в Петербурге сделать самое ничтожное движение, по прибытии в Таганрог довольно бодро сама, без помощи, вышла из экипажа и вступила в церковь под руку с императором», – пишет историк.

Население дворца увеличилось прибытием в свите императрицы генерал-адъютанта князя Волконского, статс-секретаря Лонгинова, двух камер-фрейлин и двух камер-юнгфер, придворного аптекаря, лейб-медика Стоффрегена, докторов Добберта и Рейнгольда.

Первое время государь пешком гулял по городу, в обращении был доступен и казался покоен духом, но был подозрителен. Обнаружив в сухаре камешек, велел расследовать, что это такое и как это могло случиться. Император вообще страдал подозрительностью, усугубляющейся в нем по мере усиления глухоты.

Таганрогские тишина и покой владели Александром недолго, свойственная ему охота к перемене мест сначала на пять дней увела его в Землю Войска Донского, а затем в Крым по просьбе новороссийского генерал-губернатора графа Воронцова.

В восприятии каждодневных явлений жизни у императора было много мистического, суеверного, как вообще у большинства людей того времени. Великий князь Николай Михайлович, историк, автор книги «Легенда о кончине Императора Александра I», описывает случай, происшедший в таганрогском дворце накануне отъезда государя в Крым: «Это было пополудни в 4-м часу, в сие время нашла туча, и сделалось очень темно. Государь приказал камердинеру подать свечки; между тем, как небо прояснилось, сделалось по-прежнему светло и солнце, камердинер осмелился подойти и доложить: «Не прикажете ли, ваше величество, свечи принять?» – Государь

спросил: «Для чего? – «Для того, Государь, что по-русски со свечами писать не хорошо» – «Разве в этом что заключается? Скажи правду, верно, ты думаешь сказать, что, увидав с улицы свечи, подумают, что здесь покойник? – «Так, Государь, по замечанию русских» – «Ну, когда так, – сказал он, – то возьми свечи».

В сопровождении генерал-адъютанта барона Дибича, лейб-медика баронета Виллие, доктора Тарасова и полковника Соломко 20-го октября император выехал из Таганрога в Крым.

Они побывали в Мариуполе, в меннонитской колонии на реке Молочной, в Симферополе, Гурзуфе, Никитском саду и Орианде, приобретенной Государем у графа Кушелева-Безбородко. Сопровождающими его людьми на лице императора читалось желание уйти в частную жизнь, навсегда поселиться в этом прекрасном уголке России.

Побывав у Воронцова в Алушке, Александр верхом отправился в Байдары, где его ожидал экипаж. За время своего пребывания в Крыму он то верхом, то в коляске посетил и Балаклаву, и Георгиевский монастырь, и Севастополь, и Бахчисарай. И многие другие места. Инспектировал пехоту и кавалерию, артиллерию и флот, инженерные сооружения. При переменчивой крымской погоде он совершал свои вояжи то в шинели, то в одном мундире.

День 27 октября (8 ноября) был солнечным, теплым, но к вечеру подул холодный северо-восточный ветер, стало прохладно. По дороге из Балаклавы в Севастополь у поворота на Георгиевский монастырь государь отпустил свиту в Севастополь, сам пересел на коня и в расстегнутом мундире, в сопровождении одного татарина направился к святой обители.

Доктор Тарасов вспоминает: «Наступила темнота, и холодный ветер усиливался порывистым, а государь все не возвращался. Все ожидавшие его местные начальники и свита начали беспокоиться, не зная, чему приписать такое замедление в приезде императора. Адмирал Грейг приказал полицмейстеру поспешить с факелами

навстречу к императору, чтобы освещать ему дорогу. Наконец, ровно в 8 часов прибыл государь. Приняв адмирала Грейга и коменданта в зале, Александр отправился прямо в кабинет, приказав поскорее подать себе чаю, от обеда же отказался...»

Существует несколько опубликованных воспоминаний об этом севастопольском вечере, они разнятся в некоторых деталях, но едины в одном: он был началом смертельного недуга императора, в этом вояже его настигла крымская лихорадка.

Возвращаясь из Крыма, после обеда 3 ноября (15 ноября) на последней станции, не доезжая Орехова, государь встретил фельдъегеря Маскова с бумагами из Петербурга и Таганрога. Приняв бумаги, он приказал фельдъегерю следовать за ним в Таганрог. Поспевая за царским экипажем, ямщик так гнал лошадей, что не замечал перед собой никаких препятствий, не увидел, как выпал из экипажа Масков и неподвижно остался лежать на мосту. Государь приказал доктору Тарасову оказать помощь пострадавшему, а по приезде в Орехов доложить об его состоянии.

— При падении господин фельдъегерь получил смертельный удар в голову, с сильным сотрясением мозга и переломом основания черепа; я нашел его на месте уже без дыхания, мое врачебное пособие оказалось тщетным, — докладывал доктор в Орехове.

Его Величество в шинели сидел у камина и читал бумаги, зябко поводя плечами. Выслушав доктора, встал с глубокой печалью на лице, произнес:

— Какое несчастье. Очень жаль этого человека! — и на глазах его выступили слезы.

Фельдъегерь Масков статью и обликом напоминал самого Александра Павловича.

Александра Павловича не выпускала из своих жарких и потных рук крымская лихорадка. 9 ноября государь попросил сообщить о его болезни матери в Петербург и брату Константину в Варшаву.

Лейб-медик Виллие был личным врачом императора, лейб-медик Стоффреген – личным врачом императрицы Елизаветы Алексеевны. В этот день она писала в своем дневнике о состоянии здоровья супруга: «Стоффреген мне сказал, что болезнь можно считать пресеченной, что если лихорадка вернется, то она примет перемежающуюся форму и с ней скоро покончат, и что – поэтому – я могу писать в С.-Петербург, что болезнь уже прошла. Я видела его перед тем, чтоб выйти на прогулку, а позже он прислал за мною перед обедом. Ему подали овсяный суп, он сказал, что ему действительно хочется есть и что это случается с ним впервые после 3-го числа. Он нашел, однако, что суп слишком густо сварен, и разбавил его водой; он съел его с аппетитом, а потом съел и сливы – он даже хотел еще поесть, но сказал: «надо быть благоразумным». Немного спустя, он сказал мне, чтобы я шла обедать, «а я, как порядочный человек, пойду прилягу после обеда». Между 6 и 7 часами он прислал за мною, чтобы я принесла ему газеты. «Вы мне приносите игрушку, как ребенку», – сказал он.

Он прочел, что оставалось прочесть, но ему нездоровилось, у него был жар. Пока он читал, я читала “*Les Memories de Mme de Genlis*”, и он задал мне несколько вопросов по этому поводу... В течение вечера он меня внезапно спросил: «Почему вы не носите траура (по короле Баварском)?» Я ответила, что сняла траур к его приезду и что мне не хочется больше его надевать; но что если ему угодно, я завтра опять надену».

Соприкасавшиеся с государем во время его недомогания близкие люди и чиновники вели дневники, содержание некоторых стало известно потомкам, некоторые исчезли при разных обстоятельствах, авторы и владельцы некоторых вымарывали написанное ранее и вписывали свои домыслы по тому или иному событию. Дневники своих близких родственников очищал от правды император Николай Первый, он же, кстати, после смерти своего друга и министра Двора князя Волконского зашел в его кабинет и первое, что сделал – изъязл дневник, в котором много правды говорилось о таганрогском житии.

Дневники, почти каждый, противоречили друг другу. Мы все их сравнивать не будем. Приведем только два. 14 ноября в 9 часов вечера государь впервые потребовал к себе доктора Тарасова, он по этому поводу пишет: «Надобно заметить, что я во время болезни императора во дворце до того не бывал, а о положении его величества все подробности знал частью от баронета Виллие, не желавшего, как казалось, допустить меня в почивальню императора, а частью от лейб-медика Стоффрегена». С этого самого дня, 19 ноября, записки Тарасова вступают в противоречие с журналом князя Волконского.

Он, например, пишет, что обморок у государя случился в 8 часов вечера, Тарасов же сообщает, что это произошло в 7-м часу утра, когда его величество собирался бриться. Волконский пишет, что когда императрица предложила государю причаститься, он спросил:

– Разве я в опасности?

– Нет, – возразила Елизавета Алексеевна.

Тарасов вспоминает иначе: на предложение причаститься государь отозвался:

– Кто вам сказал, что я в таком положении, что уже необходимо для меня это лекарство?

– Ваш лейб-медик.

Виллие был позван тотчас.

– Вы думаете, что моя болезнь зашла так далеко? – спокойным голосом спросил государь.

Лейб-медик, до крайности смущенный вопросом, набрался смелости объявить Александру, что он не может скрывать того, что тот находится в опасном положении. Александр совершенно спокойно взглянул на Елизавету Алексеевну и сказал:

– Благодарю вас, друг мой, прикажите – я готов.

В дневнике Виллие появляются строки профессиональной сдержанности в безысходности: «Что за печальная моя миссия объявить ему о его близком уходе в иной мир в присутствии ее величества императрицы, которая пошла предложить ему верное средство: причастие».

Доктора прилагают много способов, чтобы спасти больного, назначают те или иные лекарства, но лекарств и способов лечения в те времена было немного: слабительное, рвотное, кровопускание да знахарские снадобья. Дневники докторов и свиты повествуют: князь Волконский, 16 ноября. «Ночь проводил худо и все почти в забытии; в 2 часа ночи попросил лимонного мороженого, которого откушал одну ложечку, потом во весь день ему было худо; к вечеру положили еще к ляжкам пиявки, но жар не уменьшился. Государь был все хуже, в забытии и ничего не говорил». У Тарасова о том же в тот же день: «Ночь государь провел несколько спокойнее. Жар был менее сильный; поставленная на затылок шпанская мушка хорошо действовала»..

Кто при дворе какому Богу служил, кто какие цели преследовал?!

17-го ноября Елизавета Алексеевна пишет вдовствующей императрице в Петербург: «Я не была в состоянии написать Вам со вчерашней почтой. Сегодня... наступило решительное улучшение в состоянии здоровья императора... Вы получаете бюллетени. Следовательно, вы могли видеть, что с нами вчера – и даже еще этой ночью. Но сегодня сам Виллие говорит, что состояние нашего дорогого больного удовлетворительно».

Под этим же числом стоят такие строки Виллие: «Чем дальше, тем хуже. Смотрите историю болезни. Князь (Волконский) в первый раз завладел моей постелью, чтобы быть ближе к императору. Барон Дибич находится внизу».

Такая странность: Волконский завладевает постелью Виллие тогда, когда близость доктора была во много раз нужнее, чем близость генерал-адъютанта.

19-го ноября император находился в забытии во все время до конца, в 10 часов 50 минут испустил последний дух. Императрица закрыла ему глаза и, подержав челюсть, подвязала платком, потом изволила пойти к себе. Утром ее уговорили перейти на частную квартиру гг. Шихматовых, где императрица прожила неделю и имела встречи со штаб-лекарем Таганрогского гарнизона Александровичем.

Не они ли *bei zu sammen* причастны?!

Даже экстренная почта из Таганрога до Петербурга доходит за девять-десять дней: известие о событии 19 ноября в Зимнем дворце на имя статс-секретаря Вилламова получено 27-го числа. Через несколько часов по получении скорбной вести матушка-императрица через него посылает официальный запрос князю Волконскому, личному другу покойного, который столь же спешно статс-секретарю ответил: «Милостивый государь Григорий Иванович. Получив отношение вашего превосходительства из С.-Петербурга и во исполнение высочайшей воли государыни императрицы Марии Федоровны, мне объявляемой, спешу при сем доставить собранный собственно для себя журнал о болезни в бозе почившего государя императора Александра Павловича, который полагал хранить драгоценным памятником нахождения моего при последнем конце жизни обожаемого мною монарха, при лице которого имел счастье быть ровно 29 лет...»

Настораживающий исследователей момент: императрица запрашивает свидетельства о событии 19-го ноября не у генерала Дибича, не у лейб-медика Виллие, а у князя Волконского. Запрос, похоже, застает его врасплох, ибо дневник имеет много признаков сиюминутной сотворенности: в нем противоречат одна другой даты, состояние здоровья императора по дням и другие несоответствия. И никаких сведений о том, что происходило после 10 часов 50 минут утра 19 ноября. Зато он подробен в изложении иных обстоятельств.

«...вчера свинцовый гроб с телом поставлен в деревянный, обитый золотым глазетом с золотым газом и усыпанный шитыми императорскими гербами на том же катафалке под тронном, в траурном зале. Сегодня надета порфира и золотая императорская корона. Когда окончен будет катафалк в церкви греческого монастыря, тогда тело перевезется туда, где останется впредь до высочайшего разрешения, ожидаемого из С.-Петербурга, на основании объявленного мне о том из Варшавы от 27-го ноября повеления от его императорского величества государя императора Константина Павловича.

Мне необходимо нужно знать, совсем ли отпевать тело при отправлении отсюда, или отпевание будет в С.-Петербурге, которое, ежели осмеливаюсь сказать свое мнение, приличнее полагаю сделать бы здесь, ибо хотя тело и балзамировано, но от здешнего сырого воздуха лицо все почернело, и даже черты лица покойного совсем изменились, через несколько же времени и еще потерпят; почему и думаю, что в С.-Петербурге вскрывать гроб не нужно, и в таком случае должно будет совсем отпеть, о чем прошу Вас испросить высочайшее повеление и меня уведомить чрез нарочного...»

Письмо настораживающее: генерал-адъютант ни разу не назвал покойного государя ни государем, ни его величеством, ни императором — только «тело», только «покойный» и что вскрывать гроб не надо.

И еще. Почему Николай Павлович присягал Константину Павловичу, почему последний принимал обращения к себе как Императору, когда он еще в 1819 году отрекся от престола и Николай знал, что на трон вступит он? Такая таинственность привела к общей растерянности властей и граждан России.

Гроб с телом покойного императора 11 декабря из дворца перевезли в собор Александровского монастыря, где он оставался до 29-го числа, когда похоронная процессия отправилась в Петербург. Новый император России, его величество Николай Первый писал Волконскому, что сопровождать августейшего покойника придут все флигель-адъютанты, не находящиеся в войсках, и генерал-адъютант князь Трубецкой. Письмом 14 декабря Волконский ответил царю, что поручит перевоз тела князю Трубецкому.

Никто из названных лиц в Таганрог не прибыл, что весьма странно и удивительно: этому ничто не могло помешать, даже события 14 декабря, ибо оно имело место девять дней спустя, когда, казалось бы, все эти свитские офицеры должны уже быть в пути.

Елизавета Алексеевна поручила генерал-адъютанту графу Орлову-Денисову сопровождать тело в дальний путь, а сама оставалась в Таганроге до 21 апреля.

Перед выступлением из города печальной процессии она призвала к себе доктора Тарасова:

– Дмитрий Климентьевич, я знаю всю вашу преданность и усердную службу покойному императору и потому никому не могу лучше поручить, как вам, наблюдать во все путешествие за сохранением тела его и проводить гроб его до самой могилы.

Траурная процессия по маршруту: Харьков, Курск, Орел, Тула, Москва шла ровно два месяца – она прибыла в Царское Село 28-го февраля 1826 года.

Неведомыми путями по всей России от неведомого источника распространился слух, что государь-батюшка не умер, ушел в скитальчество, что в гробу везут чужой труп. Слух принимал угрожающие размеры, появилось опасение, что на пути следования процессии народ потребует вскрытия гроба, потому граф Орлов-Денисов «наблюдал везде строгий порядок и военную дисциплину».

Скорбная процессия прибыла в Москву 3 февраля. За версту от подольской заставы по обеим сторонам дороги были выстроены войска с заряженными ружьями. При внесении гроба в Архангельский собор стечение народа колыhalось неоглядным, рыдающим и глухо рокочущим грозovým морем. Граф принимает чрезвычайные меры предосторожности: в 9 часов запираются ворота Кремля, на его площадях размещается пехота, у каждых ворот стоят заряженные пушки. За кремлевскими стенами в экзерциргаузе стоит кавалерийская бригада с оседланными лошадьми. Фабриканты обязуются подпиской не выпускать в город фабричных, кабаки закрываются.

Всю ночь по городу ходят военные патрули.

Государев гроб за все время нахождения его в Москве не открывался.

Прожитые годы в головах людей смещают события и даты. Многие смещают. Доктор Тарасов в отставных досугах вспоминает: «Я имел особенное предписание от графа Орлова-Дени-

сова о возможном попечении за целостью тела императора во время всего шествия. С этой целью я представил графу, что для удовлетворения о положении тела императора необходимо по временам вскрывать гроб и осматривать тело. Таковые осмотры при особом комитете в присутствии графа производились в полночь пять раз, и каждый раз я представлял по осмотре донесение графу о положении тела».

Мистика или подлоги? Но свидетели ухода Александра Павловича от мира в своих воспоминаниях редко не расходятся друг с другом. Орлов-Денисов сообщает, что во время всего пути до Москвы гроб не вскрывался, что впервые он был вскрыт Тарасовым на пути из Москвы в Петербург, на втором ночлеге в селе Чашкове 7-го февраля в 7 часов вечера в присутствии его самого и генерал-адъютантов графа Остермана-Толстого, Бороздина и Сипягина, пяти флигель-адъютантов, а также полковника Кавалергардского полка Арапова и вагенмейстера полковника Соломко.

При втором осмотре, бывшем в Новгороде, присутствовал еще и граф Аракчеев.

Третий и последний осмотр имел место в деревне Бабиной и произведен он был уже не Тарасовым – самим Виллие по приказанию императора Николая I. «Сего 26-го февраля в 7 часов пополудни, в Бабине, я производил осмотр блаженной памяти императора Александра; раскрыв его до мундира, я не нашел ни малейшего признака химического разложения, обнаруживающегося обыкновенно выделениями сернисто-водородного газа, обладающего весьма резким запахом, мускулы крепки и тверды и сохраняют свою первоначальную форму и объем. Поэтому я смело утверждаю, что тело находится в совершенной сохранности...».

И как только этого не видели, не понимали и что предрекали два месяца назад господа в Таганроге?!

Разыгрывалась хорошо отрепетированная драма.

28 февраля при приближении к Царскому Селу траурный кортеж был встречен Николаем I, великим князем Михаилом Павловичем, принцем Вильгельмом Прусским, принцем Оран-

ским, первыми чинами двора, духовенством и жителями Села.

Гроб был поставлен во дворцовой церкви на катафалк под балдахином.

1 марта князь Голицын, министр духовных дел и народного просвещения, вызвал к себе доктора Тарасова и спросил:

– Можно ли открыть гроб и может ли императорская фамилия проститься с покойным императором?

– Может, – ответил Тарасов. – Тело в совершенном порядке. Гроб может быть открыт даже для всех.

Потом он пишет в своих воспоминаниях, что ему было приказано в двенадцать часов ночи в присутствии чинов двора со всей аккуратностью открыть гроб и приготовить все, чтобы императорская фамилия родственно могла проститься с покойным.

В 11 часов вечера священник и все дежурные были удалены из церкви, а при дверях с той стороны поставлены часовые. В ней остались князь Голицын, граф Орлов-Денисов, сам Тарасов и камердинер покойного государя. «При открытии гроба я снял атласный матрац из ароматных трав, покрывавший все тело, вычистил мундир, на который набилось несколько ароматических специй, переменял на руках императора белые перчатки (прежние несколько изменили свой цвет), возложил на голову корону и обтер лицо, так что тело представлялось совершенно целым, и не было ни малейшего признака порчи. Потом князь Голицын, сказав, чтобы мы оставались в церкви за ширмами, поспешил доложить императору, и через несколько минут вся императорская фамилия с детьми, кроме царствующей императрицы, которая была беременна, вошли в церковь при благоговейной тишине, и все целовали лицо и руку покойного...

По завершении церемонии императорская фамилия вышла из церкви, доктор накрыл покойного ароматным матрацом, снял корону и закрыл гроб. Дежурные и караул были введены в церковь, и началось чтение Евангелия».

Родственник царской фамилии принц Вильгельм Прусский, участник траурных церемоний, рассказал состоящему при его особе генералу фон Герлаху, а тот записал его рассказ:

«Императрица Мария Федоровна несколько раз поцеловала руку усопшего и говорила: «Oui, c'est mon cher fils, mon cher Alexandre! Ah! Comme il a maigri!» После трижды возвращалась к катафалку с этими же словами, которые были так неуместны и так подозрительны: «Да право же это он, мой дорогой Александр».

Еще в Таганроге, еще у открытого гроба в неказистом дворце из тринадцати окон на улицу вылетел этот слух и прошел по всей доступной ему России, слух, делавший тайну не тайной, а ее с юга на север якобы таковой везли войска с артиллерией во главе.

В одиннадцать часов утра 13 марта 1826 года из Казанского собора через сшибающую с ног метельную замать похоронное шествие направилось в Петропавловскую крепость, где в тот же день совершилось отпевание и погребение.

«Во втором часу пополудни пушечные залпы возвестили миру, что великий монарх снисшел в землю на вечное успокоение».

VI

Возле кузницы на окраине городка Красноуфимска, который до 1781 года был просто грозной крепостцой на реке Уфа в Пермской губернии, осенью 1836-го на коне хороших кровей остановился необычный всадник лет шестидесяти в крестьянской одежке да не с крестьянским выговором и попросил подковать коня.

Компанейский мужик кузнец вроде бы как пошутил:

– С чужого коня и середь грязи долой!

Всадник, будто глуховатый, повернул к нему голову другим ухом.

Кузнец сообразил, что к чему, проговорил попроще:

– Конь у тебя больно хорош.

Верховой не то не понял, не то не расслышал, ловко, не опираясь ни на луку седла, ни на вьюки, соскочил и бросил поводья кузнецу:

– Не спеши языком, да не ленись делом.

Кузнец пригляделся и увидел, что всадник хоть и в крестьянском кафтане, да далеко не прост, проговорил примирительно:

– Извини дурака, вижу, что господин набольший.

– Набольший господин венник в бане, – было ему ответом.
– Он и царя хлещет.

Кузнец перекрестился, строго нахмурился:

– Никто против Бога да против Царя!

Незнакомец осенил себя крестом, лицо его острожало, но он не сказал ни слова.

Мало-помалу возле кузницы начала собираться толпа, глазела на необыкновенного коня и на необыкновенного его хозяина, подзадоривала, на разговор вызывала, но он отговаривался непонятными словами:

– Ангел помогает, бес подстрекает.

Но толпе хотелось знать во что бы то ни стало, кто он, откуда такой ухоженный да ученый?

Коня под уздцы, его самого под белы ручки – и к начальству.

– Кто таков? – спросило начальство.

– Не помнящий родства бродяга по имени Федор Кузьмич.

Какой бродяга, не помнящий родства, когда осанка и говор барские, когда конь, каких Красноуфимск не видывал сроду?!

Однако все попытки добиться правды у странного человека оказывались тщетными перед его запирательством, пришлось начальству поступить по закону: оно наградило строптивца двадцатью плетями и отправило за бродяжничество на поселение в Томскую губернию. 26 марта 1837 года с 43-й партией ссыльных он прибыл в Боготольскую волость названной губернии и был направлен житьельствовать на Краснореченский винокурный завод, хотя был приписан к деревне Зерцалы. Здесь Федор Кузьмич прожил пять лет, а потом перешел в станицу Белоярскую в избу, нарочно для него выстроенную казаком Семеном Сидоровым.

От какой-то высокопоставленной особы или от ее имени из Петербурга старцу присылались одежда и деньги.

У Сидоровых он прожил несколько месяцев и переселился на место своей прописки, однако, видать, по бродяжьей привычке часто исчезал, ходил по другим деревням, крестьяне видели в нем наставника и советника, встречали хлебом-солью, он обучал крестьян и детей их грамоте, Священному Писанию, истории, географии, давал ценные советы по сельскому хозяйству, по земледелию в особенности.

Взрослых он увлекал религиозными беседами, занимательными рассказами из событий отечественной истории, в особенности, о военных походах и сражениях, когда незаметно для себя вдавался в такие мелкие подробности эпизодов войны 1812 года, что вызывал общее недоумение даже у людей бывалых.

В первое сибирское лето он какое-то время работал в енисейской тайге на золотых приисках; в своей волости помогал крестьянам косить сено, обладая большой физической силой, любил метать стога, поднимая на вилах сразу по копне. Так он и жил, переходя из деревни в деревню, из деревни в станицу, из станицы на заимку, с заимки – в уединенную келью, специально для него выстраиваемую в тайге. Он искал уединения. Но его всюду находили, поклонялись ему, просили совета и благословения, называли Федором Кузьмичом, но для всех он был не кто иной, как император Александр Первый.

Высокие государственные мужи, держащие путь через Боготольскую волость, считали за честь и обязательным для себя заглянуть к старцу. Князья и графы, родовитейшие люди России побывали в его доме и в его келье, проводили в беседах не часы – дни. Их высокопреосвященства архиереи Западной и Восточной Сибири приезжали к нему будто на поклонение: Федор Кузьмич кланялся им в ноги, а они – в ноги ему. Потом долго беседовали на чужом языке.

Всей Сибири – от Урала до Байкала – было известно настоящее имя Федора Кузьмича. Сибирь знала, что еще в Пермской губернии к нему приезжал великий князь Михаил Павлович с

уговорами вернуться в столицу, она много чего знала – вероятного, маловероятного и невероятного.

Федор Кузьмич заменил родителей двенадцатилетней крестьянской сироте, почтительно называемой им Александрой Никифоровной. Без царя земля не правится, без Бога свет не стоит. Старец внушил ей эту мысль, вразумил: всяк язык Бога хвалит – и захотелось девушке отправиться в богомольное путешествие по русским монастырям.

В 1849 году, снабженная Федором Кузьмичом разными адресами в России, оставила она Сибирь, пешком дошла до Почаево-Успенской лавры – почти до самого Царства Польского, встретила там с графиней Остен-Сакен, которая приютила ее у себя на несколько месяцев.

– Как бы мне увидеть царя! – мечтала перед старцем Федором Кузьмичом Александра Никифоровна в Сибири.

– Погоди, – отвечал старец, – может быть, и не одного царя на своем веку увидеть придется, Бог даст, и разговаривать с ним будешь.

И она увидела и разговаривала: проездом к Остен-Сакенам заглянул император Николай Павлович, узнав, откуда и от кого у них гостя, загрустил, а уезжая, оставил ей записку-пропуск во дворец, если надумает быть в Петербурге. Но юная богомолка запиской не воспользовалась – вернулась в Сибирь.

Через восемь лет она повторит свой поход в Почаев, выйдет там замуж за отставного офицера. Вернется в Сибирь, когда старца уже не станет...

Чем дальше уходило время от официальной даты кончины императора Александра Первого, тем чаще узнавали его в старце Федоре Кузьмиче.

Солдат-сапожник, живший у церковного старосты в селе Краснореченском, увидев из окна идущего к ним старца, с криком: «Это царь наш, батюшка Александр Павлович!» выбежал из дому и отдал ему честь по-военному.

Старец урезонил его:

– Мне не следует воздавать воинские почести, я бродяга; тебя за это возьмут в острог, а меня здесь не будет; ты никому не говори, что я царь...

Стоило стороннему человеку прислушаться к тому, о чем он разговаривал с приезжающими к нему из России высокими чиновниками, и оказывалось, что старец абсолютно осведомлен о событиях государственной важности конца восемнадцатого и начала девятнадцатого веков, давал полные характеристики всем известным государственным деятелям, рассказывал с одобрением об аракчеевских поселениях и о нем самом, о Суворове и Кутузове.

Лишь никогда не рассказывал об императорах Павле Первом и Александре Первом.

И что удивительно: Александр скончался 19-го ноября 1825 года, а воскрешенный легендами он в памяти русской истории появляется только через одиннадцать лет на окраине города Красноуфимска. Где он был все это время?! Может быть, к решению этой задачи имеет тот факт, что из порта Таганрога к 25 ноября 1825 года ушли все иностранные корабли, кроме одной яхты под английским флагом?!

В 1857 году старец познакомился с богатым томским купцом Семеном Феофановичем Хромовым, много наслышанном о нем и уже построившим для него на своей заимке в 4 верстах от Томска отдельную келью. При очередной встрече он убедил Федора Кузьмича переехать туда. Старец согласился и, распрощавшись с Зерцалами, с окрестными деревнями, среди которых он провел около двадцати лет жизни, переселился к Хромову.

Перед отъездом он перенес из своей кельи в часовню образ Печерской Божьей Матери и Евангелие, а в день отъезда заказал молебен, на котором присутствовали местные крестьяне. При оправе иконы он в рамку вложил букву А, сказав:

– Под этой литерой хранится тайна – вся моя жизнь. Узнаете, кто был.

Старец был высок, белолиц, разговаривая, ходил взад-вперед по комнате, закладывая правую руку за пояс, как это обычно делают военные.

Сибирский народ от Урала до Байкала считал Федора Кузьмича святым человеком, хотя он особых чудес не выказывал; но один припоминал одно, другой – другое, и получалось, что он – святой.

В келье его «необыкновенно благоухало», свидетельствуют восторженные современники, но никто не видел, чтобы старец когда-либо умывался, видели лишь, что два раза в год он омывал ноги в речных водах.

Из чудес, приписываемых ему, особенно впечатлительна эта: однажды он подошел к жене своего благодетеля купца Хромова и попросил:

– Полей-ка, матушка, мне из ведра на голову.

Удивленная матушка просьбу исполнила, а через некоторое время до их заимки докатилась весть, что в Петербурге в тот день и в тот час, когда Федор Кузьмич просил залить внутренний жар, в Петербурге горел Апраксин рынок.

Он скончался 20 января 1862 года и был похоронен на кладбище Томского Алексеевского мужского монастыря, на котором хоронили лучших граждан города.

VII

В начале двадцатого века историк князь В.Барятинский разослал светилам медицинского мира копию вскрытия тела императора Александра Павловича с просьбой по возможности установить причину смерти, естественно, не указав, чьего это вскрытия акт. Официальной причиной смерти считалось заболевание брюшным тифом или малярией – крымской лихорадкой.

Светила медицинского мира начала двадцатого столетия констатировали:

1...Вскрытие не дает картины болезни. Из всего отмеченного в протоколе можно предположить, что смерть последовала

от удара, т.е. от кровоизлияния в мозг, но была ли тому причина болезнь или несчастный случай – из протокола не видно... Можно также думать, что умерший страдал сифилисом. На что указывают сращения мозговых оболочек, рубцы на голених и изменения в печени...

2...Протокол составлен не соответственно научным требованиям, так что причину смерти установить нельзя. Менее всего, однако, она могла зависеть от перенесенных брюшного тифа или малярии. Принимая во внимание сомнительные признаки сифилиса, можно думать, не от них ли умер этот человек.

3...На основании описания органов можно только с уверенностью сказать, что смерть произошла не от брюшного тифа и не от малярии.

4... Причина смерти – кровоизлияние в мозг вследствие склероза мозга на почве сифилиса – сращение мозговых оболочек с черепом, утолщение черепных костей...

Однако сифилис – это то, что ни в коей мере не совпадает с тем, что известно об Александре Первом и его болезни.

Загадка девятнадцатого века осталась неразгаданной и в двадцатом.

При чистом небе в ясную погоду над Томском цвела радуга, тысячи горожан задирали голову, во все глаза глазели и удивлялись: верующие укреплялись в вере, атеисты давали коммунистическое толкование. А это просто из-под часовни, превращенный в советский сортир, извлекались мощи старца. Очищенные от клозетного дерьма, отмытые, они были помещены в специальный сосуд и отнесены в церковь разгромленного монастыря. Однако мощи не имели существенной части скелета – черепа. Но тут выяснилось через московские газеты, что в шестидесятых годах в этом туалете рылись московские чекисты. И все стало ясно. Но где он теперь, череп Федора Кузьмича?

Решили заглянуть в гробницу Императора в Петропавловском соборе – она оказалась пуста. Было установлено, что в поисках средств для того, чтобы остаться у власти, большевики вскрывали и рылись во всем, где чем-либо можно было поживиться и продать: у них был испытанный метод – грабеж.

Они им пользовались что надо!

Но кто он, Федор Кузьмич?!

Феодор – святое имя династии Романовых.

В даурском Акатуе на кладбищенской горе покоится прах беспокойнейшего из декабристов Михаила Сергеевича Лунина. Над могилой крест, поставленный волею его сестры графини Уваровой.

Действительный тайный советник, камергер, ее супруг, польстившись на имение сосланного в Сибирь шурина, затеял грязное дело по приобретению одного в собственность, за что был осужден мнением света и самого императора Николая Павловича. Спасая честь семьи и свою честь, граф Уваров, по прозвищу Чёрный, 7 января 1827 года исчез. Родственники полагали, что последним его пристанищем стала Нева. Беда родит не только беду, но и надежду. О Неве родственники думали поначалу, потом – о Сибири, не она ли стала последним пристанищем Федора Александровича Уварова?

Не он ли Федор Кузьмич?

Того не знает никто.

Примечательно: в этих местах как раз пребывали тогда государственные преступники – друзья и родственники неопознанных поименованных выше лиц.

*Над памятью дальней и давней
Погасили окна горят.*

Командарм Чернавин

*«В. В. Чернавин родился 29 января 1859 года в Тюмени... В 1917 году 2-й гвардейский корпус под командованием генерал-лейтенанта Чернавина безоговорочно встал на сторону Советской власти»
(«Военно-исторический журнал», № 6, 1974 г.)*

I

И пять лет, и десять, и более.

Я иду по его следам: он человек основательный, высокого положения в жизни, а следы исчезают – теряются то в прошлом, то в настоящем веке. В прошлом им прожит сорок один год, в настоящем – тридцать восемь, почти поровну в том и этом.

Но они не ровны, эти две половины, хоть и заполнены обе событиями, направляющими как его, Всеволода Владимировича, судьбу, так и судьбу народа, а то и народов.

Он родился 29 января 1859 года в Тюмени. Так значится в его формулярном списке – личном деле, но я прихожу в тюменский архив, листаю церковные книги – и не нахожу его.

В церковных книгах – запись рождений, браков, смертей.

Они пухлы, закапаны воском, мешковина их переплетов груба.

«...Имя новорожденного – Алексей. Родители – «Черно-Реченского Винокуренного завода надворной советницы Пономаревой крепостный крестьянин Егор Иванов Ефремов и законная жена его, Акилина Макарова, оба православного вероисповедания. Восприемники – того же Завода, той же надворной со-

ветницы крепостный крестьянин Абрам Филиппов Поляков и города Тюмени мещанская дочь Татиана Антипьева Девяткова.

...сочетается браком тюменский заплочный мастер Дмитрий Иванов Рожаев.

...преставляется кулаковский крестьянин Иван Данилов Кулаков, 90 лет... тюменская мещанка Аграфена Панфилова Кондакова, 93-х лет...» и таких долгожителей – через одного-двух.

Я листаю страницы – сотни имен и фамилий: есть Всеволоды, Владимиры, есть Чернины, Чернавиных – нет. Мне уже хотя бы Чернавин, не Всеволод Владимирович; мне бы еще одно подтверждение, кроме формулярного списка, что Чернавины и Тюмень – не ошибочное соединение.

...Наши дни, телефонный справочник... Увы.

Расспрашиваю старожилов. О таких не слыхали.

Делюсь заботой со своими студентами. И пять лет, и десять, и более.

Тоненькая и светлая, с мягким шажком балерины, подходит ко мне после лекции девушка:

– Я знаю Чернавиных.

Кто ищет – находит. Но чтобы старой истине подтвердить так просто?!

Так просто быть Чернавиными, знакомыми ее родителей?!

Собираемся – едем. И удача к удаче – в сборе вся семья: мать, дочь, сын-офицер, и все – Чернавины; напрягать память, восстанавливая родословную, не надо – они только что о ней говорили.

– Да мы, молодой человек, и в Тюмени, и вокруг нее по уездам жили, – матери за семьдесят, древо рода широкой кроной стоит перед ее глазами, – и много дальше: Ишим, Голышманово...

Широкая крона, но ни одна ветвь не выводит меня на Всеволода Владимировича, каждая ветвь – крестьянская. А его имя не от сохи. Да и путь: Омский кадетский корпус, Павловское военное училище, академия генерального штаба... Конечно, исключения были, но все же...

Пока признается одно: соединение формуляром города и фамилии может не вызывать сомнений.

В формуляре – не строки и графы, но вехи на перевалах и перепутьях жизни: 1877 год – произведен в прапорщики, участник русско-турецкой войны, доброволец; 1899-й – произведен в полковники; 1907-й – произведен в генерал-майоры.

В сентябре 1914 года генерал-лейтенант Чернавин назначается начальником 3-й гвардейской дивизии; под ее знаменами – полки петровского формирования. Некто Вильгельм Второй называл дивизию жемчужиной русской армии.

С этого момента впервые собственными глазами читаю в архивных залежах – Чернавин, Чернавин, Чернавин... В приказе № 249 по войскам 11 армии от 15 июня 1915 года говорится, что начальник 3-й гвардейской пехотной дивизии генерал-лейтенант Всеволод Чернавин награждается орденом св. Георгия 4-й степени «за то, что 27 и 28 мая 1915 года овладел с боя введенными ему частями дивизии селениями Голешов и Лапшин и вышел на реку Днестр к переправе у с. Журавно. Отлично руководя войсками и находясь все время в боевой линии... завершил бой полным поражением противника, принудил австро-германцев к беспорядочному отступлению на правый берег р. Днестра с потерей орудий и массы пленных».

В годы войны имя Всеволода Владимировича звучало на страницах боевых приказов и донесений, после войны – на страницах воспоминаний. «За участие в боях на реке Стоход во время Брусиловского прорыва (середина 1916 года) генерал Чернавин наградил меня серебряной дощечкой на шашку, где были выгравированы слова: «Поручику Б. К. Колчигину лейб-гвардии Литовского полка за непоколебимое мужество, неустрашимую храбрость и неудержимый порыв от начальника 3-й гвардейской дивизии генерал-лейтенанта В. Чернавина».

Борис Константинович Колчигин служил под началом Чернавина с 1914 по 1918 год, встречался с ним вплоть до 1931 года. В его воспоминаниях Всеволод Владимирович живет как крупный военачальник, честный, оригинальный человек сурового нрава... В 1917 году он стал командиром 2-го гвардейского корпуса.

В октябре 2-й гвардейский корпус в полном составе высказался за безоговорочное признание Советской власти.

II

В конце апреля 1918-го из Москвы в Воронеж выехал человек солидного возраста – ему шел шестидесятый год. В кармане его френча лежал мандат, подписанный М. Д. Бонч-Бруевичем и Н. И. Подвойским: «Высшим Военным Советом назначается руководителем Военного совета Воронежского района Всеволод Владимирович Чернавин. Высший Военный Совет просит все советские и правительственные организации и учреждения оказывать названному лицу всяческое содействие».

События на Украине сделали той весною Воронеж приграничным городом: объявив о выходе из Российской Федерации и о «государственной независимости», Центральная Рада подписала соглашение с державами Четвертного союза. Его войска к концу марта заняли территорию Украины; между ней и Россией пролегла демаркационная линия.

Телеграф московско-воронежского направления работает напряженно, на телеграммах не только дата – день, месяц, год, но и часы, минуты. Военный руководитель Воронежского района 4 мая 1918 года в 23 часа 20 минут извещается: «Главковерх на Украине Антонов-Овсиенко сложил с себя полномочия. Все части, действующие на Украине и перешедшие границу Воронежской губернии, должны быть расформированы. Из расформированных таким образом частей воронежские могут быть взяты на усиление Воронежского отряда, развертываемого в дивизию, если они пригодны по своему состоянию. Если среди не воронежских частей окажутся надежные части, то они могут быть отправлены в Курский и Брянский отряды по согласованию с военными руководителями этих отрядов ...Бывший главковерх на Украине срочно выезжает в Воронеж и может оказать помощь при определении качеств частей».

Южный фронт становился для республики главным: красновская конница вытаптывала донские степи, кубанские – добровольческая армия Деникина.

Регулярных войск фронт практически не имел. Приходящие с Украины части тащили обозы, вели за собой анархию, партизанщину, разбойные банды, вроде банд Петрашенко, банды Маруси... Все это нужно было рассортировать, определить, привести к подчинению единой воле... А Высший Военный Совет шлет военруку Чернавину телеграммы, помеченные числом, месяцем, годом, но и часами, минутами: «Поворинский узел является связующим звеном направлений Поворино – Царицын и Поворино – Саратов – Пенза. Ввиду этого в удержании поворинского узла заинтересован Воронежский отряд и Северо-Кавказский округ, причем Воронежский отряд должен обеспечивать пути на Балашов, точно так же, как Северо-Кавказский – путь на Царицын». В Воронеже принимают к сведению, учитывают, делают дело – создают полки, даже дивизии. В память о 2-м гвардейском корпусе образуют Советский Литовский полк, его основа – личный состав полка старой армии. 8 августа Н. И. Подвойским подписан приказ о его боевых действиях: «Прибывший на Поворинский фронт Советский Литовский полк во главе с командиром его, бывшим капитаном, т. Колчигиным, своей дисциплинированностью и внутренней спайкой резко выделяется среди красноармейских частей. Высокие качества полка ярко сказались в боях 4, 5, 6 августа в районе Поворино, когда полк под умелым командованием тов. Колчигина отбил неоднократные атаки противника на ст. Поляна, захватив одно орудие, перейдя в наступление, с боя занял ст. Касарку, отбив контратаку противника на эту станцию. Наконец, командир полка тов. Колчигин, взяв под свое командование все находящиеся в Поворино части, разумно организовал оборону этого важного пункта. Действия Советского Литовского полка, распорядительность и мужество его командира тов. Колчигина дали возможность сохранить важный для нас железнодорож-

ный узел. Объявить Советскому Литовскому полку за его боевые действия от имени Российской Советской Федеративной Социалистической Республики благодарность. Ходатайствую в Совете Народных Комиссаров о даровании полку за оказание отличия боевого Революционного Знамени».

Я сопоставляю приказы, фамилии; генерал-лейтенант Чернавин для меня – олицетворение власти во 2-м гвардейском корпусе, капитан Колчигин – его личного состава. Кто на кого влиял в октябре 1917 года: командир на корпус или корпус на командира? Об убеждениях Всеволода Владимировича в документах – ни строчки; потому, может быть, мне так хочется выяснить – из какой он семьи, какого роду-племени? Только вдруг это и не самое главное. Потомственный дворянин Б. К. Колчигин в 1944 году стал тоже генерал-лейтенантом, командовал различными дивизиями и корпусами...

В мои размышления входит приказ № 210 от 17 августа 1918 года, подписанный Н. И. Подвойским: «Начальником Поворинского боевого участка командиром Литовского полка Колчигиным за отказ выступать на позицию расформирован сводный Борисоглебский полк, люди разбиты по другим полкам. За категорический отказ выступать на позицию им же разоружен 1-й батальон 6-го Курского полка и 60 человек отправлены в Борисоглебск для предания суду. Вполне одобряя принятые тов. Колчигиным меры, горячо благодарю его за неизменно энергичные действия по защите вверенного ему боевого участка».

Суровое время требовало решительности, крутых мер. К осени Южный фронт с очевидностью определился – здесь решалась судьба революции. Через Воронеж открылась дорога на Москву.

Из частей Воронежского, Курского, Брянского и других участков и направлений создается решением РВС от 26 сентября 1918 года 8-я армия. Передо мной приказ № 1 по этой армии: «На основании предписания Революционного Военного Совета Российской Республики от 26 сентября 1918 года за № 185 и согласно лично данных мне Главкомандующим всеми Воору-

женными Силами Российской Республики Вацетисом указаний, я сего числа вступил в командование армией. Штаб армии – город Воронеж. В. Чернавин. 30 сентября».

В октябре – ноябре, имея большое преимущество в силах, белогвардейцы настойчиво стремились захватить Воронеж и открыть себе путь к Белокаменной. Под Бутурлиновкой и Бобровом, у Павловска и Лисок развернулись упорные многодневные бои. Первым успехом советских войск на этом фронте был переход 8-й армии в контрнаступление под Лисками. Бело-казацки части не выдержали натиска и отступили.

III

Большая жизнь не вмещается в короткие строки. Но, я думаю, если сообщу, что членом Реввоенсовета 8-й армии был Иона Эммануилович Якир, а восприемниками Всеволода Владимировича на посту командарма – 8 были Владимир Михайлович Гиттис и Михаил Николаевич Тухачевский, то этим будет сказано многое.

18 декабря 1918 года В. В. Чернавин получает новое назначение, о чем свидетельствует мандат: «Предъявитель сего тов. Чернавин Всеволод Владимирович состоит инспектором пехоты при Полевом Штабе Революционного Военного Совета Республики и имеет право свободного передвижения по всем железным дорогам в предоставленном в его распоряжение вагоне и переговоров по прямым проводам и бесплатной подаче телеграмм со всех станций военного, правительственного и железнодорожного телеграфа, что подписью и приложением печати удостоверяется. Всем советским, железнодорожным и другим организациям и учреждениям надлежит оказывать тов. Чернавину полное законное содействие при выполнении им служебных обязанностей».

В феврале 1919 года образуется Западный фронт. Среди поочередно сменяющихся командующих им – Владимир Михайлович Гиттис, Михаил Николаевич Тухачевский... Инспектором пехоты этого фронта, а затем и помощником командую-

щего становится Всеволод Владимирович – человек солидного возраста, далеко не богатырского здоровья.

Перемещения по службе продолжались: в 1924-1926 гг. В. В. Чернавин в распоряжении Реввоенсовета СССР для выполнения особых поручений, с июля 1926 по 31 марта 1931 года – сотрудник Научно-уставного отдела Штаба РККА и одновременно преподаватель военной академии им. М. В. Фрунзе и Курсов усовершенствования высшего начсостава Красной Армии. Его слушателями были многие из наших прославленных полководцев, но документов этого времени о В. В. Чернавине пока не обнаружено.

Им изданы в Смоленске в 1921-1924 гг. руководства и наставления «Ротные тактические учения», «Огонь и движение», «Полевое обучение пехоты», «Взвод в наступательном бою».

Он ушел из жизни в тридцать восьмом году.

А что еще было?

Сын Владимир, родившийся 24 октября 1891 года в Царском Селе, окончивший Второй кадетский корпус, Павловское училище и ставший в первую мировую войну кавалером всех офицерских орденов от св. Анны 4-й степени до св. Владимира с мечами и бантом. Бывший капитан лейб-гвардии в мае 1918 года становится помощником начальника штаба военного руководителя Воронежского района и служит в Красной Армии на различных командных должностях до 1934 года, когда увольняется из Вооруженных Сил по состоянию здоровья...

Был внук Всеволод, морской офицер, участник Отечественной войны.

Многое еще было...

...Он смотрит на меня сквозь очки из небытия, из забытости; спокойным напоминанием о его значимости выстроены вдоль петлицы четыре ромба командарма 2-го ранга – воинского звания, полученного им уже в запасе, – и мне так хочется найти, встретить фамилию Всеволода Владимировича в архивах Тюмени, может быть, потому, что хочется пройти его жизнь от начала до конца, пройти, как по улице его имени.

Братство сорок первого года

Июнь 1993 года.

Оставшиеся в живых, уцелевшие выпускники 1941 года школы № 1 г. Тюмени начали длительную кампанию за увековечение памяти своих погибших товарищей и победили.

А предыстория такова.

* * *

Ему девятый десяток. Он набирает номер телефона, звонит своему давнему ученику:

– Миша, готов список выпуска сорок первого года?

...Он окончил Ленинградский областной педагогический институт, Петр Юлианович Хайновский, заслуженный учитель школы РСФСР. В 1938 году приехал в Тюмень и был назначен заведующим учебной частью школы № 1 – одной из лучших в городе. Он стал ее памятью, Петр Юлианович – завуч с 1936 по 1945 год...

В телефонной трубке раздается ответный голос. Хайновский кивает головой, и чувствуется – он считает, вспоминает лица. Сорок первый год! Беда объединила людей в ту годину узами прочнее родства и до сих пор держит их вместе. Они – учителя и ученики – собираются через каждые пять лет в городе их юности из Москвы и Омска, из Свердловска и Алма-Аты, из многих других городов, фотографируются у здания своей школы, у Вечного огня, и встают в их воспоминаниях имена и даты, события, дни школьной жизни.

В те годы школа была для ребят вторым домом, огонь в ее окнах не гас до глубокой ночи. Что там творилось, что задумывалось? На лето сорок первого года планировалось грандиозное событие – велопробег Тюмень-Москва. Военрук Алексей Васильевич Кобелев прочитал в «Учительской газете» об отлично поставленной оборонной работе в 324-й московской школе. У Алексея Васильевича была мечта стать учителем географии, но после службы в армии красноармейца Кобелева направили в тюменскую школу № 1 учить ребят военному делу. Хотя о том и не рекомендовалось говорить вслух, но многие понимали, что война надвигается. И военрук методично гонял ребят на тактических занятиях, не давал поблажек на строевой, был придирчив при изучении материальной части пулемета и винтовки. В подвале школы работали любимые ребячьи кружки – ПВХО и «Ворошиловский стрелок».

Педагоги нет-нет да ворчали: «Вы полагаете, самый главный предмет в школе – стрельба из винтовки?». И он подумал, прочитав о московской школе: «Неужели у нас хуже? – Написал в Москву: «Вызываем на соревнование». Москва с ответом не задержалась: «Вызов принимаем!». Велопробег был задуман с тем, чтобы соревнование по солдатской выносливости, сноровке, по противовоздушной, химической обороне и по стрельбе было проведено в столице. Военрук наметил взять с собой лучших из лучших: Толю Федюнинского, Виктора Худякова, Фаю Киеву, Иду Злобину...

Новый год по традиции ученики встречали в школе. И вот смолкла музыка, остановились танцующие пары, на сцену вышел завуч со своими старыми карманными часами на ладони, помедлил мгновение и, щелкнув крышкой, пилястрами, поднял глаза на зал:

– С новым годом, товарищи! С новым счастьем!

Они действительно были товарищами.

Беспрекословность математика Хайновского обростала легендами, но и добрее, казалось, не было человека в школе. Учи-

тельница химии Варвара Васильевна Крапина по требовательности даже превосходила Петра Юлиановича, но ребят было не отлепить от нее, она всегда была среди них. Она не только руководила школьной самодеятельностью, но и сама участвовала в ней. Математик Евгения Андреевна Гончар в совершенстве владела своим предметом и методикой обучения, неоднократно получала благодарности от ведущих вузов страны за отличную подготовку абитуриентов, беззаветно отдавалась своей работе не только как предметник, но и как классный руководитель. Математик Мария Дмитриевна Каштанова вникала во все стороны жизни своих учеников. Они считали ее своей второй матерью. В военные годы она оставляла своих детей на попечение друзей и ехала со школьниками на уборку урожая в колхозы области на длительное время. Очень добрый и внимательный человек историк Серафима Ивановна Кубасова. Ее скромность граничила с застенчивостью. Молодой преподаватель труда и физкультуры Павел Александрович Иоанидис не только в школе, но и во всем городе вел большую работу по своей специальности. Впоследствии он стал заслуженным учителем школы РСФСР. Самым ярким преподавательским талантом обладала Надежда Николаевна Семовских – учительница географии. На ее уроки ходили и учителя – столь образно, наглядно она преподавала свой предмет... Петр Юлианович щелкнул крышкой часов, поднял глаза на зал:

– С Новым годом, товарищи! С новым счастьем!

Зал зааплодировал, от счастья запрыгал на месте – юность торопит время. Заиграл вальс, и пары закружились в новый, сорок первый год.

«Мне вспоминается старенький велосипед отца – единственный во всей Зареке. Отец давал мне на нем покататься. За мной тогда выстраивалась очередь моих друзей – каждому хотелось испытать, что это такое. Скудные в те годы материальные возможности были и у наших родителей, и у страны. Но мы жили жизнью, наполненной до краев делами, планами, чувствами: первые пятилетки, гражданская война в Испании, челюскинцы, полеты наших

летчиков через Северный полюс, бои у Халхин-Гола и озера Хасан. Я занимался в музыкальном кружке и шахматами. Мои друзья – в драматическом. Выступали с концертами на предприятиях, в селах, ездили на смотры самодеятельности в Новосибирск, Омск, Свердловск, много времени отдавали физкультуре. Заводилой спортивных дел у нас в школе был Виктор Худяков. Когда старшие наши друзья комсомольцы готовились к X съезду ВЛКСМ – это 1936 год, – пионеры решили подготовить свои подарки.

Построили педальный автомобиль, начали сдавать нормы на значок «Юный ворошиловский стрелок», пошли работать с октябрятами». (Из воспоминаний Николая Константиновича Моношкина – одного из тех, кто встречал Новый, сорок первый, год в ту ночь в актовом зале первой тюменской школы).

«Я со своими пионерами провела два похода на плотях по реке Пышме. Сколько тут было романтики! В пионерский лагерь к нам приходили Валентин Филатов, Виктор Худяков, Владислав Хилькевич – за тридцать километров пешком, покупаться и порыбачить. Тогда было большое половодье. У меня в отряде заболела девочка. Владик Хилькевич вплавь, держа в одной руке свою одежду, отправился за градусником в деревню Онохино – не менее двух километров. Таким же образом плыл обратно. Тем же летом наш десятый класс совершил переход на плотях Тюмень – Тобольск, зимой – лыжный переход Тюмень – Ялуторовск...» (Из воспоминаний Натальи Андриановны Тарасовой).

Июнь. Выпускные торжества. Гулянья в Гилевской роще. Надежды и планы. Распахнутое будущее.

22 июня поздно ночью Петра Юлиановича вызвали в горком партии, приказали срочно эвакуировать первую школу на базу двадцать пятой, освободить здание под госпиталь.

Первой школы не стало. Ныне ее номер принадлежит другой школе, а здание – университету.

* * *

В Тюмень пошли треугольники солдатских писем. И первый их адресат – мамы.

«13.8.42. Здравствуй, дорогая моя мама Тома! Наконец захожусь на фронте, через несколько минут едем на исходную, там буду 1–2 часа – и в бой. Понесу гибель на своей тяжелой машине немецким ордам!... (густо вымарано военной цензурой) перешел в наступление, смотри по газетам! Немцы несут большие потери. Пишу под грохот, бомбежку самолетов... Вверх летят немецкие блиндажи, проволочные заграждения, наши перешли в наступление!.. Машины готовы, люди ждут боевого приказа. В моем распоряжении очень мало времени, поэтому я пишу очень кратко... Обо мне не беспокойся. Я пока ничем не обижен. Всегда одет, обут. Воспитываю, обучаю людей, которых мне вручило командование. От папы пока нет ничего... Передавай привет знакомым преподавателям, привет Томе. Крепко целую. Ваш сын Владимир».

Владимир с детства мечтал стать военным, вступить в отцовское стреля, как он любил говорить: отец в конце двадцатых годов командовал кавалерийским эскадроном. Но Владимира влекла боевая техника, еще до выпускных экзаменов он послал запрос в Ленинградское Краснознаменное артиллерийское училище имени Красного Октября: может ли быть в него зачислен? И получит ответ: может. Но в военное время во внимание берутся лишь потребности войны. Владимир Могилев был направлен в Ульяновское танковое училище имени В. И. Ленина. Владимир писал это письмо матери и сестре перед первым своим боем, не зная, что первый бой для него будет последним.

«...23 февраля 1942 года. Здравствуй, мама! Вот уже месяц, как я на фронте... С опозданием, правда, но поздравляю тебя с 41-й годовщиной твоего рождения. Желая прожить еще десятка три-четыре и 42-ю годовщину встретить со всеми членами нашей семьи. Я живу хорошо... Слушаем разрывы снарядов и дробь очередей. В общем, весело... Надеюсь, скоро, после победы, встретимся и опять заживем хорошо и дружно. Это уже не так далеко... крепко всех целую. Ваш Виктор».

Виктор Худяков мечтал стать летчиком. В 9-10-м классах занимался в авиационном кружке при аэроклубе. Но та же военная необходимость сделала его курсантом Томского артиллерийского училища. В феврале 1942 года он прибыл в 332-й артиллерийский полк, в его рядах освобождал Оршу, Минск, Литву, Польшу, участвовал в боях на территории Восточной Пруссии.

«9.8.43... Сейчас у нас бои. Время напряженное. Писать особенно некогда. Но не писать я, конечно, не могу. За два дня подавил 4 батареи, 1 минометную батарею, 2 ручных пулемета. За это получил орден Красной Звезды прямо на поле боя...»

«14.1.44. Пишу тебе письмо, не дождавшись ответа. Что-то уже несколько дней от тебя нет писем. Уж не больна ли? Ну я живу хорошо. Присвоили мне новое звание – капитан, ты все пишешь лейтенант да лейтенант...».

«5.8.44. Как ты уже знаешь, у нас произошли большие изменения. Я сейчас воюю в Польше. Скоро войдем на территорию Германии. Здоровье и настроение хорошее, представлен к третьей награде. Как там у вас идет жизнь?»

В августе 1945 года Валентина Ивановна Худякова получила письмо из той же войсковой части 06535, но уже не от сына.

«...Командование и личный состав извещают вас о присвоении вашему сыну Виктору Леонидовичу посмертно звания Героя Советского Союза (Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 29 июня 1945 года)».

Десятый «А», десятый «Б», десятый «В» – три десятых класса сорок первого года.

- Сколько ушло в сорок первом?
- Сорок два.
- А сколько вернулось?
- Двадцать три.

Им еще повезло. «...Их, рожденных в 1922–1925 гг., вернулось с войны лишь трое на сотню» («Правда» от 16 августа 1979 г. «По праву памяти». В. Быков). Ученики десятых классов первой тюменской – 1923-1924 гг. рождения.

Им еще повезло.

Но приходит Миша – Михаил Григорьевич Абрамов, один из этого выпуска, – раскрывает тетрадь со скорбным списком, и не поворачивается язык произнести эти слова: «Им повезло».

Эти имена будут выбиты на памятнике выпускникам первой школы, погибшим на фронтах Великой Отечественной.

Десятый «А» – Андреев Михаил, Волков Виктор, Казанцева Вероника, Коверко Николай, Липкович Лазарь, Могилев Владимир, Сысолятин Валентин.

Не у всех прослежен фронтовой путь до последней черты.

Медсестра Вероника Казанцева была расстреляна с самолета при нападении фашистской авиации на ее госпиталь.

Воздушный стрелок Лазарь Липкович погиб в бою. Он мог не идти в этот полет, его самолет только что вернулся с выполнения боевого задания, но в другом экипаже заболел товарищ, и он занял его место.

Танк лейтенанта Владимира Могилева был подбит, командир приказал покинуть поврежденную машину, но Владимир не вышел из боя. В Тюмень к его матери, Анне Тимофеевне, вслед за извещением-похоронкой: «Ваш муж, майор Могилев, пал смертью храбрых...» – пришло: «Ваш сын, лейтенант Могилев, пал смертью храбрых...»

Десятый «Б» – Билас Игнат, Глумов Владик, Марандин Аркадий, Сапожников Павел, Хилькевич Владислав, Худяков Виктор.

Первого февраля 1945 года капитан Худяков в Восточной Пруссии провел свою батарею через шестнадцатикилометровую полосу прорыва, его батарейцы поддерживали пехоту, действующую во вражеском тылу. Противник перешел в контрнаступление, восемь суток батарея Худякова отбивала непрерывные атаки. Получив приказ на выход из окружения, капитан целые сутки вел батарею через огневой заслон врага. Перед самым передним краем она приняла еще один бой. Он оказался последним для ее командира...

«21 марта 1943 г. Южный фронт. Здравствуйте, Эдуард Карлович! С приветом к вам товарищ Владислава по училищу и фронту Попов Алексей. Написанное будет слишком тяжелым... Владислава, к сожалению, вы больше не увидите... Мы, автоматчики, разбились на две группы. Я попал в левую группу, Владислав – в правую... К ночи мы с трудом выбрались к нашей части, а группы, которая свернула вправо, не было... На следующий день (11.1.43) мы с боем заняли хутор Костырочный... Везде валялись трупы фрицев, среди трупов были и наши убитые товарищи. Я опустился в балку. Здесь лежали трупы наших автоматчиков. Среди них лежал Владислав...» Такое письмо 16 мая 1943 года получил отец Владислава Хилькевича.

Десятый «В» – Базилевич Мстислав, Злобин Владимир, Печенкин Борис, Сивкова Роза, Топорищев Илья.

Роза Сивкова вернулась в Тюмень с фронта больная тяжелой формой туберкулеза. Товарищи считают ее погибшей на войне. Илья Топорищев тоже умер в Тюмени, но от фронтовых ран. В списках погибших нет Бориса Сергеевича Неволлина. Но вот что писал 3 сентября 1944 года майор М. Елизаров в Тюменскую газету «Красное знамя»:

«Дорогие товарищи! Вот уже четвертый год идет война... Сегодня, в праздник Международного юношеского дня, я хочу рассказать вам о славной боевой жизни нашего земляка – Бориса Неволлина.

Это было в дни горячих боев... Мы занимали оборону. Утром услышали шум моторов – снова шли фашистские танки. Мы поползли навстречу железным чудовищам. У переднего края встретили истекающего кровью разведчика Бориса Сергеевича Неволлина – уроженца города Тюмени. Мы перевязали ему раны и предложили отправиться в медсанбат. Но юноша решительно отказался...

С ревом и грохотом приближались танки. Подпустив головной на близкое расстояние, сибиряк метнул гранату под его гусеницы. Танк остановился... При приближении второго разведчик снова

швырнул гранату. Пули изрешетили грудь героя. В кармане его гимнастерки мы нашли рапорт командиру роты, залитый кровью...»

Из рапорта Б. С. Неволина командиру роты: «...Сегодня, часа в два ночи, мне удалось засечь четыре огневые точки противника, поджечь танк, который стоял у обочины шоссе на окраине деревни, и взять в плен немца-танкиста... Мой напарник Шарков убит, а мне пробило ноги. Пленный поднял крик, когда меня ранило, и пытался убежать к своим, но я не допустил этого, пристрелил мерзавца. Перевязал раны, а кровь все равно бежит ручьем. До меня доносится шум моторов. Значит, идут немецкие танки, в деревне их стояло штук десять. Попробую уползти в канаву и угробить еще один...»

* * *

Наконец она кончилась, эта война.

Вернулся с войны военрук первой тюменской школы Алексей Васильевич Кобелев, осуществил свою мечту – стал учителем географии. «Тогда считать мы стали раны, товарищей считать». Он-то вернулся, а кто вернулся из его учеников? И каким вернулся?

«Дорогой Алексей Васильевич! Крайне благодарен вам за ваше письмо, за то, что вы разыскивали меня!

... Попал я на войне в самое пекло. Как мне помогали навыки и закалка, полученные от вас! Прошел я с боями Калинин, Осташково, Нелидово и город Белый. Около года в непрерывных боях. Зимой – в лыжном батальоне, а весной и летом – в минометных частях. Много погибло хороших друзей и товарищей. В октябре 1943 года оторвало мне стопу правой ноги и тяжело контузило. Несколько месяцев был совсем слепой и глухой. Ох, и трудно же было, дорогой Алексей Васильевич!

...После госпиталя я приехал к старшей сестре в город Талицу, здесь и остался. Окончил курсы главных бухгалтеров, 32 года работаю в Талицком леспромхозе. 8 лет был на комсомольской работе, около 3 лет был вторым секретарем РК ВЛКСМ.

Так что ваш воспитанник Толя Федюнинский не искал легкой жизни, а как был патриотом своей Родины, так им и остался...».

Федюнинский – не простое совпадение фамилий, он племянник прославленного полководца, генерала армии И. И. Федюнинского.

Иные письма опровергали официальные сообщения, учитель облегченно вздыхал: «Вот счастье-то, и Боря жив».

«Дорогой Алексей Васильевич! Описываю свою жизнь, как Вы просите. Сразу же после школы подал заявление в Тюменское пехотное училище. В конце ноября 1942 года отправили нас на фронт. Определили в 20-ю гвардейскую пехотную дивизию. Я сам попросился в дивизионную разведку.

Весной 1943 года нас перебросили на Юго-Западный фронт. Я возглавил группу по захвату «языка». Бесшумно провести эту операцию не удалось... В нашей части посчитали меня погибшим и выслали домой похоронку... Так вот с тем «языком» и оставшимися у меня разведчиками мы направились к линии фронта, чтобы попасть к своим... Вышли в расположение войск Людвика Свободы, передали «языка» куда следует и остались у Свободы.

8 марта 1943 года мы были атакованы мощными танковыми дивизиями СС. Мне удалось подбить и поджечь два тяжелых танка. В этом же бою меня тяжело ранило. Пуля, пробившая грудь, продырявила и комсомольский билет, лежавший в гимнастерке... Меня посчитали убитым и даже решили похоронить в братской могиле (а домой опять послали похоронку). Я лежал сверху, и меня не успели засыпать землей, потому что немцы перешли в наступление. Потом их снова отбросили, меня нашли женщины из ближайшего села. Они отвезли меня в медсанбат и рассказали, как обнаружили, что я жив: оказывается, я закричал от боли, когда ворон стал клевать мне лицо. Следы эти у меня до сих пор есть. А кто я и откуда – никто не знал. Сам я о себе ничего не помнил после контузии. Назвали меня Володей, стали возить по госпиталям... Повезли в Иркутск, но по дороге я заболел, и меня выгрузили в Тюмени. Несколько месяцев я лежал так, не ведая, что мама моя совсем рядом, через два квар-

тала. А она к этому времени получила две похоронки, письмо от генерала, где рассказывалось, как я погиб и где похоронен.

Но однажды меня посадили в постели, я выглянул в окно, увидел реку Туру, мост и вспомнил, как купался здесь мальчишкой. Позднее вспомнил свою фамилию, адрес и попросил, чтобы сходили за мамой. Она пришла...

Через два месяца меня на носилках выписали домой. Заново учился ходить. Поступил в МГУ на геологический факультет – это была моя мечта, – стал геологом. Открыл одно месторождение нефти и одно золота. Написал около ста научных работ, несколько книг. Недавно получил письмо с Камчатки. Там один пионерский отряд носит, оказывается, мое имя... Борис Неволлин, 1979 год».

Госпиталь размещался в бывшем Тюменском учительском институте. Оказался жив и Валентин Филатов, которого однополчане посчитали убитым...

Однажды счастливым июньским днем выпускники средних школ Тюмени, по традиции пришедшие к монументу Славы почтить память погибших воинов, встретили у Вечного огня молчаливую группу пожилых людей при боевых орденах и медалях – участников очередной встречи огненного, как они называют сами и как понимают, выпуска сорок первого года.

*Мы пишем неумелые стихи,
Нам хочется в них выразить всю нежность...
К товарищам, что были так близки,
Они остались вечно молодыми.
И лица их такими помним мы,
Когда возникнут образы из тьмы
И прозвучит опять родное имя...
И, вспоминая школьные деньки,
Мы пишем неумелые стихи.
И не писать их все-таки не можем...
(Быть может, настоящий был поэт
Тот, кто ушел, кого меж нами нет).*

Ирина Николаевна Сушкова из этого выпуска. Это ее стихи. Ею реально ощутимо отсутствие рядом дыхания товарищей школьных лет.

*И хотелось, чтоб в день весенний,
Под немолкнувший птичий свист
Им от имени поколений
Мы поставили обелиск.
Надо сделать простую надпись,
Чтоб вовеки не стерлась она...*

Их дружба, их память потребовали овеществления, чтобы проходить через годы и поколения, преодолеть время. Они идут, куда нужно, кого нужно находят. И уже именами их товарищей называют улицу, школу, пионерские дружины, в мастерской скульптора работает памятник.

«Миша, здравствуй! Получил твое письмо с доброй вестью о создании комнаты-музея и установке обелиска нашим павшим ребятам из «Огненного 41-го» ...Я готов подключиться и принять участие. Большой привет Петру Юлиановичу. Обнимаю. В. Филатов, Алма-Ата, 1987 год».

Миша – это Михаил Григорьевич Абрамов. Он таких писем получает много. Мнением о проекте памятника он обменивается с И. Сушковой.

*Очень хочется в день весенний,
Под не молкнувший птичий свист
Нам увидеть напротив школы
Строгий памятник обелиск.
Тут немного будет работы,
И хотели бы я и ты,
Чтобы не было позолоты,
Были только сталь и цветы.*

Они вообще пишут много стихов, стихотворных посланий друг другу, они – нынешние пенсионеры, бабушки и дедушки: бухгалтеры, учителя, врачи, полковники авиации и милиции. Владимир Могилев писал своей однокласснице Маргарите Зайцевой:

«Я верю: пройдет время, кончится война, и мы обязательно встретимся. В бой пойду во имя нашей дружбы, во имя Родины!» Война кончилась, но они не встретились.

И все-таки встречаются. Пионерская дружина Мальковской средней школы Тюменского района носит имя Владимира Могилева. Друзья погибшего бывают там.

Первая встреча выпускников сорок первого состоялась в 1947 году. Ее организатором был Евграф Павлович Шелковников, которого нынче нет в живых. Не стало и Николая Константиновича Моношкина. До срока оборвала их жизни война, ее последствия. В Центральном музее Вооруженных Сил СССР хранится комсомольский билет 832698 Николая Константиновича, пробитый осколком мины, – он несколько миллиметров не дошел до сердца владельца билета. Нынче их службу несут Михаил Григорьевич Абрамов и Наталья Андриановна Тарасова. Михаил Григорьевич призван в армию в октябре 41-го, служил на Дальнем Востоке до 44-го, а затем до конца войны готовил для фронта снайперов. После войны получил высшее техническое образование. О Наталье Андриановне Тарасовой в военные годы рассказывает справка, выданная Тюменским облвоенкоматом в 1969 г.: «Дана лейтенанту в отставке Тарасовой Наталье Андриановне... в том, что она действительно проходила военную службу во 2-й авиаэскадрилье 3-й школы летчиков ВВС ВМФ в должности летчика-инструктора и имеет общий налет 1104 часа 34 минуты, 3707 посадок...». После войны она окончила Уральский университет, историк.

Да, война объединила этих людей узами, прочнее родства. Только правда и в том, что в годы перед войной они уже были связаны ими... Подполковник авиации Валентин Стельмах своей учительнице Марии Дмитриевне Каштановой:

«...Получил ваше письмо с газетой. Благодарю. Уже прошло три недели с того дня, как мы разъехались из Тюмени, однако до сих пор события тех дней остаются в памяти. Я посещаю сборы выпускников Академии, бываю на юбилейных праздни-

ках авиационного полка, но должен сказать, что такого яркого впечатления, как на вечере в Тюмени, я никогда еще не получал. 40 лет – это срок огромный в жизни человека. За это время все мы изменились, но сознание не захотело этого признавать, и мы встретились, как будто не было этих сорока лет. При этом остро ощутили возвращение в свою молодость – тревожную, но прекрасную. То обстоятельство, что все 40 лет во всех нас живет потребность видеть друг друга и поддерживать отношения, наводит на размышления: чем объяснить такое феноменальное (иначе не назвать) явление? Ответ прост: вам, нашим учителям и воспитателям, удалось создать такой крепкий, спаянный дружбой и общими жизненными установками коллектив, который сохранил свои связи все эти прошедшие 40 лет. Конечно, при этом следует учесть, что оказала свое закрепляющее влияние обстановка начала войны, к которой, опять же благодаря вам, нашим воспитателям, мы оказались морально готовы...». «Огненный выпуск» первыми своими устремлениями по увековечиванию памяти погибших был сосредоточен на самом себе. Но благородство дружбы расширяло границы их внимания, и в тетради Михаила Григорьевича стали появляться страницы:

1942 год: Афонин Леонид, Бусыгин Валентин, Баженов Юрий, Гирев Юрий, Кашин Николай, Новиков Владимир, Стуков Александр, Шадрин Александр, Шеховцев Василий...

И 1943 год имеет свою страницу, и годы предыдущие – 1940, 1939, 1938... до 1930. Сама собой приходит мысль: надо поставить памятник выпускникам всех школ города – один. Им на всех нужна была одна Победа. Они за ценой не постояли.

В мастерской художника на мраморную доску набивается еще 48 фамилий. Они присоединятся к тем, что уже имеются на памятнике.

Триста девятнадцатый маршрут

I

Они идут. Я слышу их гогот.

Той осенью сорок второго они могли еще гоготать.

В каньоне Малой Лабы грохочет и бьется о камни стремительная, в белой пене вода. И потому гул речной то приближается, то удаляется, как поезд. Но приближавшийся и удаляющийся – он непрерывен.

Мастаканы и Маркапыдж. Два могучих горных хребта идут параллельно друг другу. Узкое пространство между ними отдано реке и тропе. Под августовским солнцем, среди зелени альпийских лугов – противоестественное, не воспринимающееся умом, сверкание снежных залежей.

Не собственные ноги – самолеты поднимали нас прежде столько высоко.

Тропа тениста и тесна.

Отвесно вниз уходят каменные стены каньона.

Нетренированное дыхание шумно и часто. Нет сил вдохнуть полной грудью, железные обручи стягивают ее. Пот тяжелыми каплями собирается на бровях, и так же – тяжело и крупно – падает на тропу. Каждый камешек пробует ногу. На следующий переход, нет, на следующем привале надо будет надеть шерстяные носки.

Панически, перепуганной птицей в клетке, колотится сердце, готовое вот-вот взорваться.

Альппауза.

Спиной к горе, лицом – к спуску.

Переломившись пополам, ослабляем лямки рюкзаков.
Двадцать секунд для восстановления дыхания.

А они все идут.

Натасканные. Откормленные. Самоуверенные.

Первая горнострелковая дивизия «Эдельвейс» генерал-лейтенанта Ланца. Врага надо знать в лицо.

Следом идет, не вступая в бои, корпус особого назначения. Ему намечен Ближний Восток. Ему намечено соединение с войсками Роммеля в Египте.

Их гогот дробится о скалы и заполняет каньон. Под альпинистскими ботинками с крупной ребристостью подошв хрустит галька. Им не страшны ночные холода привалов: на них шерстяное белье. Их походные кухни специально приспособлены для гор. Для гор приспособлены их автоматы. Их минометы, пушки.

Им нет преград на земле.

Не было, нет и не будет...

Тропа серпантинном поднимается к перевалу.

Веками натопанная тропа.

Я боюсь поднять глаза. Боюсь увидеть ребристые подошвы альпинистских ботинок с толстыми отворотами шерстяных носков. Увидеть рыжего верзилу в сто килограммов весом, скалящего мне в лицо желтые лошадиные зубы, боюсь увидеть мясистые щеки, ухмылкой отодвинутые к ушам, волосатую лапу с засученным рукавом: «Давай, мол, давай!». А куцый автомат болтается на шее пустяковой игрушкой.

Им нет преград на земле.

Тоненький прутик, веточка, школьница Женя Бондарева встала на их пути. Осажденный Ленинград спасал своих детей от голода и смерти. Северный Кавказ дал Жене крышу и хлеб.

Но смерть перла стальной лавиной, обвалом огня во все уголки страны. И до Кавказа дошла она осенью сорок второго.

Первая горнострелковая дивизия «Эдельвейс».
Кто и что встанет ей на пути?!
У ног ее лежат горы Европы.
Партизанка семнадцати лет, Женя Бондарева, взрывает
мост через Малую Лабу – и преграждает путь смерти.
Ей преграждают путь?!
Найти и уничтожить!
Свинцовые струи срезали ивовый прутик...

II

Жарко.

Мы снимаем рубахи, взгромождаем на голые спины рюкзаки – и дальше в путь наша экзотическая цепочка.

Ночью в горах прошел ливень с градом. Тропу разворотили каменные осыпи и камнегрязевые потоки. Ступишь неверной ногой – и долго-долго внизу слышен глухой гранитный стук падающих камней.

Вчера вечером в Псебае мы подошли к горам, над которыми гроыхало так, что заглушало музыку танцевальной площадки турбазы.

Рвано и огненно полыхало.

Мы сочли, что это нас не касается. Но такой, медленно начинающийся, редко стучащий по листьям, а потом залпом ударивший крупной дробью, остервенелый дождь погнал нас под ближайшую крышу.

Разбегаясь, визжала танцевальная площадка.

Все в жизни касается нас...

Трясинно пружинит селевое тесто. Русло селевого потока будто прорыто бульдозером мастодонтских размеров. Инструктор в сомнении: идти или не идти?!

Мы идем.

Мы – это двое мужчин и шестнадцать девушек. Группа. Мы дышим одним дыханием. Живем одной мыслью.

Надо уметь ходить по своей земле.

Кавказский государственный заповедник. Переход Третья Рота – Умпырь. Деревянный мост вокруг скалы. Неожиданный, ненадежный по нашим равнинным понятиям прочности.

Тропа по щиколотку устлана дубовой листвой, обитой градом. Заросли древовидного реликтового папоротника. Мы в древнем мире. На ум приходят стихи: «Дышали тяжелым зноем папоротники и хвощи»... Неизвестное растение, напоминающее наш репейник, но с такими огромными листьями, что под каждым из них может укрыться по человеку. Крыжовник, малина, красная смородина стоят у тропы, глаза на нас. В воздухе запахи трав, хвои и земляники. Мшистые, серо-пепельные стволы бука вознесены над тропой как века.

Мне легче дышится среди родных елей и пихт, тоже вдруг оказавшихся тут.

Царская охота.

Он редко бывал здесь, царь. Ее величество природа величественнее их Величеств.

Великосветская кавалькада шла на рысях от Псебая в горы. И впереди, естественно, государь-самодержец. Сам все держит. Ему, наместнику Бога на земле, может ли встать на пути преграда?!

Скала, нерушимо стоявшая со дня сотворения, рушится. И гранитная глыба – ни обойти, ни объехать – загораживает дорогу. Загораживает дорогу к сотням тысяч десятин царской охоты.

– Сто рублей тому, кто уберет камень! – говорит Николай Второй, всесильный.

Старик, кутающийся в отрепья бешмета, чувствовал, что преступает какой-то закон. Но – жена, дети. Трое суток колдует он над камнем. Сжигая дрова и запасая воду. В нужный момент в прах рассыпается тот. Осколок его, размерами в саклю, остался лежать у обочины.

Путь свободен!

Старик поровну делит деньги между старшим и младшим сыновьями.

А в горах гремят выстрелы, лопаются кровавые пузыри на мертвых ноздрах зубров, туров, оленей...

Старик и его сыновья.

Горы за грех отца накажут сыновей смертью, а его – смертью их.

Сторублевый камень и поныне лежит у дороги.

Напоминанием лежит.

Напоминанием стоит в Псебае дом Алексея Сазоновича Курганова, командира 2-го Урупского полка, восставшего в 1905 году. Камнем напоминания, которого ни обойти, ни объехать.

Крутой серпантин по вертикали скалы.

Перевал Большие Балканы.

Сняты рюкзаки.

Вытерт пот.

Приходим в себя.

А рюкзаки мокры со спины.

Далеко внизу чернеет река. Неразличимая, но слышимая. И Скала Верности. Мужественные красавцы джигиты на гарцующих лошадях сбрасывали в реку с нее своих жен. Разбилась – не верна, живой осталась – напрасны подозрения.

А высота – три тысячи метров.

А воды в реке – воробей вброд перейдет. Мелко.

Но в легенды поправок не вносят.

– Под рюкзак!

И снова мы роняем крупные капли пота на тропу и ловим ртом воздух.

Каменный козырек малых Балкан.

Невозможно не встать на край головокружительного выступа и не взглянуть вниз. Река захлебывается пеной на порогах – обломках скалы или скал, нависших над нею. Белый бурун рвется на части, исчезает и возникает вновь. Долина распахнута по самый горизонт, отодвинутый далеко-далеко. Как у нас в Сибири.

Напротив – Железная гора.

Долго в пути видны ее угловатые бока в ржавых потеках.

Ель и пихта сменяются березовыми лесами и осинниками. Не понять, как высоко мы находимся. Но чувствуется, что спускаемся.

Площадка с костровым навесом.

Обед.

Сгущенное молоко, сыр, масло, печенье.

– Приятный аппетит!

– Нежевано летит!

Лаба проносится рядом. Наклонился – и зачерпнул.

Положе подъемы и спуски.

Приют Умпырь.

Обелиск. И сжимается сердце.

«...28 августа противник перешел в наступление, пытаясь захватить перевал Умпырский. Все вражеские атаки были отбиты.

Потерпев неудачу при наступлении на перевал, противник стал обходить его по долинам рек Умпырь и Лаба. Гитлеровцы подтянули по долинам рек резервы и после мощного минометного огня возобновили атаки на перевал Умпырский... а по долине реки Уруштен – на перевал Псеашхо. Используя численное превосходство в силах, 31 августа противник овладел перевалом Умпырский. Однако это был его частный успех... Подразделения 174-го горно-стрелкового полка в течение сентября вели сдерживающие бои, нанося врагу серьезный урон.

Бессмертной славой покрыли себя в те дни минометчики 174-го горно-стрелкового полка сержант Ш. Васиков и рядовой В. Семяков.

В течение нескольких дней отражали они атаки фашистских горных стрелков. Когда кончились боеприпасы, отважные воины последней миной подорвали себя и окружающую их группу гитлеровцев. На подступах к скале, которую обороняли минометчики, было обнаружено около 150 вражеских трупов, 3 разбитых пулемета и 2 миномета...».

Это у маршала А. А. Гречко в «Битве за Кавказ». Это здесь, в этих горах.

Тридцать два года спустя над нами небо тех же дней. Тот же воздух. За рекой, полусгнившим мостом, в зубропарке, не зубры ревут, а моторы. Моторы боевых самолетов врага.

III

Дождь.

Мокрые травы, деревья, тропа. Кеды не держат – ноги ползут.

Восемь километров в упор.

Восемь километров только подъема.

Горы передышки не дают.

В той же книге: «...Когда здесь развернулись боевые действия, понадобились специальные знания гор и техники передвижения в них. На Кавказ было направлено значительное количество альпинистов-инструкторов, мастеров этого вида спорта...».

Надо уметь ходить по своей земле.

Крестовая балка.

Лесные завалы. Упавшие деревья не убирают, в них просто выпиливают проход.

Сыро.

Сумрачно.

Мы в своих прозрачных полиэтиленовых накидках, покрывающих голову и рюкзак, выглядим призрачными, нереальными существами. Выглядим недобрыми духами Крестовой балки.

Сквозь седые века проходит тропа. Сквозь седые легенды.

В легенды поправок не вносят.

В этой балке карались и верность, и предательство.

Старик поровну делит деньги между старшим и младшим сыновьями.

И те пускаются в путь.

Крестовая балка.

«Зачем мне столько денег, – думал младший брат, укладываясь на ночлег, – а брату надо жениться, дом купить надо». Он незаметно кладет их в котомку брата и засыпает.

«Зачем ему столько денег, – думал старший, – а мне надо жениться, дом купить надо. Когда еще представится случай...».

Резная рукоять кинжала еще повторяла биения сердца брата, когда он начал обыскивать его. И ничего не нашел. И замесался в ужасе. И вместе с котомкой сорвался в бездну.

А шли они к синему морю. Оно называлось Черным.

... Голодный, измотанный красногвардейский отряд забылся здесь каменным сном. И весь был вырезан ночью белыми.

Инструктор суеверно просит не задерживаться.

Идем через дождь.

Мы учимся ходить по своей земле. По своей одной шестой мира.

Травы по плечи. Альпийские луга с многоцветьем горных полей и горных склонов.

Оставляя позади группы, вышедшие раньше нас, форсируем перевал Алоус. И оказываемся над дождем.

Раскрывается дыхание. Будто нет ни подъемов, ни спусков. Даже разговариваем на ходу. Дышим – и чувствуем, как кровь насыщается кислородом.

Раскрывается дыхание. Глаза раскрываются.

Долог путь через века, через историю, через нас самих!

Начальник приюта оранжев, как неведомая пустыня. Он говорит человеческие слова. И по-человечески. Большой. Длинноногий. Он знает все. Коллекционерской ценности самовар его выставлен для любителей автографами отмечать свои маршруты по жизни. Люди остаются людьми.

Приют Уруштен.

Они все еще идут.

Но нашей тропе. По нашим легендам. По нашей истории...

IV

В наплывах коры метки военных лет на деревьях.

Вековой тенистый лес. Вечные папоротники.

Река Уруштен.

Висячий мост.

Двойная страховка.

Горы сходятся ближе и ближе. И вот уже тропе негде пристроиться. Идем по руслу ручья. Прыгаем с камня на камень, цепляясь за ветки.

Слева хребет Мраморный, справа – Дзитаку.

Они неожиданно расходятся – и впереди сквозь листву проступает белая крыша приюта.

Лагерь Холодный.

Выстраиваемся в шеренгу на площадке перед будущим ночлегом. У ног – придирчиво выровненные рюкзаки.

Стоим лицом к пройденному.

За нашими спинами – перевал и ледник Псеашхо. И гора Минометная.

Минометная?!

Группа наводит справки.

На гранитном обнажении – белый обелиск с железным красным флагом. Белая тропинка к нему. Он сварен из металлических плит. Из металла.

Скромная полированная пластинка:

Героическим защитникам Кавказа от туристов города Обнинска.

И литая чугунная плита:

ЗДЕСЬ В 1942-1943 г.г. ГЕРОЙСКИ ДЕРЖАЛИ ОБОРО-
НУ ВОИНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ПРЕГРАДИВШИЕ НЕ-
МЕЦКО-ФАШИСТСКИМ ЗАХВАТЧИКАМ ПУТЬ К ЧЕРНО-
МОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ

А ниже:

ПОДВИГА ИХ
НЕ ЗАБУДЕМ
ГИБЕЛИ ИХ
НЕ ПРОСТИМ

*героям, погибшим за освобождение Кавказа
альпинисты-туристы г. Ростова-на-Дону*

И живые цветы – знаком признания, знаком неумирающей боли. Признания и боли, не умирающих в поколениях.

Школьные каракули из зеленой пластмассы в бетоне:
ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
ОТ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 1 г. СОЧИ

Память людская благодарно склоняет седые и юные головы перед обелисками Великой Отечественной, перед павшими сынами Отечества.

Стоит на перевале памятник мужеству. Памятник солдатскому братству, скрепленному жизнью и смертью, свинцом и огнем:

*Автор-изготовитель
участник обороны
Юрченко В. И.*

Василий Иванович сам доставил его сюда.

Железный флаг глухо поскрипывает под ветром. Простуженные голоса ушедших слышатся мне в этом скрипе. И я понимаю их.

Памятником им стоит гора Минометная.

«Еще в ноябре 1941 года, после того как немецкие войска проникли в Крым, командующий в то время войсками Закавказского военного округа генерал-лейтенант Д. Т. Козлов поставил 46-й армии задачу: «...не допустить проникновения противника через перевалы главного Кавказского хребта».

Казалось бы, сложность организации обороны перевалов требовала заблаговременного осуществления целого ряда мероприятий по инженерному и материально-техническому обеспечению, а также соответствующей подготовки войск. Однако в последующем, в течение почти полугода, было мало что создано, чтобы Главный Кавказский хребет действительно стал непреодолим...». Это тоже из книги Маршала.

Страна полыхала от моря до моря. Что можно было сделать?

Но за века на русской земле были сделаны люди. Несгибаемые. Несокрушимые люди.

В морозах и снегах, без зимней одежды, с пустыми котлами кухонь они здесь остановили врага.

Остановили.

20-я горнострелковая дивизия и 33-й полк НКВД.

Остановили, на руках поднимая в горы свои минометы. Расстреливаемые в упор, перепачканные гарью и кровью, срываясь и падая, остановили.

Народ и свинцовой струей не срежешь.

Одиннадцатиметровой толщи ледник окутан тучами. Хмур. Недоступен. Он разделяет мои горькие и гордые чувства.

V

Колебательный контур прибора упруг и белопенен. Шлифованно шуршит притершаяся галька. Я по привычке пробую воду ногой и вхожу в море. Уверенно нарастает глубина. Я ныряю. И под водой открываю глаза. Таинственно тающие голубые полосы идут от белой поверхности моря ко дну. И высвечивают его. Его камни и водоросли. Тело мое покрыто фосфоресцирующими пузырьками. Я один на один с тишиной.

Волны плавно несут мое тело. Я лежу на спине, и руки мои раскинуты.

Синих бухт полукружия.

Гор заснеженная гряда.

В море падают южные

Нереальные города.

Я не знаю, о чем моя песня. Со мной небо, море и горы.

Горы... Я переворачиваюсь и вижу перед собой волнолом.

Начинающийся шторм, как перебитые ноги, сволакивает с его железобетонных глыб тяжелые волны. Белые брызги летят во все стороны.

Осенью и зимой далекого военного года Кавказские перевалы встали волноломом на пути стальной лавины, обвала огня.

По всей тропе на пути смерти стояли заслоны. На их местах сейчас – обелиски. И первый из них – Жене Бондаревой.

Как перебитые ноги сволакивала с гор свои разбитые части иноземная нечистая сила. Лишалось смысла назначение особого корпуса.

Ни гогота. Ни оплывших ран на деревьях.

Затеваем игру в снежки.

Дыхание широко и свободно.

Подъем, не стоящий внимания.

Но с него открывается Красная Поляна. И белые корпуса туристской базы Министерства обороны над ней.

Хорошо, что наша турбаза здесь. Она тоже как памятник навсегда оставшимся на перевалах. И как напоминание.

Кавказский государственный заповедник.

Пусть неприкосновенными живут наши легенды. Пусть каждое дерево, каждый гриб живут и умирают там, где они родились и росли.

Пусть безбоязненно подходят к тропе зубры, туры, олени.

Заповедна наша страна.

На пути насилия упадут скалы, тоненький прутик встанет, поднимется народ.

Мы умеем ходить по своей земле...

С тяжелым грохотом разбиваются волны о волнолом.

Я плыву к берегу.

Пляж непринужден и доверчив.

Содержание

С надеждою быть России полезным. <i>Роман</i>	5
<i>Рассказы. Очерки. Эссе</i>	239
Хан. <i>Рассказ</i>	240
«И пеше, и конно, и лыжно, и стружно». <i>Эссе</i>	253
Ярковские командоры. <i>Эссе</i>	257
Первое Ишимское восстание. <i>Рассказ</i>	265
Долгие годы. <i>Рассказ</i>	269
Его земные пути. <i>Очерк</i>	281
Мадонна Пушкина. <i>Очерк</i>	314
Натали. <i>Эссе</i>	318
Без языка и колокол нем	323
Дамская улица. <i>Эссе</i>	336
Две легенды.....	346
Командарм Чернавин. <i>Рассказ</i>	381
Братство 41-го года. <i>Очерк</i>	389
Триста девятнадцатый маршрут. <i>Эссе</i>	403

Анатолий ВАСИЛЬЕВ

ИЗБРАННОЕ

Том второй

ПРОЗА

Роман. Рассказы. Очерки. Эссе

Художник **Янке В. В.**
Корректор **Назырова Т. Н.**

Набор, верстка ОАО «Тюменский издательский дом»
625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 11
тел./факс 8(3452) 45-01-16, 45-35-67

Сдано в набор 09.01.06 г.
Подписано к печати 29.01.07 г.
Формат 60х90/16. Объем 26 усл. п. л. Бумага ВХИ.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ № 90

Отпечатано с готовых PS-файлов
в ОАО «Тюменский дом печати»
625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81